

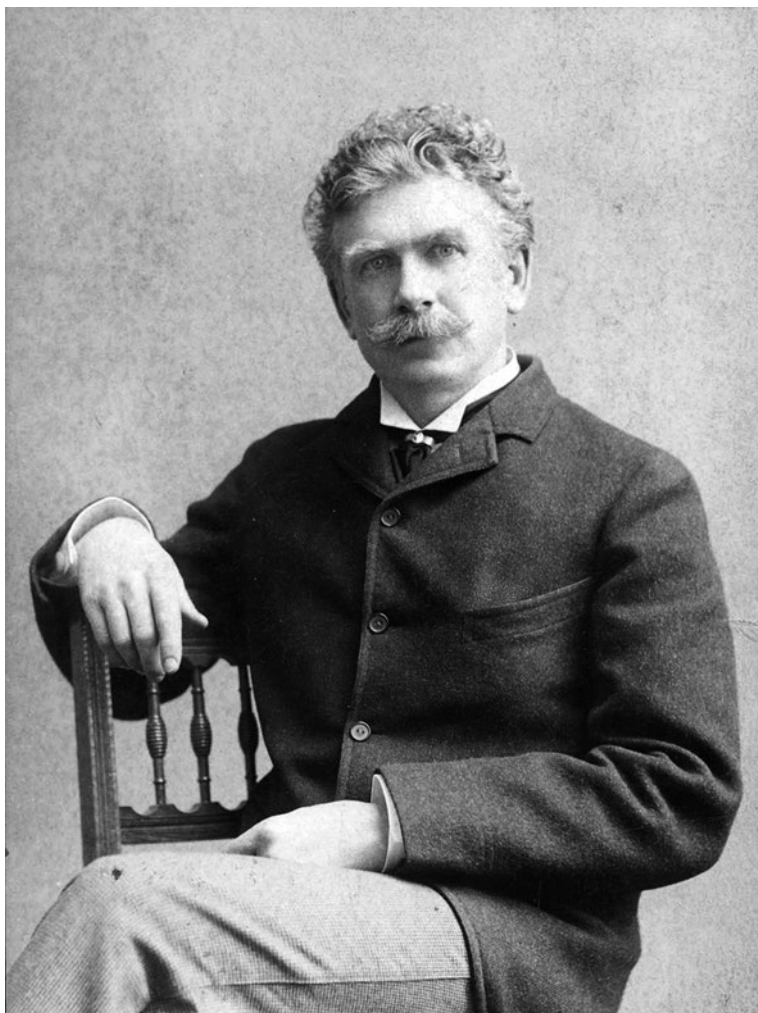
Амброс
БИРС
МОНАХ
И ДОЧЬ ПАЛАЧА
РАССКАЗЫ И ПРИТЧИ



Свыше двухсот семидесяти иллюстраций
и элементов оформления
Татьяны Косач

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





Амброз Бирс
(1842–1914)

Амброз Бирс

МОНАХ
И ДОЧЬ ПАЛАЧА



РАССКАЗЫ И ПРИТЧИ

Иллюстрации
Татьяны Косач



творческое объединение
Алькор

*Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплетной компании
ООО «Творческое объединение „Алькор“»*



Санкт-Петербург
СЗКЭО

ББК 84(7)-4
УДК 821.111(73)-93
Б64

Первые 100 пронумерованных экземпляров
от общего тиража данного издания переплетены мастерами
ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Классический европейский переплет выполнен
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.

Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.

Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.

6 бинтов на корешке ручной обработки.

Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmeo
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока
с трех сторон методом механического торшониования
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.

Оформление обложки пронумерованных экземпляров
разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Б64 Бирс Амброс. Монах и дочь палача. Рассказы и притчи. — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2023. — 304 с.: ил.

Сборник включает различные произведения Амброза Бирса (1842–1914), в США заслуженно снискавшего себе славу мастера «готической прозы». В своих текстах, мрачных и мистических, Бирс старался доводить описание ужасного до возможного предела. Его повесть «Монах и дочь палача» в переводе И. Бернштейн является вольным пересказом романа немецкого писателя Р. Фосса «Монах из Берхтесгадена». Помимо повести, в данное издание вошли более семи десятков коротких притч Бирса, а также двадцать три рассказа писателя. Издание сопровождается рисунками и буквицами художницы Татьяны Косач.

ISBN 978-5-9603-0956-1 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0957-8 (Кожаный переплет)

© СЗКЭО, 2023
© Т. Косач, иллюстрации, 2023



МОНАХ И ДОЧЬ ПАЛАЧА

Переложение с немецкого

*Перевод с английского
И. Бернштейн*





первый день месяца мая в год благословенного Господа нашего тысяча шестьсот восьмидесятый францисканские монахи Эгидий, Роман и Амброзий отправились, по слову своего настоятеля, из христианского города Пассау в монастырь Берхтесгаден близ Зальцбурга. Я, Амброзий, был из всех троих самый крепкий и молодой, едва достигнув двадцати одного года.

Монастырь Берхтесгаден располагался, как мы знали, в дикой горной местности среди мрачных лесов, под сенью которых водились медведи и злые духи; и сердца наши сокрушала печаль при мысли о том, какие опасности, быть может, уготованы нам в тех ужасных местах. Но поскольку долг христианина — подчиняться велениям церкви, мы не роптали, а даже радовались случаю исполнить волю нашего возлюбленного и почитаемого настоятеля.

Благословясь и помолившись в последний раз в церкви нашего Святого, мы подпоясали рясы, обули ноги в новые сандалии и вышли на дорогу, а братия вослед осеняла нас крестным знамением. Как ни долог и опасен лежал пред нами путь, мы не оставляли надежды, ведь надежда — не только начало и конец Веры, но также сила Юности и опора Старости. И потому сердца наши вскоре забыли грусть расставания и стали радоваться новым прекрасным видам, которые сменялись у нас перед глазами, открывая нам красоту мира, как его создал Господь. Воздух сиял и переливался, подобный ризам Святой Девы; солнце делало, будто Золотое Сердце Спасителя нашего, источа-

ющее свет и жизнь для всего рода человеческого; синий свод небес был как огромный и прекрасный молитвенный дом, в коем всякая былинка, всякий цветок и тварь живая воссылают хвалу Господу.

Проходя лежащие на пути нашем многочисленные хутора, деревни и города, мы, бедные монахи, видели тысячи людей за всевозможными занятиями, и зрелище это, нам прежде незнакомое, наполняло сердца наши изумлением и восторгом. А сколько храмов попадалось нам, с каким радушием и благочестием приветствовали нас, путников, прихожане, как усердно и радостно спешили они удовлетворить наши нужды! Благодарность и довольство грели нам душу. Все учреждения церкви благоденствовали и процветали, а это означало, что они угодны Богу, Коему мы служим. Сады и огороды при монастырях и обителях все содержались в порядке, доказывая заботу и трудолюбие богобоязненных крестьян и святой братии. И отрадно было слышать, как перезванивались церковные колокола, отбивая час за часом; казалось, самый воздух наполнен сладостной музыкой, словно голосами ангелов, поющими хвалу Творцу.

Всюду, куда мы ни приходили, мы приветствовали жителей именем Святого, нашего патрона. И они кланялись и выражали радость; женщины и дети теснились вдоль обочин, спеша поцеловать нам руки и испросить благословение, словно бы мы — не бедные служители Бога и людей, а сами господа и хозяева этой прекрасной земли. Не будем, однако, питать гордыню в сердце своем, а сохраним кротость, блюдя правила нашего святого ордена и не греша против учения нашего Патрона.

Я, брат Амброзий, со стыдом и раскаянием признаюсь, что поймал себя на весьма земных и греховных мыслях. Мне представилось, будто женщины целовали руки мне с гораздо большей охотой, чем обоим моим товарищам, — что, конечно, было заблуждением, ведь я не святее их; и, притом, моложе годами и менее опытен в страхе Божиим и в соблюдении заповедей Его. Заметив эту ошибку женщин и ощутив на себе упорные взоры дев, я испугался, усомнившись, что сумею противостоять соблазну, буде он представится. Нет, думал я, трепеща и содрогаясь, чтобы достичь святости, мало обетов, молитв и покаяния; нужно иметь такое чистое сердце, коему искушение неведомо. О, я недостойный!

Ночевали мы всякий раз в каком-нибудь монастыре, неизменно встречая радушный прием. Для нас щедро выставляли на стол еду и питье, и монахи, столпившись вокруг, расспрашивали нас о большом и прекрасном мире, с которым нам выпало на долю так близко познакомиться. Когда узнавали о месте нашего назначения, нас жалели, ведь нам предстояло поселиться среди диких гор. Сколько мы наслышались рассказов о ледниках, снежных вершинах и скалистых обрывах, о грохочущих водопадах, пещерах, темных лесах; и еще нам рассказали об озере, таком таинственном и жутком, что другого подобного ему нет в целом свете. Оборони нас, Господи!

На пятый день пути, уже неподалеку от Зальцбурга, нам предстало странное и зловещее зрелище. Прямо перед нами, над горизонтом, стеной громоздилась темная гряда грозовых туч со светлыми как бы башнями и темными нишами, а выше, меж нею и голубыми небесами, виднелась вторая стена, ослепительно белого цвета. Мы изумились и встревожились. Тучи стояли недвижно, мы следили в продолжение нескольких часов и не заметили ни малейшей перемены. К вечеру, когда солнце склонилось к закату, темные бастионы залило огненным светом. Дивно блистали они и лучились и подчас казались охваченными пожаром.

Каково же было наше удивление, когда мы поняли, что перед нами не тучи, а почва и камни! То были горы, о которых мы столько наслышались, а белая стена за ними — это гряда снежных вершин, которые лютеране, если их послушать, могут сдвигать своей верой, в чем я весьма сомневаюсь.

2

У поворота на дорогу, уводящую в горы, мы остановились со щемящим сердцем, словно перед вратами ада. Позади лежала прекрасная земля, которую мы пересекли, идучи сюда, и теперь должны были навсегда оставить; а впереди хмуρο высились неприветливые горы с зияющими провалами и ведьмовскими лесами, отталкивающие взгляд и грозящие гибелью телу и душе. Но укрепивши сердца наши молитвой и прошептав заклятия от злых духов, мы с именем Господа ступили на узкую тропу, уводящую в горы, исполнившись готовностью претерпеть все, что выпадет на нашу долю.

Мы поднимались с осторожностью. Могучие стволы деревьев преграждали нам путь, густая листва затмевала свет дня, внизу царил мрак и холод. Звук наших шагов — и голосов, когда мы решались что-то сказать, — отдавался от отвесных скал, высящихся справа и слева, повторяясь так отчетливо и многократно, что казалось: нас сопровождает целая армия невидимых перемешников, которые передразнивают нас и потешаются над нашими страхами. С вершин нас провожали злобные взгляды огромных хищных птиц, потревоженных шумом восхождения и покинувших гнезда на деревьях и крутых обрывах. Хрипло и свирепо каркали над головой стервятники и вороны, так что от ужаса стыла кровь в жилах. Ни молитвы, ни псалмы не приносили успокоения, а лишь будили новые стаи птиц и гулким эхом усугубляли адский гомон. К своему удивлению, мы видели лежащие на склонах вековые деревья, которые вырвала с корнем из почвы некая мощная зловещая сила. Путь наш подчас проходил по самому краю грозно зияющих бездонных обрывов: скопидишь взгляд, и замирает сердце. Разразилась буря — небесное пламя ослепило очи, а оглушительные громы грохотали с такой силой, что подобного мы еще

не слышали никогда в жизни. Страхи наши разыгрались, мы уже были готовы к тому, что вот сейчас, с минуты на минуту, из-за скалы выпрыгнет какой-нибудь бес, исчадь ада, или из чащи выйдет ужасный медведь и перегородит нам путь. Но никто страшнее оленя или лисы не появлялся, и видя, что наш Святой Патрон в горах столь же могуществен, как и на равнине, мы понемногу осмелели.

Наконец мы вышли на берег реки, чьи серебристые струи так отрадно освежали взор. В хрустальной глубине меж камней можно было различить золотую форель размерами с зеркального карпа, которого разводили в пруду при нашем монастыре. Даже и в этих диких местах Небеса позаботились, чтобы у верующих было вдоволь постной пищи.

Под тенистыми соснами и у обомшелых валунов цвели дивные цветы темно-синего и золотисто-желтого цвета. Брат Эгидий, столь же ученый, сколь и благочестивый, знал их по своим гербариям и сообщил нам их названия. После грозы вылезли из укрытий на свет Божий пестрые жуки и яркокрылые бабочки, и мы, забыв про страхи и молитвы, про медведей и нечистую силу, рвали цветы и гонялись за красивыми насекомыми, радуясь жизни.

Много часов мы не видели людей и человеческого жилья. Все дальше и дальше уходил наш путь в горы; труднее и труднее становилось идти через лесные заросли и ущелья, снова нас обступили испытанные в начале пути страхи, но они уже не угнетали душу, ведь мы теперь удостоверились, что Господь сберегает нас для дальнейшего служения святой Его воле. Дойдя до одного из рукавов серебристой реки, мы были рады обнаружить, что поперек него проложен неказистый, но прочный мост. Однако прежде чем ступить на него, я взглянул через реку, и от того, что я там увидел, у меня захолонуло сердце. На том берегу зеленел пологий луг, усыпанный цветами, а посередине луга возвышалась виселица, и с нее свисало тело казненного! Лицо повешенного было обращено к нам, искаженное и почерневшее, но неоспоримо свидетельствовало о том, что смерть наступила не далее как сегодня.

Я уже хотел было привлечь внимание моих товарищей к ужасному зрелищу, как вдруг произошло нечто удивительное: на лугу появилась девушка в венке из ярких цветов на распущенных золотистых волосах. На ней было алое платье, и оно словно огнем освещало все вокруг. Ничто в ее повадке не выдавало страха перед мертвецом на виселице; наоборот, она устремила к нему, плавно ступая босиком по траве и при этом звонко пела что-то мелодичное и размахивала руками, стараясь разогнать стервятников, которые с хриплыми криками вились вокруг, громко хлопали крыльями и щелкали клювами. Вспугнутые, они разлетались — все, кроме одной птицы, эта уселась на перекладине и словно бы с вызовом и угрозой поглядывала сверху на девушку. Но девушка подбежала, танцуя, крича и подпрыгивая, и все-таки согнала мерзкую тварь, птица развернула крылья и тяжело полетела прочь. А девушка остановилась и, закинув голову, устремила задумчивый взгляд на раскачивающееся тело повешенного.



Песня ее привлекла внимание моих спутников, теперь мы все трое стояли на мосту и смотрели на это странное дитя и на все, что ее окружало, не в силах от удивления вымолвить ни слова.

При этом я ощутил, как по спине у меня пробежала легкая оторопь. Это считается верным знаком, что чья-то нога ступила на место твоей будущей могилы. Меня же, как ни странно, пробрал холод в тот миг, когда девушка встала под виселицей. И это лишь доказывает, что у человека правильные мнения бывают порой перемешаны с глупыми предрассудками — ведь не может же того быть, чтобы верному последователю Святого Франциска лежать в могиле у подножья виселицы.

— Поспешим туда, — позвал я моих товарищей, — и помолимся за душу несчастного.

Мы подошли к виселице и прочитали молитвы, не поднимая глаз, но с большим пылом — в особенности я, так как мое сердце исполнилось состраданием к висящему над нами бедному грешнику. Я вспомнил слова Господа нашего, сказавшего: «Мне отмщение», ведь Он простил разбойника, распятого на кресте рядом с Ним, и кто знает, быть может, и этому несчастному, испустившему дух на виселице, уготовано милосердие и прощение?

Девушка при виде нас отошла в сторону и с недоумением наблюдала за нами. Но вдруг посреди молитвы я услышал ее нежный звонкий голосок: «Стервятник! Стервятник!» — прозвучавший с несказанным испугом. Подняв голову — огромная серая птица кругами спускалась туда, где стояли мы, ничуть не смущаясь ни нашим присутствием, ни Божеским нашим чином, ни святой молитвой. Однако братья вознегодовали на то, что девичий голос прервал моление, и разбрали ее.

— Умерший, верно, был ей родней, — возразил я им. — И подумайте, братья, каково ей видеть, как стервятник садится на его труп, чтобы рвать лицо и руки и питаться его мясом. Как же ей было не вскрикнуть?

Один из братьев сказал:

— Ступай к ней, Амброзий, и вели молчать и не отвлекать нас от дела, чтобы мы могли беспрепятственно молиться за упокой души этого грешника.

Я пошел по сладко пахнущим цветам к девушке, которая по-прежнему, здрав голову, смотрела, как стервятник кружит, снижаясь над виселицей. У нее за спиной белел осыпанный серебристым цветом куст, служа выгодным фоном для ее прекрасных очертаний — что я, недостойный, не преминул заметить.

Навстречу мне, застыв в молчании, она устремила взор больших темных глаз, и в нем я разглядел затаившийся испуг, словно она опасалась, что я причиню ей зло. Даже когда я приблизился, она не двинулась с места, не шагнула, как другие женщины и дети, мне навстречу, чтобы поцеловать мне руку.

— Кто ты? — спросил я. — И что делаешь одна на этом ужасном месте?

Она не ответила и не пошевелилась; я повторил вопрос:

— Скажи мне, дитя, что ты здесь делаешь?

— Отгоняю стервятников, — отозвалась она тихим, мелодичным, несказанно приятным голосом.

— Покойник — родня тебе? — спросил я.

Она покачала головой.

— Ты знала его и сострадаешь его нехристианской смерти?

Но она опять промолчала, и мне пришлось задать ей другие вопросы:

— Как его имя, и за что он был казнен? Какое преступление он совершил?

— Его имя — Натаниель Альфингер, он убил мужчину и женщину, — проговорила девушка отчетливо и совершенно невозмутимо, будто убийство и казнь на виселице — вещь самая обыкновенная и не представляющая ни малейшего интереса. Пораженный, я пристально посмотрел на нее, но она оставалась спокойной и равнодушной.

— Ты была знакома с Натаниелем Альфингером?

— Нет.

— И однако же пришла сюда охранять его труп от воронья?

— Да.

— Почему же такая забота о том, кого ты даже не знала?

— Я всегда так делаю.

— То есть, как?..

— Всякий раз, когда кого-нибудь вешают, я прихожу и отгоняю птиц, чтобы они нашли себе другую пищу. Вон, вон еще один стервятник!

Она издала громкий, пронзительный возглас и, вскинув руки над головой, побежала по лугу, словно безумная. Огромная птица испугалась и улетела, а девушка возвратилась туда, где стоял я. Она прижимала к груди загорелые ладони и глубоко дышала, стараясь отдышаться. Я как мог ласково спросил ее:

— Как тебя зовут?

— Бенедикта.

— А кто твои родители?

— Моя мать умерла.

— А отец? Где он?

Она промолчала. Я стал настаивать, чтобы она сказала мне, где ее дом, так как хотел отвести бедное дитя к отцу и посоветовать ему, чтобы лучше смотрел за дочерью и не пускал больше разгуливать по таким страшным местам.

— Так где же ты живешь, Бенедикта? Прошу тебя, ответь.

— Здесь.

— Что? Здесь! Ах, дитя мое, ведь тут ничего нет, кроме виселицы.

Но она указала на сосны. Следуя взглядом за ее рукой, я разглядел под деревьями жалкую хижину, более подходящую служить обиталищем зверю, чем человеку. И я понял яснее, чем если бы мне сказали словами, чьей дочерью была эта девушка.

Когда я вернулся к своим товарищам и они спросили, кто она, я ответил:

— Дочь палача.

3

Поручив душу повешенного заступничеству Пресвятой Девы и Святых Праведников, мы покинули проклятое место, но, уходя, я еще раз оглянулся на прелестное дитя палача. Она стояла там, где я ее оставил, и смотрела нам вслед. Ее нежный белый лоб по-прежнему венчала диадема из золотистых примул, придававшая особое очарование ее прелестному лицу, а большие темные глаза лучились, подобно звездам в зимнюю полночь. Мои спутники, для которых «дочь палача» означало нечто безбожное и отталкивающее, стали укорять меня за выказанный к ней интерес; мне же грустно было думать, что это милое, красивое дитя вызывает у людей презрение и брезгливость, ничем не заслужив их. Почему она должна страдать из-за ужасной профессии своего отца? И разве не чисто христианское милосердие побуждает невинную девушку отгонять воронье от трупа человека, которого она совсем не знала при жизни и который был сочтен недостойным существовать на земле? Я находил ее поступок более христианским, чем даже милостыня, которую раздают бедным самые что ни на есть христианские благотворители. Я высказал эти мнения моим товарищам, но с сокрушением убедился, что они их не разделяют; напротив того, я был назван ими мечтателем и глупцом, желающим ниспровергнуть вековечные и здравые народные обычаи. Таких людей, как палач и его родные, все должны сторониться, настаивали они, иначе и на них распространится проклятье. Однако у меня хватило твердости духа не отступить от своих взглядов. Я кратко вопрошал, справедливо ли обращаться как с преступниками с людьми, которые служат составной частью судебного механизма, предназначенного как раз для того, чтобы карать преступников? Хотя в храме палачу и его семье выделяют отдельный, самый темный угол, но разве не обязаны мы как слуги Господни проповедовать евангелие справедливости и милосердия и показывать пример христианской любви и сострадания? Но братья разгневались на меня, и безлюдная местность огласилась их громкими возгласами, так что я в конце концов ощутил себя виновным, хотя и не понимал, в чем. Оставалось надеяться на то, что Небеса окажутся милосерднее к нам, чем мы друг к другу. При воспоминании о дочери палача мне было отрадно думать, что имя ее — Бенедикта, «благословенная» по-латыни. Наверно, родители избрали его, чтобы дать благословение той, которую в жизни никто больше не благословит.

Но я должен описать удивительные виды, среди которых мы теперь пробирались. Не знай мы твердо, что весь мир — Господень, ибо Им создан, мы бы, пожалуй, сочли эту дикую местность царством нечистого духа.

Далеко внизу рокотала река и пенилась на перекатах, теснимая уходящими ввысь скалистыми пиками. Слева от нас темнел черный сосновый лес, а впереди поднималась грандиозная вершина. Как ни грозно она высилась, но в ее облике было и что-то смешное — гладкая и коническая, она походила на дурацкий колпак, казалось, какой-то мужлан надел углом на голову мешок из-

под муки. В сущности ведь ничего страшного, это всего только снег. Снег в середине солнечного мая! Воистину дивны дела Господни, так что даже не верится. Мне подумалось, что вздумай эта старая гора покачать головой, то-то снегу насыплется вокруг!

К немалому нашему удивлению, там и сям вдоль дороги земля была расчищена от леса, так что хватало места поставить хижину и разбить сад. Иные из этих простых жилищ открывались взгляду на кручах, где в пору было разве что орлам свить гнездо; но не существует, видно, мест, недоступных для человека, он тянет руку всюду, не боясь угодить пальцем в небо.

Наконец, мы достигли места нашего назначения, и сердца наши наполнились благочестивой радостью при виде храма и жилища, возведенных во имя возлюбленного нашего Святого Патрона в этой дикой местности. На горе, поросшей соснами, были выстроены хижины и дома, а среди них стоял монастырь, словно пастырь в окружении стада. Церковь и монастырь были сложены из рубленого камня, имели красивый вид и благородные просторные пропорции.

Испросив благословения милосердного Господа, ступили мы в святые места.

4

Теперь я уже несколько недель прожил в этом диком краю, и здесь с нами Господь. Здоровье мое превосходно, а этот дом, посвященный возлюбленному нашему Святому Патрону, — воистину оплот веры, твердыня покоя, приют для всякого, кто бежит от нечистой силы, убежище несущих бремя страдания. Правда, ко мне самому это все же не относится. Я молод, и хотя на душе у меня покойно, однако опыта общения с миром и его обычаями я почти не имею и поэтому легко могу, мне кажется, совершить ошибку и впасть в грех. Жизнь моя течет подобно ручью, который тянется серебряной нитью, беззвучно и безмятежно, через приветливые поля и цветущие луга, но знает про себя, что стоит разразиться буре и выпасть дождям — и он превратится в бурный поток, с силой и необузданностью страсти несущий к морю муть и обломки.

Не горе и не отчаяние побудили меня удалиться от мира и искать прибежище у Святой Церкви, а лишь горячее желание служить Богу. Я стремлюсь к одному: посвятить себя возлюбленному нашему Святому, исполнить веления Церкви и, как надлежит слуге Господа, быть милосердным ко всем людям, ибо я всех их душевно люблю. В сущности, Церковь мне родная мать, ибо, в раннем детстве оставшись сиротой, я бы тоже погиб без пригляда вслед за родителями, если бы Церковь не пожалела меня и не взрастила как свое родное дитя, дав мне пищу, одежду и кров. А какое блаженство уготовано мне, когда я, бедный монах, получу благословение и буду возведен в священнический сан! Я часто думаю и мечтаю о том, как это произойдет, и стараюсь при-

готовить душу к принятию высоких Святых Даров. Знаю, что всегда останусь недостойн такого блаженства, но все же уповаю, что смогу стать честным и искренним священнослужителем и буду служить Богу и человеку в согласии с заветами, полученными свыше. Молю Небеса об испытании соблазном, дабы я мог пройти сквозь пламя, не обжегшись, а лишь очистившись мыслью и душой. Но пока что на душе у меня мир и благодать, дух мой, убаюканный, дремлет, и все испытания и соблазны жизни где-то далеко-далеко, как далеки угрозы морской стихии от того, кому едва слышны удары прибоя.

5

Наш настоятель отец Андреас — мягкий и богобоязненный человек. Братия живет в мире и согласии, но не праздну, без суетности и высокомерия. Соблюдают умеренность, не слишком предаваясь радостям застолья — похвальное самоограничение, ведь монастырю тут принадлежат, куда ни посмотришь, все окрестные земли и уголья, холмы и долины, река и лес. В лесу полно разнообразной дичи, из коей все лучшее приносится к нашему столу, и мы едим ее с большим удовольствием. А питье у нас в монастыре варят из солода и ячменя и получают крепкий, горький напиток, хорошо освежающий при усталости, но, на мой вкус, не особенно приятный.

Самой примечательной особенностью здешних краев являются соляные копи. Говорят, горы внутри состоят из одной соли — до чего же дивны дела Твои, Господи! Ради добычи этого минерала человек проникает с помощью шахт и штолен в самое чрево земли и извлекает на солнечный свет горькое содержимое холмов. Я своими глазами видел соль в кристаллах красного, коричневого и желтого цвета. На соляных копиях заняты наши крестьяне и их сыновья, и даже некоторые работники из чужих стран; и над всеми главенствует распорядитель работ, который называется здесь — зальцмейстер. Это суровый человек, пользующийся большой властью. Наш настоятель и вся братия находят для него не много хороших слов, и не по недостатку христианского человеколюбия, а потому что у него дурной нрав. У зальцмейстера есть единственный сын по имени Рохус, красивый, но буйный и порочный юноша.

6

Люди в здешних местах живут гордые и упрямые. В одной старой хронике говорится, так я слышал, что они — потомки римлян, которые в свое время проложили в горах немало штолен ради добычи драгоценной соли; иные из

этих штолен существуют по сей день. Из оконца моей кельи мне видны исполинские вершины и венчающие их темные островерхие леса, которые к ночи вспыхивают в закатных лучах, словно охваченные небесным пожаром. Праотцы здешних жителей (после римлян) тоже были, говорят, жестоковейны и долго упорствовали в идолопоклонстве, когда окрестные племена уже все приняли крест Спасителя. Но теперь они тоже склонились перед этим святым символом и смягченными сердцами приняли животворную истину. Могучие телом, духом они кротки и покорны слову Божию. Нигде с таким пылом не целовали мне руку, как в этих местах, а ведь я не священнослужитель! Вот доказательство власти и торжества нашей славной веры.

Люди здесь крепкого сложения и прекрасны лицом и статью, особенно молодые мужчины; да и старые тоже держатся очень прямо и гордо, будто цари. У женщин длинные белокурые волосы, они их заплетают и красиво обвивают вокруг головы, а также любят украшать себя самоцветами. У иных глаза такие, что всегда затмят темным блеском игру драгоценных рубинов и гранатов, которые они носят подвешенными вокруг шеи. Говорят, молодые мужчины бьются друг с другом за женщин, как олени за лань. Увы, какие греховные страсти кипят в мужских сердцах! Однако сам я ничего такого не знаю и никогда не буду испытывать подобных безбожных чувств, так что не мне судить и выносить приговор.

Какое счастье, о Господи, — благодатный покой, коим Ты наполняешь души посвященных Тебе! Взгляни, у меня в груди не кипят страсти, в ней царит безмятежность, как у дитяти, зовущего: «Авва, Отче!». И да будет так всегда.

7

Я снова видел прекрасную дочь палача. На колокольне звонили к обедне, а она стояла перед папертью монастырской церкви. Я как раз возвращался от постели умирающего, и мысли мои были мрачны, так что я обрадовался при виде ее и хотел было подойти и поздороваться, но взор ее был потуплен, и она меня не заметила. Площадь перед церковью была заполнена народом: мужчины и юноши — по одну сторону, женщины и девицы — по другую, все в высоких головных уборах и с золотыми цепочками на шее. Люди стояли плотной толпой, но при приближении дочери палача расступались и шарахались назад, перешептываясь и глядя исподлобья, будто она прокаженная, от которой они боятся подхватить заразу.

Сострадание наполнило мне грудь, я пошел следом за бедняжкой и, нагнав ее, сказал громким голосом:

— Здравствуй во Господе, Бенедикта.

Она отшатнулась словно в испуге, но, взглянув, узнала меня, как видно, удивилась, залилась волнами яркого румянца, а потом снова потупилась и ничего не ответила.

— Разве ты боишься разговаривать со мною? — спросил я.

Она молчала. Я снова заговорил:

— Делай добро, будь послушна Богу и никого не бойся — тогда ты спасешься.

Тогда она набрала в грудь воздуха и проговорила еле слышно, почти шепотом:

— Благодарю тебя, господин мой.

— Я не господин, Бенедикта, — возразил я, — я лишь бедный слуга Господа нашего, который всем Своим детям любого сословия ласковый и милостивый Отец. Молись Ему, когда у тебя тяжело на сердце, и Он будет с тобою.

Я говорил ей это, а она, подняв голову, смотрела на меня, словно печальное дитя, утешаемое матерью. Охваченный жалостью, от которой сжималось мое сердце, я со словами утешения ввел ее в церковь впереди всех.

Прости мне, Святой Франциск, грех, который я совершил во время богослужения! Пока отец Андреас произносил возвышенные слова мессы, глаза мои то и дело устремлялись туда, где бедная девушка, одинокая и всеми презираемая, отдельно стояла на коленях в темном углу храма, предназначенном для нее и ее отца. Она молилась самозабвенно и истово, я знаю, ты, Святой Патрон нашего ордена, осветил ее лучом своего благоволения, ведь ты стал великим святым через любовь к роду человеческому, сложив у Небесного Трона свое большое сердце, кровоточащее за грехи всего мира. И разве я, ничтожнейший из твоих последователей, не должен, подражая тебе, пожалеть бедную отверженницу, страдающую за грех, не ею содеянный? Я испытываю к ней особую нежность, которую сам понимаю как веление Небес смотреть за ней, оберегать ее и в конце концов спасти от гибели ее душу.

8

Настоятель призвал меня к себе и укорил за то, что я вызвал дурные чувства у братии и прихожан. Какой бес, спросил он, попутал меня войти в храм вместе с дочерью палача?

Мог ли я дать ему иной ответ, кроме того, что я пожалел бедную девушку и не мог поступить иначе?

— За что ты пожалел ее? — спросил настоятель.

— За то, что все люди ее сторонятся, как смертного греха, — ответил я, — тогда как она ни в чем не виновата. Ведь не ее грех, что отец ее — палач, да и не его тоже, ибо, увы, люди не могут обойтись без палачей.

Ах, возлюбленный Святой Франциск! Как разбранил отец-настоятель ничтожного слугу за эти дерзкие слова!

— Раскаиваешься теперь? — спросил он, излив на мою голову все укоризны.

Но как я мог раскаяться в своем сострадании, которое, я верил, ниспослал мне наш Святой Патрон?

Видя, что я упорствую, отец-настоятель очень огорчился. Он прочитал мне длинное поучение и назначил суровую епитимью. Я принял кару кротко и безмолвно и теперь сижу под замком в своей келье, очищаясь постом и бичеванием. При этом я ни в малой мере не щажу себя, ибо мне радостно страдать за столь несправедно обиженное бедное беззащитное дитя.

Я стою у зарешеченного окошка и смотрю на таинственные высокие горы, темнеющие на фоне закатного неба. Вечер тихий и погожий. Я распахнул окно моей клетки, чтобы впустить свежего воздуха и чтобы яснее слышать, как поет горная речка внизу с таким божественным участием, нежно и утешительно.

Не помню, объяснял ли я уже, что монастырь построен на отвесной скале высоко над рекой. Прямо под окнами наших келий — крутой каменный обрыв, по которому взобраться значит рисковать жизнью. Представьте же мое изумление, когда я разглядел человеческую фигурку, карабкающуюся вверх из зияющей пропасти. Вот она перелезла через край обрыва и выпрямилась на узком уступе! В сумерках я не мог разглядеть загадочное существо и предположил, что, скорее всего, это нечистый дух, явившийся смущать меня соблазном. Потому, перекрестившись, я прочитал молитву. Но взметнулась рука, и что-то влетело ко мне в окно, чуть не задев мою голову, и лежит на каменном полу, лучась, как белая звезда. Я наклонился, поднял — это пучок цветов, каких я не видывал никогда в жизни, безлистных, белоснежных, мягких, точно бархат, и лишенных аромата. Возвратившись к окну, чтобы рассмотреть удивительные цветы, я перевожу взгляд на человеческую фигурку, стоящую над пропастью, и вдруг слышу негромкий, нежный голос: «Это я, Бенедикта, спасибо тебе!».

О, Боже! Милое дитя, чтобы послать мне привет в моем одиночестве и заточении, она, пренебрегши смертельной опасностью, взобралась по каменному обрыву. Стало быть, она знает о моем наказании и что я понес его за нее. Знает даже, в которой келье я сижу. Святой Патрон! Откуда же ей все это может быть известно, если не от тебя? Как же я мог, точно язычник, усомниться в том, что мой внутренний голос передает мне повеление свыше спасти ее!

На миг я увидел, как она наклонилась над пропастью, оглянулась, махнула мне рукой — и исчезла. Я невольно вскрикнул: неужели она сорвалась с уступа? Вцепившись в прутья решетки, я дернул изо всех сил. Но решетка не поддалась. Тогда в отчаянии я бросился на пол, плача и моля всех Святых, чтобы они хранили милое дитя в ее опасном спуске — если она жива, и заступились за ее не покаявшуюся душу — если упала. Я еще не поднялся с колен, когда

Бенедикта подала мне знак, что благополучно спустилась, — то был звонкий клич, каким обмениваются в здешних краях жизнелюбивые горцы, но только голос Бенедикты долетел ко мне снизу, из теснины, сопровождаемый многократным эхом, и прозвучал так дивно, нездешне, что я заплакал, и слезы мои оросили пучок диких цветов у меня в руке.

9

Как последователю Святого Франциска мне запрещено владеть тем, что дорого моему сердцу, поэтому я отдал свое самое драгоценное сокровище — подаренный Бенедиктой букетик необыкновенных цветов — возлюбленному нашему Святому Патрону. Ими теперь убрано его изображение в храме, его обнаженное кровоточащее сердце — символ страданий за человечество.

Я узнал название этих цветов: за белизну и особую нежность их называют эдельвейсы — благородно-белые. Растут они в совершенной своей красоте только на самых высоких и недоступных кручах, над головокружительными обрывами и глубочайшими пропастями, где один неверный шаг — и ты, не сорвав цветок, расстался с жизнью.

Эти прекрасные цветы и есть на самом деле злые духи здешнего края, ведь они манят и губят мертвых. Братья-монахи рассказали мне, что год не проходит без того, чтобы какой-нибудь пастух, охотник или просто отчаянный парень, карабкаясь за дивным цветком, не погиб, сорвавшись со скалы.

Да смилостивится Бог над их душами!

10

Наверно, я побелел, как мел, когда один из братьев за вечерней трапезой рассказал, что под иконой Святого Франциска появился букетик эдельвейсов необыкновенной красоты, такие растут только на верху одной-единственной скалы в тысячу футов высотой, которая нависает над мрачным озером. Об этом озере рассказывают жуткие истории — оно очень бурное и глубокое, и в его водах обитают чудовищные привидения, их видели скользящими вдоль уреза воды или встающими из черных глубин.

Так что дар Бенедикты возбудил толки среди братии, ведь даже из отважнейших охотников мало кто рискнет взобраться на ту скалу над проклятым озером. И подумать только, что это смогла сделать нежная девушка! Одна, беззащитная, она поднялась по почти отвесной скале туда, где растут цветы, которые ей вздумалось нарвать для меня. Не иначе, как само Небо хранило ее



на этом опасном подъеме, чтобы я получил зримый знак того, что мне поручено спасение ее души.

Ах, бедное безгрешное дитя, проклятое в глазах людей. Бог дал мне понять, что заботится о тебе, и я уже предчувствую в сердце своем то будущее поклонение, которое достанется тебе по праву, когда Он в знак твоей чистоты и святости осенит твои останки Своей милостью и Церковь должна будет причислить тебя к лику блаженных!

Узнал я и еще одну вещь, о которой напишу здесь. В этих краях эдельвейсы считаются символом верной любви, парни дарят их своим возлюбленным, а девицы украшают ими шляпы избранников. Мне ясно, что, выражая благодарность скромному слуге Церкви, Бенедикта была побуждаема, быть может, сама того не ведая, любовью к Церкви, хотя пока еще, увы, у нее мало для того причин.

Теперь я целыми днями брожу по окрестностям, и мне уже знакомы все тропинки в лесу, и на склонах гор, и на облачных перевалах.

Меня часто посылают в хижины крестьян, охотников и пастухов — передать лекарство болящим или принести утешение печалующимся. Преподобный настоятель обещает, что, когда я получу священнический сан, на мою долю выпадет разносить последнее причастие умирающим, так как я — самый крепкий и молодой изо всей братии. В здешних горах бывает, что охотник или

пастух сорвется с кручи и его находят по прошествии нескольких дней еще живого. И долг священника — исполнить над страдальцем святой обряд нашей религии, дабы Всеблагой Спаситель принял его отлетающую душу.

Ради того, чтобы я был достоин такой благой доли, как обережет возлюбленный наш Святой Патрон мою душу от всяческих страстей и желаний!

11

В монастыре справили большой праздник, и я сейчас расскажу, что на нем произошло.

За много дней до назначенного срока братия занялась приготовлениями. Ветвями сосен и берез и цветами изукрасили церковь. Некоторые монахи отравились с деревенскими в горы и нарвали там прекрасных альпийских роз, которые летом цветут в изобилии. В канун праздника все сидели в монастырском дворе и плели венки и гирлянды; даже сам преподобный настоятель со святыми отцами разделили наше веселие — расхаживали под сенью деревьев, предаваясь приятной беседе и поощряя брата келаря щедрее пускать в дело содержимое сводчатых погребов.

Утро началось с торжественного шествия. Это было прекрасное зрелище, умножающее славу Святой Церкви. Впереди шел настоятель под лиловым балдахинном, окруженный отцами-священниками, и держал в руках священный символ распятия Спасителя нашего. За ним следовали мы, монахи, несли зажженные свечи и пели псалмы. А сзади многолюдной толпой теснился народ, разодетый по-праздничному.

Впереди гордо выступали рудокопы и соледобытчики во главе с зальцмейстером на коне под богато шитой попоной. Был он человек собой важный, высоколобый, с большим мечом на боку и в широкополой шляпе с пером. За ним ехал его сын Рохус. Пока мы собирались и строились перед воротами, я успел внимательно рассмотреть его. По-моему, это дерзкий и своенравный юноша. Из-под шапки, надетой набекрень, он бросал плотоядные взоры на женщин и дев. А на нас, монахов, посматривал с презрением. Боюсь, что он плохой христианин. Но вот красавца такого я еще никогда в жизни не видел: высокий, стройный, как молодая сосна, глаза светло-карие и золотистые кудри.

Зальцмейстер в здешних краях — лицо такое же влиятельное, как и наш настоятель. Его назначает сам герцог и облачает властью во всех делах. Ему принадлежит даже право миловать и казнить тех, кто обвиняется в убийстве или иных ужасных преступлениях. Но Господь, по счастью, одарил его умеренностью и здравомыслием.

Шествие двинулось через деревню в долину и спустилось ко входу в большую соляную шахту. Здесь был установлен алтарь, и наш настоятель отслужил

торжественную мессу, а все люди, сколько их собралось, стояли на коленях. Я заметил, что зальцмейстер и его сын очень неохотно преклонили колени и головы, и это наблюдение огорчило меня. Когда служба кончилась, шествие потянулось на гору, которую здесь называют Кальвария, она возвышается над монастырем, и с нее открывается широкий вид на лежащие внизу земли. Здесь настоятель воздел кверху святое распятие, дабы изгнать нечистых духов, таящихся среди круч, а также прочитал молитвы и провозгласил проклятие демонам, обитающим в долинах. Трезвонили колокола, вознося хвалу Богу, казалось, небесное пение разносится по округе. И во всем такая чистота, такое благолепие.

Я поискал взглядом, здесь ли дитя палача? Но ее нигде не было видно, и я не знал, радоваться ли тому, что она сейчас недоступна для оскорблений от участвующих в шествии, или же огорчаться, что не могу черпать духовную силу от лицезрения ее небесной красоты.

После службы был пир. На лугу в тени деревьев стояли столы, и за этими столами все, духовные лица и миряне, сам преподобный настоятель и великий зальцмейстер, ели пищу, которую готовили и подносили им юноши. Они развели большие костры из сосновых и кленовых поленьев, клали на уголья огромные куски мяса на деревянных вертелах и переворачивали, пока не запекутся, а тогда раскладывали по столам. Кроме того, варили в больших котлах форель и карпов. Пшеничные хлеба лежали в громадных корзинах, что же до питья, то уж в нем-то и подавно не было недостатка, так как зальцмейстер и настоятель, оба поставили по бочке пива. Пузатые бочки лежали на боку на дощатых подставках под древним дубом. Молодые прислужники и люди зальцмейстера наполняли кружки пивом соледобытчиков, а монастырское наливали сам брат келарь и кое-кто из монахов помоложе. К чести Святого Франциска должен заметить здесь, что бочка церковников намного превосходила размерами ту, которую поставил зальцмейстер.

Для настоятеля и святых отцов стол был отдельный, как и для зальцмейстера с его приближенными. Настоятель и зальцмейстер восседали в креслах, установленных на красивых коврах, и сверху их заслоняли от солнца льняные балдахины. На пиру было немало рыцарей, прибывших из своих отдаленных замков для участия в празднике, и с ними красавицы жены и дочери. Я помогал прислуживать за столом. Разносил блюда, наполнял кубки и мог наблюдать, какой прекрасный аппетит у здешней публики и как по вкусу ей коричневый горький напиток. И еще я видел, как любовно поглядывал на дам сын зальцмейстера, и это меня очень возмущало, так как не мог же он жениться на всех, тем более что иные были уже замужем.

Музыка у нас тоже была. Вовсю играли деревенские парни, которые в свободные от работ минуты наострились в игре на разных инструментах. Как же гудели и взвизгивали их свирели и дудки, как прыгали по струнам и пиликали скрипичные смычки! Не сомневаюсь, что музыка была отменно хороша, да только Небесам угодно было лишить меня музыкального слуха.

Уверен, что наш Святой Патрон радовался, глядя на то, как столь большое сборище людей напивается и наедается до отвала. Сколько же они поглощали. Боже правый! Просто нечеловеческие количества пищи! Но это еще что! А сколько пили! Право, я думаю, если бы каждый житель здешних гор привез с собой по бочке, и тогда бы они были осушены, все до одной. Но женщинам, похоже, пиво не нравилось, а девушкам — в особенности. По местному обычаю, парень, прежде чем выпить, передавал свой кубок одной из девушек, а она, чуть пригубив, морщилась и отворачивалась. Я плохо знаком с женским нравом и не могу с уверенностью утверждать на этом основании, что столь же воздержанны они и в других отношениях.

После пира парни затеяли игры, в которых выказывали свою ловкость и силу. Святой Франциск! Какие у них мощные руки, ноги, шеи! Как они прыгали, как боролись между собой! Ну прямо медвежьи бои! От одного этого вида меня охватывал страх. Мне казалось, что они вот-вот раздавят друг друга. Но девушки наблюдали за игрищами спокойно, без страха и волнения, то радуясь, то прыская со смеху. Дивно мне было также слышать, какие голоса у молодых горцев: запрокинет он голову да как загогочет, и эхо отдастся от горных склонов и загудит в теснинах, словно вырвалось из глоток тысячи демонов.

Первым из всех неизменно оказывался сын зальцмейстера. Он прыгал как олень, дрался как бес и ревел как дикий бык. Он был настоящий король молодых горцев. Я видел, что многие из них завидуют его силе и красоте и втайне ненавидят его; но обходились они с ним почтительно. Глаз нельзя было отвести, когда он изгибал стройный стан в прыжке или в беге, когда, стоя в окружении других, вскидывал голову, точно настороженный олень, и глаза его сверкали, щеки рдели, густые кудри золотились. Прискорбно, что гордыня и страсть нашли приют в таком прекрасном теле, созданном, казалось бы, для прославления своего Создателя.

К вечеру настоятель, зальцмейстер, преподобные отцы и гости из наиболее именитых уехали восвояси, оставив молодежь пить и танцевать. Мне долг велел задержаться и помочь брату келарю разливать из большой бочки пиво для разгулявшейся публики. Молодой Рохус тоже остался. Не знаю уж, как это случилось, но вдруг вижу, он стоит передо мной. Вид надменный, взгляд недобрый.

— Это ты, — спрашивает, — тот самый монах, что оскорбил давеча весь приход?

Я осведомился кротко — хотя под монашеской рясой и ощутил греховный гнев:

— О чем это ты?

— Будто не знаешь! — проговорил он высокомерно. — Запомни, что я тебе скажу. Если ты еще будешь водиться с той девчонкой, я тебя так проучу, что ты не скоро забудешь мой урок. Вы, монахи, склонны выдавать свою дерзость за добродетель. Знаю я вас, меня не проведешь. Учти это, молодой рясоносец, юное лицо и большие глаза под капюшоном не послужат тебе защитой.

И повернувшись ко мне спиной, удалился. Но я слышал в сгустившейся темноте среди криков и песен его звучный голос. Меня очень встревожило, что этому наглецу приглянулась миловидная дочь палача. Уж, конечно, его интерес к ней был бесчестным, иначе бы он не разозлился на меня за то, что я был к ней добр, а, наоборот, поблагодарил бы. Мне стало страшно за бедное дитя, и я снова поклялся перед Святым нашим Патроном, что буду неустанно оберегать и защищать ее, ведь недаром же он совершил для меня чудо, заронив мне в душу восторженную к ней жалость. Подвигнутый этим дивным чувством, могу ли я не выполнить возложенного на меня долга и не спасти твою душу и тело, о Бенедикта?

12

Продолжаю мой рассказ.

Парни навалили на костер хвороста, так что пламя взметнулось высоко, осветив луг и окрасив алым стволы деревьев. Танцоры расхватили девушек и стали изгибаться и кружиться парами. Святые угодники! Как они топотали, и вились волчком, подбрасывая шляпы и высоко взбрыкивая ногами, и кружили своих дам, оторвав от земли, будто это не увесистые деревенские девахи, а легчайшие перышки! Как гикали и гоготали, словно в них вселились все демоны здешних мест, я уж подумал, хоть бы появилось стадо свиней, чтобы черти вышли из двуногих животных и переселились в четвероногих. Все упились темным пивом, которое по силе и горечи может считаться воистину дьявольским напитком.

Вскоре их охватило пьяное безумие, завязались драки, парни бросались один на другого с кулаками, а то и с ножами; в воздухе запахло убийством. Тогда сын зальцмейстера, стоявший в стороне, вдруг прыгнул в самую гущу дерущихся, ухватил за волосы двоих и с такой силой ударил друг о друга головами, что у них хлынула кровь из носа, и я уже решил, не иначе как он проломил им черепа, будто яичную скорлупу; но, видно, головы у них были непробиваемые, потому что лишь только он их отпустил, они тут же снова взялись за старое, и хоть бы что. Но сколько они все ни шумели и ни орали, Рокус все же в конце концов заставил их утихомириться, и это показалось мне, жалкому червю, героическим подвигом. Снова грянула музыка, запиликали скрипки, взвыли свирели, и парни в изодранной одежде с разбитыми в кровь лицами пустились в пляс как ни в чем не бывало. Ну и народ! Не избежать им лап Брамарбаса и Олоферна.

Не успел я еще толком прийти в себя от страха, который внушила мне угроза Рохуса, как мне пришлось испытать страх еще больший. Рохус отплясывал с высокой красивой девушкой себе под стать — настоящие деревенские король с королевой. Они выделывали такие прыжки и повороты, и притом

с такой грацией, что все ими любовались и дивились. На смуглом лице его дамы играла чувственная улыбка, глаза глядели бойко, словно бы говоря: «Видите? Я покорила его сердце!». И вдруг Рохус оттолкнул ее, словно бы с отвращением, вышел из круга танцующих и крикнул приятелям:

— Пойду приведу красотку себе по вкусу. Кто со мной?

Оскорбленная партнерша посмотрела на него с бешенством, черные ее очи полыхали, как язычки адского пламени. Но ее ярость только рассмешила пьяных парней, и раздался громкий хохот.

Рохус выхватил из костра горящую ветку и, размахивая ею над головой, так что искры сыпались дождем, крикнул снова:

— Ну, кто со мной?

И пошел, не оглядываясь, под сень соснового бора. Другие парни тоже похватили горящие ветки и двинулись вслед за ним. Темный бор поглотил их, только издали слышны были их перекликающиеся голоса. Я стоял и смотрел в ту сторону, куда они скрылись. Вдруг ко мне подошла высокая смуглянка и зашипела на ухо, так что горячее дыханье обожгло мне щеку:

— Если тебе дорога дочь палача, поторопись и спаси ее от этого пьяного негодяя. Ни одна женщина перед ним не устоит!

Боже! До чего ужаснули меня ее слова! Я, не колеблясь, поверил ей, но, страшась за судьбу бедной Бенедикты, только пролепетал:

— Как я могу ее спасти?

— Поспеси и предупреди ее, монах, — ответила та. — Она тебя послушает.

— Но они доберутся до нее раньше меня.

— Они пьяные и пойдут небыстро. К тому же я знаю кратчайшую тропинку, которая выводит прямо к хижине палача.

— Тогда скорее покажи мне ее! — воскликнул я.

Она скользнула прочь, сделав мне знак следовать за ней. Скоро мы очутились в лесных зарослях, где было так темно, что я с трудом различал впереди женскую фигуру. Смуглянка шагала так быстро и уверенно, словно при свете дня. Где-то выше по склону между стволами мелькали факелы — парни шли кружной дорогой. Я слышал их гогот, и сердце мое сжималось от страха за бедное дитя. Когда мы в молчании отошли уже довольно далеко, оставив парней позади, моя проводница принялась что-то бормотать себе под нос. Сначала я не разбирал, что она говорит, но очень скоро уже отчетливо слышал каждое ее страстно выговоренное слово:

— Он ее не получит! Дьявол заberi палачово отродье! Ее все презирают и плюют при виде нее. На него это похоже — не обращать внимания на мнения и слова других людей. Что все ненавидят, он любит. Личико-то у нее хорошенькое. Ну, я ей так его разукрашу! Кровью распишу! Да будь она дочкой хоть самого дьявола, он все равно не успокоится, пока не овладеет ею. Только ничего у него не выйдет!

Она вскинула руки над головой и дико расхохоталась. Я содрогнулся. И подумал о темных силах, которые таятся в человеческом сердце. Слава Богу, что мне самому они ведомы не больше, чем какому-нибудь младенцу.

Наконец мы добрались до горы Гальгенберг, на которой стоит хижина палача, вскарабкались вверх по склону и очутились прямо у порога.

— Вот здесь она живет, — сказала смуглая девушка, указывая на хижину, в окнах которой мерцал желтый свет свечи. — Ступай, предупреди ее. Палач хворает и не сможет защитить свою дочь, даже если бы осмелился. Ты лучше уведи ее отсюда в Альпфельд на горе Гелль, там у моего отца есть домик. Им не придет в голову там ее искать.

С этими словами она меня оставила и скрылась во тьме.

13

Я заглянул в окно хижины и увидел старого палача, сидящего в кресле, и его дочь, которая стояла рядом, положив ладонь ему на плечо. Мне слышно было, как он кашляет и стонет, и она, видно, старалась утешить его в страдании. Целый мир любви и сочувствия жил в ее лице, и оно было еще прекраснее, чем когда-либо прежде.

Не укрылись от моего взгляда и чистота и порядок в комнате. На убогой лачуге словно покоилось благословение Божие. И этих безвинных людей все сторонятся как проклятых и ненавидят пуще смертного греха! Меня особенно порадовал образ Святой Девы на стене напротив окошка. Рамку украшали полевые цветы, к покрову Матери Божией были приколоты эдельвейсы.

Я постучался у двери, говоря при этом:

— Не бойтесь, это я, брат Амброзий.

Мне показалось, что при звуках моего голоса и моего имени лицо Бенедикты осветила внезапная радость, но, возможно, это было всего лишь удивление — да уберегут меня Святые Отцы от греха гордыни. Бенедикта подошла к порогу и открыла дверь.

— Бенедикта, — проговорил я, впопыхах ответив на ее приветствие, — сюда идут парни, пьяные и буйные, они хотят увести тебя на танцы. С ними Рохус, он сказал, что заставит тебя плясать в паре с ним. Я поспешил сюда, опередив их, чтобы помочь тебе спастись бегством.

При имени Рохуса щеки ее залил алый румянец, и все ее личико вспыхнуло. Увы, я убедился в правоте моей ревнивой проводницы: действительно, ни одна девушка не в силах противостоять такому красавцу, даже это набожное и невинное дитя. Отец ее, уразумев, о чем я говорю, встал с кресла и раскинул немощные руки, словно бы ограждая ее от зла, но я знал, что как ни тверд его дух, телом он бессилен. Я сказал ему:

— Позволь мне увести ее; парни, которые идут сюда, пьяны и способны на все. Твое противодействие только раззадорит их, и они могут причинить вред вам обоим. Вон, вон, взгляните! Уже мелькают их факелы. И слышен их громкий гогот! Поторопись же, Бенедикта, скорее! Скорее!

Бенедикта бросилась к плачущему старику-отцу и нежно обняла его. А затем, покрыв поцелуями мне руки, выбежала вон и скрылась в ночи, приведя меня в глубокое недоумение. Несколько минут я еще стоял на пороге, ожидая, что она вернется, но потом возвратился в хижину, решившись защищать ее отца от разбушевавшейся толпы, которая, как я полагал, непременно вздумает сорвать на нем досаду.

Но они так и не появились. Я ждал, прислушивался — напрасно. Вдруг — взрыв радостных возгласов. Я задрожал и прочел молитву Святому нашему Патрону. Однако гомон понемногу смолк в отдалении, и я понял, что они повернули назад под гору на поляну, где полыхают костры. Мы со стариком обменялись словами о чуде, заставившем их переменить намерение, и возблагодарили Господа. Я пошел обратно той же дорогой, что шел сюда. Вот и поляна. Шум оттуда доносился еще оглушительнее и бешенее прежнего, за стволами деревьев светились новые высокие костры, мелькали тени пляшущих парней и нескольких девушек, растрепанных, с непокрытыми головами — волосы развеваются по плечам, одежда в беспорядке, движения неистовы. Они кружили в хороводах, вивась между костров, то чернея, то алея — в зависимости от того, как падал свет, ни дать ни взять демоны в преисподней, празднующие какую-нибудь нечестивую годовщину или новую муку для обреченных. И среди них, о Спаситель! в круге света, в самом центре, куда не заступали остальные, упоенно и самозабвенно плясали рука об руку Рохус и Бенедикта!

14

Святая Матерь Божья! Может ли что-нибудь быть плачевнее падения ангела? Я увидел — и понял, что, оставив отца и меня, Бенедикта по своей воле устремилась навстречу той самой судьбе, от которой я изо всех сил пытался ее спасти!

— Слюбилась с Рохусом, проклятая девка, — раздалось у меня над ухом. Я обернулся и увидел рослую смуглянку, которая послужила мне проводницей. Лицо ее искажала гримаса ненависти. — Зачем только я своими руками ее не убила! А ты, как же ты допустил ее сыграть с нами обоими такую штуку, глупый ты монах?

Я оттолкнул ее и, забыв себя, побежал к пляшущей паре. Но что я мог сделать? Не успел я приблизиться, как пьяные весельчаки, словно назло мне, но в действительности просто не замечая моего присутствия, обступили их кольцом и стали одобрительно гикать и в такт хлопать в ладоши.



А те плясали, и нельзя было отвести от них глаз. Он, высокий, стройный и гибкий, был подобен языческому богу греков; а Бенедикта походила на маленькую фею. Ее тонкая летучая извивающаяся фигурка металась среди дымов по поляне, словно укрытая кисейным золотисто-багровым покрывалом. Глаза стыдливо опущены, движения быстры, но легки и грациозны, а щеки горят румянцем. Кажется, все ее существо вовлечено в пляску. Бедное, милое, заблудшее дитя! Я готов был заплакать, глядя на нее. Но надо ли судить ее так строго? Жизнь ее бедна и безрадостна, удивительно ли, что она с таким упованием отдается танцу? Небеса да благословят ее! А вот Рохус — это другое дело, прости его Господь.

Я наблюдал за происходящим и размышлял над тем, как велит мне долг поступить, а ревнивая девица — ее звали Амула — стояла рядом, шипела от злости и изрыгала святотатственные проклятия. Когда зрители хлопали в ладоши, одобряя пляску Бенедикты, она норовила прорваться к пляшущим, чтобы задушить ее своими руками, я с трудом удерживал ее, а сам выступил вперед и позвал:

— Бенедикта!

Бенедикта вздрогнула при звуке моего голоса, еще ниже потупилась, но не прервала пляски. Тут Амула, совсем ошалев от ярости, с воплем бросилась к нему, стараясь прорваться в круг. Пьяные парни не давали ей дороги, дразнили ее и потешались, а она еще больше бесилась и рвалась к своей жертве. С гоготом, проклятиями и смехом ее отогнали прочь. Святой Франциск, моли Бога за нас! Я прочел жгучую ненависть в глазах Амулы, и холод пробежал у меня по спине. Бог свидетель, эта фурия способна растерзать бедное дитя, да еще будет похваляться своим поступком!

Мне уже давно пора было домой. Но я не уходил. Я опасался того, что может произойти, когда окончатся танцы, я слышал, что после танцев каждый парень провожает подругу домой, и меня ужасала мысль о том, как Рохус и Бенедикта останутся наедине среди ночного леса.

Каково же было мое изумление, когда Бенедикта вдруг подняла голову, остановилась и, ласково глядя на Рохуса, промолвила нежным, как серебряный колокольчик, голосом:

— Благодарю вас, господин мой, за то, что вы столь любезно избрали меня своей дамой в танце.

Поклонившись сыну зальцмейстера, она выскользнула из круга и, не успев еще никто опомниться, скрылась под черными сводами леса. Рохус сначала посмотрел перед собой растерянно и недоуменно, но потом, поняв, что Бенедикта сбежала, пришел в бешенство. Он кричал: «Бенедикта!» Он называл ее нежными именами. Но бесполезно — она исчезла. Тогда он бросился было вдогонку, собирался с факелами обшарить лес. Приятели его отговорили. Тут, заметив меня среди присутствующих, он обрушил гнев на меня; я думаю, если бы осмелился, он бы меня ударил.

— Ну, ты у меня еще поплатишься за это! — кричал он. — Жалкий рясоносец!

Но я его не боюсь. Хвала Богу! Бенедикта невинна, я могу относиться к ней с прежним почтением. Но страшно подумать, сколько опасностей ее подстерегает. Она беззащитна и перед злобой Амулы, и перед похотью Рохуса. О, если бы я мог постоянно находиться при ней, сторожить и защищать ее! Но я поручаю ее Тебе, Господи: не напрасно же уповает на Тебя бедная сиротка.

15

Увы! Злосчастный мой жребий! Я снова понес наказание и снова не знаю, в чем моя вина.

Амула стала распускать слухи про Бенедикту и Рохуса. Смуглянка переходила от дома к дому и рассказывала людям, что будто бы Рохус ходил за своей дамой к виселице. И что будто бы Бенедикта держалась с пьяными парнями самым бесстыдным образом. Когда об этом говорили со мной, я опровергал лживые рассказы, полагая своим долгом уведомлять людей о том, как все было на самом деле.

Но своими разъяснениями, противореча той, которая нарушила Девятую Заповедь о лжесвидетельстве против ближнего, я почему-то оскорбил настоятеля. Он призвал меня к себе и укорил в том, что заступаюсь за дочь палача вопреки показаниям честной христианки. Я кротко спросил, как же мне следовало поступить: не позволять же, чтобы возводилась клевета на ту, что невинна и беззащитна?

— А какое тебе дело, — был я спрошен, — до дочери палача? К тому же известно, что она пошла с пьяными парнями по своей доброй воле.

На что я ответил:

— Она пошла с ними из любви к своему отцу, ведь если бы они не обнаружили ее в хижине, они бы сорвали пьяную злобу на старике, а она любит своего родителя, больного и немощного. Так все это было на самом деле, и я так и свидетельствовал.

Но его преподобие все равно осудил меня и назначил суровую епитимью. Я принял наказание всей душой, радуясь, что страдаю за милое дитя. И не ропщу против преподобного настоятеля, ведь он — мой господин и восставать против него, даже в помыслах, — грех. Разве послушание — не первейшая заповедь, данная Святым нашим Патроном ученикам его? О, как я нетерпеливо жду рукоположения и святого помазания! Тогда обрету я душевный покой и смогу лучше, самоотверженнее служить Небу.

Я озабочен мыслями о Бенедикте. Не будь я заточен в келью, отправился бы на Гальгенберг и, быть может, встретил ее. Я горюю по ней, будто она сестра мне.

Я принадлежу Господу и не вправе любить никого, кроме Него, отдавшего жизнь на кресте во искупление наших грехов; всякая прочая любовь — зло. О святые силы небесные! Что если это чувство, которое я принимаю как знак предназначения, как указание свыше, что я должен спасти душу Бенедикты, а вдруг на самом деле это — земная любовь? Молись за меня, о милый Франциск, и даруй мне свет, дабы я не ступил на ту дорогу, что ведет в ад. Свет и силу, о возлюбленный Святой, чтобы мне видеть верный путь и не сойти с него никогда!

16

Я стою у окна моей кельи. Солнце садится, и на той стороне ущелья все выше взбираются по склону вечерние тени. Ущелье наполняет туман, он колышется, точно поверхность глубокого озера. Я думаю о том, как Бенедикта не побоялась взобраться по этому страшному обрыву, чтобы бросить мне эдельвейсы. Я прислушиваюсь, не прошуршат ли камешки из-под ее отчаянных ножек, скатываясь в зияющую пропасть. Но проходит ночь за ночью. Мне слышно, как стонет в соснах ветер; как ревет водопад под горой; как поет вдалеке соловей. Но ее голос не раздастся.

Каждый вечер туман поднимается из ущелья. Плышет волнами, вихрится кругами, расплзается клочьями, а они всходят к небу, разрастаясь и темнея, и превращаются в тучи. Тучами укрываются горы и долины, могучие сосны и снежные пики. И гаснут последние отблески дня на ледниках, уступая землю ночи. Увы, в душе моей тоже ночь — непроглядная, беззвездная, безрасветная.

Сегодня воскресенье. Бенедикты в церкви не было, «темный угол» остался пуст. Я не мог сосредоточиться на службе и за этот грех с охотой подвергну себя дополнительной каре. Была Амула в толпе девушек, хотя Рохуса я не видел. Мне подумалось, что ее зоркие черные глаза — надежная охрана от соперниц, в ее ревности Бенедикта сможет найти защиту. По воле Бога самые низменные страсти могут служить благородной цели. Эта мысль дала мне утешение, но оно, увы, оказалось недолгим.

По окончании службы святые отцы и братья медлительной процессией потянулись из церкви через боковой придел, меж тем как прихожане выходили из главного портала. С длинной крытой галереи видна вся центральная деревянная площадь. И как раз когда по галерее вслед за святыми отцами проходили мы, монахи, я оказался свидетелем того, что до самого смертного часа буду считать несправедным делом, которое Небеса допустили, мне неведомо для какой цели. Должно быть, святые отцы знали о том, что готовится: они замедлили ход, чтобы мы успели увидеть с галереи свершающееся на площади.

Стали слышны какие-то возгласы. Постепенно шум приближался, рев толпы был подобен визгу чертей в преисподней. Я шел у стены и не видел площади перед церковью, поэтому я спросил одного брата, шедшего с краю, в чем там дело.

— Ведут женщину к позорному столбу, — ответил он.

— Кто она?

— Какая-то молоденькая.

— За что ее?

— Не задавай глупых вопросов. Для чего предназначены позорные столбы, как не для бичевания падших женщин?

Завывающая толпа прошла дальше, и мне открылась середина площади. На переднем плане скакали, кривлялись и распевали непристойные песни деревенские мальчишки. Они словно обезумели от веселья и утратили облик человеческий, наблюдая позор и страдания ближнего. Но и девы от них не отставали.

— Тьфу на нее, недостойную! — кричали они. — Смотрите все, что значит быть грешницей! Мы-то, слава Богу, добродетельные.

А позади беснующихся мальчишек, в кольце бранящихся женщин и девушек — О Господи! Как напишу я это! Как передам весь ужас такого зрелища? — Среди беснования — она, прелестная, милая, чистая Бенедикта!

О Спаситель мой! Как могло стать, что я жив после того, что видел, и теперь веду рассказ? Я был близок к смерти. Галерея, площадь, люди — все закружилось; пол ушел из-под ног; и как ни старался я держать глаза открытыми, наступила тьма. Но должно быть, лишь на мгновение; я пришел в себя и, взглянув на площадь, снова увидел ее.

Ее одели в длинный серый балахон, перепоясанный веревкой. Голову обвили соломенным венцом, а на шнурке вокруг ее шеи, спускаясь на грудь, висела черная доска с надписью мелом: «Шлюха».

Ее вел на веревке какой-то мужчина. Я пригляделся: о, всеблагий Сын Божий, пришедший спасти подобных скотов и зверей! Это был ее отец! Бедного старика заставили во исполнение должности вести к позорному столбу родное дитя! Потом я узнал, что он на коленях молил настоятеля не возлагать на него столь ужасную обязанность, но — тщетно.

Никогда не забыть мне этого зрелища. Палач не отводил взгляда от дочернего лица, а она то и дело улыбалась отцу и кивала. Силы Небесные, дитя улыбалось!

А толпа поносила ее, обзывала черными словами и плевала ей под ноги. Мало того, видя, что она не обращает на них внимания, они стали швырять в нее травой и грязью. Этого несчастный отец уже не смог перенести и с тихим, невнятным стоном рухнул на землю без памяти.

О, безжалостные скоты! Они хотели было поднять его на ноги, чтобы он довершил свое дело, но тут Бенедикта умоляюще протянула руку, и на пре-

лестном ее лице выразилось столько несказанной нежности, что даже грубая толпа подчинилась ей и отпрянула от лежащего на земле старика. Бенедикта опустила рядом, положила его голову себе на колени. Шептала ему на ухо слова утешения и любви. Гладила его седые волосы, целовала бледные губы, покуда он не очнулся и открыл глаза. Бенедикта, трижды благословенная Бенедикта, уж конечно ты рождена для святости, ведь ты выказала то же божественное долготерпение, что и Спаситель наш, когда нес крест Свой и с ним — все грехи этого мира!

Она помогла отцу подняться, улыбкой подбадривая его, качающегося на слабых ногах. Отряхнула пыль с его одежды и, не переставая улыбаться и бормотать слова поддержки, протянула ему конец веревки. Под гогот и песни мальчишек, под проклятия женщин несчастный старик повел свое невинное дитя к месту публичного позора.

17

Снова очутившись в своей келье, я бросился на голые камни пола и возопил ко Господу против несправедливости и мучения, свидетелем коих был, и против еще горшей муки, от зрелища которой был избавлен. Мысленно я видел, как старый отец привязывает дочь к позорному столбу. Как пляшет вокруг грубая публика в зверином восторге. Как плюет порочная Амула в чистое лицо. И я долго, сосредоточенно молился о том, чтобы бедной страдальце была дарована твердость в тяжком испытании.

А затем сел и принялся ждать. Я ждал, чтобы зашло солнце, так как, по обычаю, после солнечного захода жертву отвязывают. Минуты казались часами, часы — вечностями. Солнце не двигалось; дню стыда было отказано в ночи.

Напрасны остались все мои старания понять. Я был потрясен, ошарашен. Почему Рохус допустил, чтобы Бенедикту подвергли такому издевательству? Или он думает, что, чем сильнее она будет опозорена, тем станет для него доступнее? Не знаю, да и не стремлюсь разобраться в его побуждениях. Но, Бог да поможет мне, ее позор я ощущаю всей душой...

Господи, Господи! Какой свет вдруг осенил мысли слуги Твоего! Подобно откровению с Неба, мне пришло понимание, что мое чувство к Бенедикте на самом деле и больше и меньше, чем я до сих пор думал. Оно — земная любовь, любовь мужчины к женщине. Едва я осознал это, как дыхание мое участилось, стало трудным, мне показалось, что я задыхаюсь. Но так задеревенело сердце у меня в груди от зрелища ужасной несправедливости при попустительстве Небес, что я даже не вполне раскаялся. Открытие ослепило меня, и мне плохо были видны размеры моего греха. Душевное волнение не было лишено приятности; я вынужден был признаться себе, что не уклонился бы от него, даже

если бы понимал, насколько оно дурно. Да заступится за меня милосердная Матерь Божия!

Даже теперь я не могу поверить, что, полагая себя поставленным Небесами спасти душу Бенедикты и тем подготовить ее к святой жизни, я полностью заблуждался. А другое, земное, желание — может быть, и оно от Бога? Разве оно — не ради блага той, на кого устремлено? А какое благо выше спасения души? — и святой жизни на земле? — и вечного блаженства на Небе в награду?

Так ли уж разнятся две любви, духовная и плотская, как меня приучили думать? Может быть, одна дополняет другую, и обе выражают одно. О, Святой Франциск, среди этого света, излившегося вокруг меня, молю, направь мои шаги. Укажи моему ослепленному взору прямую, верную дорогу ко благу Бенедикты!

Но вот, наконец, солнце скрылось позади монастыря. На горизонте собрались облачка, из ущелья поднялся туман, и по ту сторону, по склону огромной горы поползли кверху лиловые тени и погасили последний солнечный отблеск на снежной вершине. Слава, о слава Тебе, Боже, она свободна!

18

Я был очень тяжело болен, но доброй заботой братии уже довольно окреп и могу покинуть мое ложе. Видно, уж такова воля Господа, чтобы я остался жить и служить Ему, ведь я вовсе недостоин этого выздоровления. И я всей душой стремлюсь посвятить без остатка мою бедную жизнь Богу. Прильнуть к Нему, утонуть в Его любви — об этом одном теперь все мои помыслы. Лишь только помажут священным елеем мое чело, так, уповаю я, и будет, и я, очистившийся от безнадежной земной страсти к Бенедикте, поднимусь к новой, духовной жизни. Может быть, тогда я смогу, не оскорбляя Неба и не хуля свою душу, лучше стеречь и оберегать Бенедикту, чем теперь, когда я ничтожный монах.

Я совсем ослаб. Ноги мои, бессильные, как у младенца, подогнулись под тяжестью тела. Братья вынесли меня в сад. С какой же благодарностью я вновь увидел над собой синее небо! Как восторженно любовался белыми пиками гор и темными лесами на их склонах! Каждая отдельная травинка привлекала мой взгляд, каждую букашку я приветствовал как давнюю знакомую.

Глаза мои обратились на юг, где находится гора Гальгенберг, мысли о бедной дочери палача неотступно со мной. Что с нею случилось? Выжила ли она после того ужаса на деревенской площади? Что подельывает? Будь только у меня силы отправиться на Гальгенберг! Но мне запрещено покидать стены монастыря, и нет здесь никого, у кого я бы осмелился справиться о ее судьбе. Монахи смотрят на меня странно, будто не считают меня своим братом. С чего бы? Я их люблю и стремлюсь жить с ними в согласии. Они добры и внимательны, но как будто бы избегают меня. Что это все означает?

Меня призвал к себе наш преподобнейший настоятель отец Андреас.

— Твое выздоровление было чудом, — сказал он мне. — Я хочу, чтобы ты был достоин этой милости Божией и мог подготовить свою душу к ожидающей тебя великой благодати. Потому, сын мой, я распорядился, чтобы ты оставил нас на время и пожил в одиночестве среди гор, это будет способствовать укреплению твоего здоровья и одновременно поможет тебе поглубже заглянуть в свою душу. Там, вдали от посторонних забот, взглядишь в нее попристальнее, и я верю, ты поймешь, сколь велика твоя ошибка. Моли Бога, чтобы небесный свет излился на твою дорогу, дабы ты мог идти по ней твердым шагом слуги и проповедника Господня, недоступного низменным страстям и земным желаниям.

У меня не достало дерзости отвечать. Без малейшего ропота подчиняюсь я воле его преподобия, ибо послушание — правило нашего ордена. И жизнь в безлюдной местности меня не страшит, хоть я и слышал, что там водятся дикие звери и злые духи. Настоятель прав: жизнь в одиночестве будет для меня временем испытания, очищения и выздоровления, столь для меня необходимых. До сих пор я продвинулся только в грехе; на исповеди я о многом умолчал. Не из страха перед наказанием, а потому, что не могу произнести некоего женского имени ни перед кем, кроме святого и благословенного Франциска, который один только меня понимает. Он ласково глядит на меня с неба, слышит мою беду, и если и есть что-то греховное в моем сочувствии невинному гонимому дитяти, прощает мне ради Искупителя нашего, Который тоже страдал от несправедливости и знал горе.

На горах мне поручено выкапывать некие корешки и отсылать в монастырь. Из этих корешков святые отцы гонят напиток, слава о котором разошлась во всему краю и даже достигла, как я слышал, великого города Мюнхена. Он так крепок и прян, что кто сделает один глоток, у того горло горит, будто хлебнул адского пламени, однако же ценится повсеместно за целебные свойства, хорошо помогая от многих болезней и недомоганий; и душу он, говорят, тоже исцеляет, впрочем, я полагаю, что где не достать этого напитка, того же результата можно добиться просто праведной жизнью. Но как бы то ни было, продажа напитка составляет основной источник монастырских доходов.

Корень, из которого его изготавливают, принадлежит альпийскому растению, называемому желтой горечавкой; оно растет на склонах гор в больших количествах. В июле и августе монахи выкапывают его, сушат у огня в каменных хижинах, а потом набивают мешки и отсылают в монастырь. Монахам принадлежит исключительное право добычи этого корня, и рецепт изготовления питья тщательно оберегается.

Поскольку теперь мне предстоит какое-то время жить на горах, настоятель велел мне понемногу, насколько позволят силы, заняться добычей корня. К месту моего отшельничества меня проводит мальчик, монастырский

служба, он донесет мою провизию и сразу же отправится назад. Впоследствии мальчик будет приходить раз в неделю, доставлять мне пищу и уносить заготовленный корень.

С моим отправлением к месту ссылки не стали медлить. Нынче вечером я поклонился настоятелю и, вернувшись в свою келью, уложил в мешок святые книги — молитвенник и житие Святого Франциска, не забыл также перья и бумагу, чтобы продолжать мой дневник. Завершив приготовления, я подкрепил душу молитвой и теперь готов ко всему, что ни уготовила мне судьба, даже к встрече с дикими зверями и демонами.

Возлюбленный Святой, прости мне боль, которую я испытываю, оттого что должен покинуть эти места, не повидав Бенедикту и даже не зная, что с ней случилось после того ужасного дня! Ты ведаешь, о славный, да и я признаюсь покорно, как я был бы рад, если бы мог побежать на Гальгенберг и бросить хотя бы один взгляд на избушку, где живет лучшая и прекраснейшая из всех своих сестер! Не суди меня слишком сурово, молю тебя, за слабость моего заблудшего грешного сердца.

20

Когда я со своим юным проводником покидал монастырь, все было спокойно в его стенах; святая братия спала мирным сном, которого я уже давно лишился. Только-только зажглась заря, и, начиная подъем, мы видели, как кромки облаков на небе с восточной стороны разгорались золотым и алым. Проводник мой, с мешком на плече, шагал впереди, я следовал за ним, отвернув назад полы своей рясы и помогая себе крепким посохом с острым железным наконечником — как раз будет кстати, если встретятся дикие звери.

Мой проводник был светловолосый голубоглазый подросток с веселым, приветливым лицом. Ему, как видно, в радость было карабкаться в родные выси, куда лежал наш путь. Тяжесть ноши он словно не чувствовал, а шагал себе легко и уверенно, твердо ставя ногу и взбегая по кручам и утесам, точно горный козлик.

Он возбужденно рассказывал мне на ходу разные необыкновенные истории про призраков и духов, ведьм и фей. Особенно близко он, кажется, знаком с феями. Они, по его словам, появляются в блестящих одеждах, светлые волосы распущены, за спиной — разноцветные крылья. Это описание близко соответствует тому, что написано о них в некоторых книгах святых отцов. Кто им приглянется, рассказывал мальчик, того они могут надолго зачаровать, и никому не под силу разрушить их чары, даже Святой Деве. Я же полагаю, что это верно только касательно пребывающих во грехе, а чистые сердцем не должны их опасаться.

Мы шли в гору и под гору, пересекая леса и цветущие поляны и преодолевая расщелины. По склонам струились говорливые горные потоки, торопясь в долины и бормоча на бегу о чудесных видах и дивных приключениях. Луга и рощи звенели разноголосым хором природы, гулко и шепотом, вздохами и распевами воссылая к небу хвалы Всевышнему. Порой наш путь лежал мимо горной хижины, где у порога резвились неумытые желтоволосые ребятишки. При появлении чужаков они убегали. А женщины, наоборот, выходили к нам навстречу с младенцами на руках и просили благословения. Нам предлагали молоко, масло, зеленый сыр, черный хлеб. Видели мы и мужчин, сидевших у входа, они занимались резьбой по дереву, мастерили большей частью фигурки Спасителя на кресте. Готовые, их отправляют в город Мюнхен и продают; я слышал, они приносят своим набожным создателям немалые суммы и много чести.

Потом мы вышли на берег озера, которое скрывал от взгляда густой туман. Отыскали привязанную утаю лодчонку; проводник велел мне войти в нее, и скоро мы уже скользили словно бы по небу среди клубящихся облаков. Я никогда прежде не плавал в лодке и боялся, как бы мы не перевернулись и не утонули. Было тихо-тихо, лишь журчала вода у бортов. То тут, то там в тумане вдруг проглядывало невдалеке что-то темное, но так же внезапно пропадало, и мы скользили дальше в таинственной пустоте. Но иногда туман на минуту расплзался, и тогда становились видны выступающие из воды черные скалы и лежащие под берегом полузатопленные древесные стволы с раскинутыми ветвями, похожие на огромные скелеты. Зловещая картина. Даже веселый паренек приумолк и настороженно вглядывался в млечную завесу, чтобы не наскочить на препятствие.

По всем этим признакам я понял, что мы переплываем ужасное озеро, где обитают демоны и привидения, и я поручил свою душу Богу. Господь могущественнее всякого зла. Не успел я дочитать молитву о спасении от духов тьмы, как вдруг завеса тумана разодралась, засияло солнце, подобное большому пламенному цветку, и мир оделся в золотые и пестрые цвета!

Пред ослепительным Божиим оком бежала тьма и растаяла без следа. Клочья густого тумана зацепились было за горные склоны, но быстро поредели и пропали, оставшись только в черных расщелинах. Озеро заблестало, точно жидкое серебро; горы стали золотыми, и на них будто огнем занялись сосновые леса. Сердце мое наполнилось изумлением и благодарностью.

Мы плыли потихоньку, и я рассмотрел, что озеро расположено в узкой продолговатой чаще. Справа высоко вздымались крутые утесы, лишь на самом верху поросшие лесом, слева же и впереди берег был равнинный и приветливый, и на нем стояло большое строение. То была обитель Святого Варфоломея, летняя резиденция преподобного Андреаса, нашего настоятеля.

Вокруг нее был цветущий сад, выходящий на озеро, а с трех других сторон стесненной скалами в тысячу футов высотой. И на этой отвесной стене, на высоком уступе, зеленел небольшой лужок, точно зеленый изумруд, приколотый к серому плащу горы. Мальчик указал наверх и объяснил, что это — един-

ственное место на всю округу, где растут эдельвейсы. Так вот где нарвала для меня прелестные цветы Бенедикта, когда я отбывал заключение в своей келье. Запрокинув голову, я разглядывал этот живописный, но страшный уступ, охваченный чувствами, которых не могу передать словами. Мальчик, снова повеселевший от улыбки природы, смеялся и пел, а у меня на глаза навернулись горячие слезы, заструились по щекам, и я спрятал лицо под капюшоном.

21

Выйдя из лодки, мы стали подыматься на гору. Милостивый Боже, все, что исходит из Твоей руки, имеет свое полезное предназначение, но к чему повел Ты эти горы и усыпал их в таком количестве камнями — для меня тайна, я не вижу от камней пользы ни для зверя, ни для человека.

Карабкались мы долго, несколько часов, покуда не вышли к источнику, и здесь я опустился на землю, обессиленный, задыхающийся, с натертыми ногами. Оглядевшись, я убедился в правдивости того, что слышал от людей про безлюдные высокогорные края. Вокруг, куда ни бросишь взгляд, одни только голые серые скалы в красных, желтых и бурых прожилках. Ни былинки не растет в россыпях мертвых камней, вниз уходят ужасные пропасти, наполненные льдами, и простираются кверху, чуть не соприкасаясь с небом, искристые, ослепительные снежинки.

Впрочем, я нашел среди камней несколько цветков. Как будто сам Создатель этой дикой и мрачной пустыни посмотрел на нее и ужаснулся, и набрав внизу, в долине, немного цветов, разбросал их на голых вершинах. И цветы эти, отобранные Божественной рукой, расцвели несравненной красотой небесной. Мальчик показал мне то растение, корни которого мне надлежит выкапывать, а заодно и кое-какие травы, полезные и целебные для человека, среди прочих — золотистую арнику.

Отдохнув час, мы продолжили путь и шли еще долго, так что я уже едва передвигал ноги. Наконец, очутились на пустынной прогалине, со всех сторон окруженной высокими черными скалами. Посреди прогалины стояла жалкая хижина, сложенная из диких камней, в боковой стене ее зияло низкое отверстие — вход. Вот, объяснил мне мальчик, отныне мое обиталище. Мы вошли, и сердце у меня сжалось. Внутри было пусто — только стояла широкая скамья, присыпанная сеном из альпийских трав, предназначенная служить мне ложем. В углу находился очаг, перед ним сложено несколько поленьев и горкой составлена простая кухонная утварь.

Проводник мой схватил котелок и убежал, а я, растянувшись на земле перед хужиной, принялся созерцать дикую и грозную природу этого места, где мне предстояло приготовить душу к принятию духовного сана. Вскоре воз-

вратился и он, неся котелок обеими руками, и приветствовал меня радостным возгласом, который отразился от окружающих скал тысячей разногласных бормотаний. Даже после краткого одиночества я был так рад снова увидеть человеческое лицо, что чуть было не отозвался на его возглас столь же неподобающим криком. Как же я смогу жить неделями один в этом безлюдье?

Мальчик поставил котелок передо мной на землю — он оказался полон молока. Потом достал из-за пазухи лепешку желтого масла, красиво облепленную альпийскими цветками, и белоснежный сыр, завернутый в ароматные травы.

Вид этот восхитил меня, и я спросил его в шутку:

— Так стало быть, масло и сыр произрастают здесь среди камней, и тебе посчастливилось найти источник, текущий молоком?

— Ты, может быть, и способен совершить такое чудо, — ответил мальчик, — а я просто спустился к Черному озеру и попросил для тебя пищи у молодых женщин, которые там живут.

Он достал муку из подобия кладовки при хижине, развел огонь в очаге и принялся месить тесто.

— Значит, мы не одни в этой пустыне? — спросил я. — Объясни мне, где находится озеро, на берегу которого живут такие щедрые люди?

— Черное озеро, — ответил он, щурясь от дыма, — вон за той вершиной, и на обрыве над ним стоит молочное хозяйство. Но место там дурное. Озеро такое глубокое, что доходит до самого ада, через трещины в скалах слышно гудение и треск пламени и вопли грешных душ. А уж свирепых злых духов там такое множество, как нигде в целом свете. Смотри, остерегись. При всей твоей святости, как бы тебя там не прихватили хвори: за молоком, маслом и сыром можно ходить и к Зеленому озеру, дальше вниз. Но я скажу этим женщинам, чтобы присылали тебе провизию сюда, они будут рады услужить; а если ты еще по воскресеньям согласишься читать у них проповедь, они за тебя даже самому черту глаза вырвут.

Как только мы поели — а я в жизни не пробовал пищи вкуснее, — мальчик бросился на землю и тут же на солнцепеке уснул, подняв такой жизнерадостный храп, что я при всем желании долго не мог последовать его примеру.

Я проснулся. Солнце уже спряталось за пиками окружающих гор. Сначала мне показалось, будто это все еще сон, но скоро я очнулся и осознал всю безмерность моего одиночества, когда услышал в отдалении бодрые возгласы уходящего мальчика. Он, как видно, пожалел меня будить и отправился в обратный путь, не попрощавшись, так как ему было важно спуститься к Зеленому озеру до наступления темноты.

Я вошел в хижину. Там всюду полыхал огонь в очаге, и рядом были сложены заготовленные дрова. Юный служка позаботился и о моем ужине, выставив к огню молока и хлеба. А также взбил солому на жесткой скамье и постелил сверху кусок шерстяной ткани, за что я ему очень благодарен.

Освеженный продолжительным сном, я допоздна задержался снаружи у входа в хижину. Прочитал молитвы, обратясь лицом к серым скалам под ночным небом, где на черном бархате весело мерцали звездочки. Здесь, наверху, они куда ярче, чем в долине, кажется, встань на самую высокую вершину, протяни руку — достанешь.

Под этим ночным небом, изолоченным звездами, я провел большую часть ночи, заглядывая в свое сердце и прислушиваясь к своей совести, как будто я в церкви стою коленопреклоненный пред алтарем и чую ужасное присутствие Господа. Наконец душа моя наполнилась божественным покоем, и как прижимается дитя к материнской груди, так и я преклонил голову к твоей груди, о Природа, наша всеобщая мать!

23

Никогда еще я не видел такого великолепного рассвета! Горные пики зарделись румянцем и словно просвечивали насквозь. Воздух, серебристо-прозрачный, был так свеж и чист, что казалось, с каждым глотком его вдыхаешь новую жизнь. Тяжелые, белые капли влаги, как после дождя, висели на редких травинках и стекали с каменных граней.

В то время как я читал утренние молитвы, довелось мне волей-неволей познакомиться с моими соседями. В продолжение всей ночи, мешая спать, громко верещали сурки, теперь же, при свете дня, они скакали вокруг, точно зайцы. Над головой кружили коричневые коршуны, приглядываясь к порхающим в кустах пташкам и к лесным мышам, шныряющим между камнями. По временам неподалеку проносились стайкой легконогие серны, спешащие на травянистые уступы над пропастями, а в вышине надо всеми парил одинокий орел, возносясь все выше и выше в небо, как душа, очистившаяся от греха.

Я еще не встал с колен, когда тишину прорезали голоса. Огляделся — нигде никого, хотя я отчетливо слышал ауканье и обрывки песен. Они словно бы доносились изнутри горы, и я, вспомнив про обитающих здесь злых духов, вновь сотворил молитву против нечистой силы и стал ждать, что будет дальше.

Вот снова раздалось пение, оно исходило из глубокого ущелья. А вскоре я увидел поднимающиеся из этого ущелья три женские фигуры. Заметив меня, женщины перестали петь и пронзительно завизжали. По этому признаку я определил в них дочерей земли и, возможно, из христианского племени и стал дожидаться их приближения.

Они оказались рослыми, пригожими девушками, смутлолицыми, пышноволосями, с черными, как уголья, глазами. На головах они несли корзины. Приблизившись ко мне, они поставили свои ноши на землю, низко поклонились, поцеловали мне руку, а затем открыли корзины и показали свои приношения — молоко, сливки, сыр, масло и пироги.

Усевшись на землю, они рассказали мне, что живут у Зеленого озера и очень рады, что в здешних местах опять, поселился «горный брат», да еще такой молодой и красивый. При этих речах в черных их глазах сверкали веселые искорки и на алых губах играли улыбки, что пришлось мне очень по сердцу.

Я спросил, не страшно ли им жить в этом диком крае, но они только рассмеялись, обнажив белоснежные зубы. У них есть дома охотничье ружье, чтобы отпугивать медведей, сказали они. И они знают разные заговоры и молитвы от демонов. Да они и не всегда тут в одиночестве, объяснили девушки, ведь по субботам сюда поднимаются парни из долины, они охотятся на зверей, а потом бывают танцы. От девушек я узнал, что высокогорные луга и хижины среди камней, где живут в летнюю пору пастухи и пастушки, находятся в общем владении. Самые же хорошие земли, сказали они, принадлежат монастырю, и до них тоже недалеко.

Приятная болтовня девушек развеселила меня, одиночество уже не казалось мне таким гнетущим. Получив благословение и поцеловав мне руку, они ушли тем же путем, каким пришли, смеясь, переключаясь и распевая песни от избытка молодости и здоровья. Я уже успел заметить, что люди в горах живут праведнее и счастливее, чем обитатели сырых и глубоких долин. Они чище помыслами и сердцем, — потому наверно, что обитают у самого Неба, которое здесь, как я слышал от святых братьев, гораздо ближе к земле, чем еще где-либо, кроме Рима.

24

Девушки ушли, а я убрал принесенную ими провизию и, прихватив мешок и короткую узкую лопату, отправился искать корень горечавки. Оказалось, что она растет здесь в большом изобилии, у меня вскоре заболела спина, столько приходилось ее гнуть и напрягать, откапывая корни. Но я не бросал работы, мне хотелось отослать в монастырь как можно больше, чтобы там видели мое послушание и усердие. Я и не заметил, как отошел от хижины довольно далеко, сам не зная, в какую сторону, и вдруг увидел перед собой такую ужасную, такую глубокую пропасть, что вскрикнул от страха и отпрянул назад. На дне пропасти, так далеко, что голова кружилась заглядывать, блестело небольшое круглое озерко, точно недобрый вражий глаз. А на берегу его — избушка, кровля придавлена камнями, над ней вьется жидкий голубой дымок.

Вокруг на узком, бедном лугу щиплют худосочную травку несколько коров и овец. Какое мрачное человеческое обиталище!

Я со страхом смотрел вниз, и вдруг испытал еще одно потрясение: я услышал отчетливо названное имя. Голос прозвучал позади меня, и имя было произнесено так ласково, так мелодично, что я поспешил осенить себя крестом, вспомнив про коварных фей и их колдовские чары. Потом голос раздался снова, и я чуть не задохнулся, так бешено заколотилось мое сердце; то был голос Бенедикты! Бенедикта в этой пустыне, и я наедине с нею! Воистину в тот миг я, как никогда, нуждался в твоём наставлении, Святой Франциск, дабы стопы мои не сошли с пути, предначертанного Божественным промыслом.

Я обернулся. И увидел ее. Она шла, перепрыгивая с камня на камень и оглядываясь через плечо, звала кого-то незнакомым мне именем. Когда я посмотрел на нее, она замерла на месте. Я подошел, поздоровался во имя Святой Девы, хотя сам, да простит мне Бог! едва выговорил Божественный титул, так велико было во мне смятение чувств.

Ах, как она переменилась, бедное дитя! Прелестное лицо стало бледнее мрамора; огромные глаза ввалились, исполненные невыразимой печалью. Одни только прекрасные волосы по-прежнему ниспадали золотыми нитями ей на плечи. Мы стояли с нею лицом к лицу, не в силах от неожиданности вымолвить ни слова. Наконец, я сказал:

— Так значит, ты, Бенедикта, живешь в той избушке у Черного озера — над самыми водами подземного царства?

Она не ответила, но нежные ее губы дрогнули, как у малого ребенка, когда он старается удержаться от слез. Я спросил еще:

— А отец твой — с тобой?

Она ответила еле слышно — не речь, а тихий вздох:

— Мой отец умер.

Мне как иглой пронзило сердце. Переполненный жалостью, я молчал. Бенедикта отвортила личико, пряча слезы, ее хрупкие плечи сотрясло рыдание. Я больше не владел собой — я шагнул к ней, взял ее за руку и, стараясь спрятать глубоко в сердце свои человеческие чувства, обратился к ней со словами религиозного утешения:

— Дитя мое — милая Бенедикта, твой отец покинул тебя, но с тобой остался другой Отец, который станет хранить тебя изо дня в день всю жизнь. И я тоже, если будет на то Божья воля, о прекрасная и добродетельная дева, постараюсь быть тебе опорой в твоей великой нужде. Тот, кого ты оплакиваешь, не погиб; он отправился к трону милосердного Господа, который примет его с любовью.

Но мои слова только разбудили ее задремавшее горе. Она упала на землю и дала волю слезам, рыдая так громко, что растревожила мне душу. О Матерь Божья, Заступница! Я и сейчас не в силах спокойно вспоминать, какую муку я испытал, видя столь сильное горе этого прекрасного невинного создания.

Я склонился над нею, мои слезы упали на ее золотистую головку. Сердце побуждало меня поднять ее с земли, но руки висели бессильно и неподвижно. Наконец, она немного овладела собой и заговорила, но так тихо, будто обращалась не ко мне, а к себе самой:

— О, отец мой, мой бедный страдалец-отец! Да, его уже нет — его убили — он умер от горя. Моя красивая мать тоже умерла от горя — от горя и раскаяния в каком-то грехе, не знаю каком, а ведь он простил ее. Разве он мог иначе, такой жалостливый, такой добрый? С таким чувствительным, как у него, сердцем червяка не раздавишь, а его заставляли убивать людей. Его отец, а до того — отец его отца жили и умерли в Гальгенберге. И все они были палачами. Это страшное наследство досталось ему, он ничего не мог поделать, жестокие люди не отпускали его. Я слышала от него, что он не раз задумывался о самоубийстве, и если бы не я, его, я уверена, уже давно бы не было в живых. Он не мог оставить меня одну, обреченную погибнуть от голода, но принужден был видеть, как меня поносят, а под конец, о Святая Дева! подвергают публичному позору за то, в чем я неповинна.

При упоминании о пережитой ею страшной несправедливости бледные щеки Бенедикты зарделись от стыда, который в тот страшный день ей, ради отца, удалось скрыть.

Рассказывая мне об отце, она понемногу приподнялась с земли и с доверием обратила ко мне прекрасное лицо, но с последним восклицанием спрятала его под завесой волос и хотела уже было совсем отвернуться, но я ласково успокоил ее несколькими благочестивыми словами, хотя, видит Бог, у самого меня сердце так и разрывалось от сострадания. Помолчав, она вновь заговорила:

— Увы, мой бедный отец! Он был несчастлив во всем. Крестить родное дитя — даже этой радости он был лишен. Я дочь палача, моим родителям не дозволялось поднести своего ребенка к крестильной купели. И священника такого не сыскалось, который согласился бы благословить меня во имя Святой Троицы. Поэтому отец с матерью нарекли меня Бенедиктой. Бенедикта значит по латыни «Благословенная» и они благословляли меня сами по многу раз на дню.

Моя красавица-мать умерла, когда я была еще совсем маленькой. Ее похоронили вне кладбищенской ограды. Она не могла попасть в горние чертоги к Небесному Отцу, ее удел — пламя преисподней. Пока она лежала на смертном одре, отец бросился к преподобному настоятелю, заклиная его прислать священника со святыми дарами. Но ему в этом было отказано. Священник не пришел, и бедный отец своей рукой закрыл ей глаза, сам ослепленный потоками слез от мысли об ожидающих ее адских муках.

Один он и могилу выкопал. В его распоряжении был только участок близ виселицы, где ему не раз случалось закапывать проклятых и казненных. И он своими руками положил ее в эту нечистую землю, и даже заупокойная молитва не была прочитана по ее страдальческой душе.

Мне ли не помнить, как мой добрый отец подвел меня к образу Святой Девы, велел встать на колени, соединил мои ладошки и научил молиться за бедную маму, за которую некому заступиться перед грозным Судией мертвых. И я молилась за нее с той поры каждое утро и каждый вечер, а теперь молюсь за них обоих; ибо отец тоже умер, не получив отпущения, и душа его не у Бога, а горит в вечном пламени.

Когда он умирал, я побежала к настоятелю, как он бегал для моей матери. Я молила на коленях. Умоляла, плакала, обнимала его стопы, хотела руку ему поцеловать, да он отдернул. И велел мне уйти.

Рассказывая, Бенедикта постепенно смелела. Она встала, распрямила спину и, запрокинув свою прекрасную голову, обращала горестную повесть пережитых обид прямо к небу, ангелам Божьим и святым апостолам. Она с такой непринужденной силой и грацией выбрасывала перед собой обнаженные руки, что я не переставал удивляться, и слова, слетавшие с ее губ, были исполнены безыскусного красноречия, которого я за ней никак не подозревал. Не осмелюсь утверждать, что она была вдохновлена свыше, ибо, помилуй нас Господи, каждое ее слово было неосознанным упреком Ему и Его Святой Церкви; но уж, конечно, смертные, чьих уст не коснулся тлеющий уголь с Его алтаря, не способны так говорить! Рядом с этим удивительным, одаренным созданием я особенно наглядно ощутил собственное ничтожество и готов уже был, как перед святой, преклонить перед нею колени, но она вдруг закончила речь с таким чувством, что исторгла у меня слезы из глаз.

— Жестокие люди убили его, — произнесла она с дрожью рыдания в каждом слове. — Они схватили меня, которую он так любил. Обвинили меня облыжно в постыдном преступлении. Надели на меня одежды бесчестия и водрузили на голову соломенную корону, а на грудь повесили черную доску с поносными словами. Они оплевывали меня и забрасывали грязью и принудили его подвести меня к позорному столбу, где я стояла, привязанная и побиваемая бичами и камнями. Этого не смогло выдержать его доброе, благородное сердце и разорвалось. Он умер, и я осталась одна на свете.

Бенедикта кончила говорить, а я стоял и молчал, ибо что может сказать человек перед лицом столь горького отчаяния? Для таких ран у религии исцеления нет. И при мысли о жестоких обидах, выпавших на долю этой скромной, ни в чем не повинной семьи, я взбунтовался в душе против всего мира, против церкви, против самого Бога! Несправедливы, жестоко, злодейски, дьявольски несправедливы и Бог, и Церковь Его, и весь мир.

Сама природа вокруг нас — голая, безжизненная пустыня, с грозными пропастями и бездушными вечными льдами — казалась наглядным символом той страшной жизни, на которую от рожденья обречена эта девушка; я не преувеличиваю, ведь после смерти отца она лишилась даже такого жалкого дома, как избушка палача, и горькая нужда загнала ее наверх, в этот край вечного безлюдья, хотя внизу под нами расположены уютные селенья, тучные поля, зеленые сады, где круглый год царит мир и достаток.

Когда Бенедикта немного успокоилась, я спросил, нет ли у нее кого-нибудь, к кому она могла бы обратиться за покровительством.

— У меня никого нет, — ответила она. И видя мое огорчение, сказала: — Я всегда жила в безлюдных, проклятых местах; мне это не в новинку. С тех пор, как умер отец, не осталось никого на свете, кому интересно хотя бы поговорить со мной, и никого, с кем мне интересно поговорить, — не считая тебя. — Она замылась и добавила: — Правда, есть один человек, который готов навещать меня, но он...

Тут она оборвала фразу, и я не стал настаивать, опасаясь ее смутить. Она заговорила снова:

— Вчера, когда ты поднялся сюда, я сразу об этом узнала. Ко мне приходил мальчик за молоком и маслом для тебя. Если бы ты не был святым братом, он бы не попросил у меня для тебя пищи. А тебе нечего бояться того зла, что исходит от меня и всего, что мое. Но ты уверен, что не забыл перекрестить вчера пищу?

— Знай я, что она от тебя, Бенедикта, я бы не прибегнул к этой предосторожности, — ответил я.

Она взглянула на меня лучающимися глазами.

— О, господин мой! Милый брат!

Этот взгляд и эти слова принесли мне величайшую радость — как и все, что говорит и делает это небесное создание.

Я поинтересовался, что привело ее сюда наверх и кто тот человек, кого она звала, перепрыгивая со скалы на скалу?

— Это не человек, — улыбнулась Бенедикта, — а всего-навсего козочка. Она заблудилась, и я искала ее среди скал.

Она кивком простилась со мной и повернулась, чтобы уйти, но я остановил ее и сказал, что помогу ей в поисках.

Мы скоро нашли потерявшееся животное в расщелине, и Бенедикта была так рада своей четвероногой подружке, что опустилась рядом на колени, обняла ее за шею и называла нежными именами. Мне это показалось очень трогательным, и я глядел на них, не пряча восхищения. Бенедикта объяснила:

— Ее мать упала с обрыва и сломала шею. Я взяла ее совсем маленькой, вскормила из рожка. Она ко мне очень привязана. А кто живет один, как я, научается ценить любовь преданного животного.

Когда девушка встала, чтобы проститься, я набрался храбрости и заговорил о том, что давно уже тревожило мне душу.

— Ведь правда же, Бенедикта, — спросил я ее, — что в ту ночь, когда был праздник, ты вышла навстречу пьяным парням для того, чтобы отвести беду от отца?

Она удивленно взглянула на меня.

— Зачем же еще, ты думал, мне было к ним идти?

— А я и не думал ничего другого, — смущенно ответил я.

— Прощай же, брат.

Она кивнула и пошла прочь.

— Бенедикта! — позвал я.

Она остановилась. Оглянулась через плечо.

— В будущем воскресенье я должен говорить проповедь скотницам, которые живут у Зеленого озера. Может быть, и ты придешь?

— Да нет, милый брат, — замявшись, тихо ответила она.

— Не придешь?

— Я бы рада. Но мое присутствие распугает скотниц и других слушателей, кого ни соберет там твоя доброта. Прошу тебя, прими мою благодарность, но я прийти не смогу.

— Тогда я приду к тебе.

— Смотри, будь осторожен, заклинаю тебя!

— Я приду.

26

Служка объяснил мне, как печь пироги. Я знал, какие для этого потребны продукты и в каких соотношениях. Но когда я попытался применить обретенные знания на деле, ничего не получилось. Вышла какая-то горелая, липкая каша, которая если и годилась в пищу, то разве что нечистому сатане, но никак не набожному сыну церкви и последователю Святого Франциска. Неудача огорчила меня, но не умерила моего голода; и я, размочив в кислом молоке ломоть черствого хлеба, уже приготовился было обречь на заслуженные страдания мой многогрешный желудок, как вдруг пришла Бенедикта с полной корзинкой восхитительных угощений. Милое дитя! Боюсь, что в то утро я не только сердцем благословил ее приход.

Увидя у меня на сковороде горелую массу, она улыбнулась и выбросила все птицам (которых да хранят Небеса), а потом сходила к ручью, вымыла сковороду, и, снова разведя в очаге огонь, затеяла новый пирог — высыпала в глиняную миску две пригоршни муки, сверху налила чашку сливок, добавила щепотку соли и своими тонкими, нежными руками месила до тех пор, покуда не получилось пышное, легкое тесто. После этого обильно смазала сковороду желтым маслом, вывалила в нее тесто и поставила на огонь. Когда от жара

тесто вспучилось и поднялось над краями сковороды, она ловко проткнула его в нескольких местах, чтобы не лопнуло, а когда пирог как следует пропекся и посмуглел, достала его из очага и поставила передо мной, недостойным. Я пригласил ее разделить со мной трапезу, но она отказалась. И настаивала, чтобы я непременно всякий раз осенял себя крестным знамением, когда ел то, что она приготовила или принесла, иначе на меня перейдет зло от лежащего на ней проклятья. Но я не согласился. Пока я ел, она нарвала цветов среди скал, сплела венок и повесила на кресте у входа в мою хижину, а когда я насытился, занялась тем, что перечистила всю посуду и привела все внутри в надлежащий порядок, так что я, озираясь вокруг, почувствовал непривычное довольство. Наконец, все дела были переделаны, и совесть не позволяла мне избрывать новые предлоги, чтобы дольше задерживать ее. Она ушла. И о Боже! Как все вокруг сразу стало беспросветно и мрачно после ее ухода! Ах, Бенедикта, Бенедикта, что ты со мной сделала? Служение Господу, единственное мое предназначение, кажется мне теперь менее радостным и богоугодным, чем жизнь простого пастуха в горах вместе с тобой!

27

Жить здесь наверху оказалось гораздо приятнее, чем я думал. И мрачное одиночество уже не представляется мне таким мрачным и беспросветным. Эти голые горы, поначалу внушавшие холодный ужас, день ото дня открывают мне свое очарование. Я вижу, как они величественны и прекрасны той красотой, что очищает и возвышает душу. В их очертаниях, как на страницах книги, можно читать хвалу Создателю. Каждый день я выкапываю корни желтой горечавки, а сам прислушиваюсь к голосу тишины, и он изгоняет мелочные треволения и дарует мне душевный покой.

Птицы в этих местах не поют. Они только издают резкие, пронзительные крики. И цветы здесь не имеют аромата, зато удивительно красивы, золотые и огненные, как звезды. Я видел здесь горные склоны, на которые бесспорно никогда не ступала нога человека. Святые места, они как вышли из рук Создателя, так и хранят на себе следы Его прикосновений.

Дичь здесь водится в изобилии. Часто мимо проносятся стада серн, такие многочисленные, что кажется, движется целый горный склон. Есть здесь и воинственные каменные козлы, а вот медведей мне до сих пор, благодарение Богу, видеть не довелось. Сурки резвятся вокруг, будто котятка; и орлы, царственные обитатели здешних поднебесных областей, вьют гнезда на вершинах, поближе к небу. Устав, я валяюсь прямо в альпийскую траву, пахучую, как драгоценные благовония. С закрытыми глазами я слушаю, как шелестит ветер в высоких стеблях, и сердце мое преисполняется покоем. Благослови Господь!

Каждое утро ко мне поднимаются с Зеленого озера молочницы, их веселые голоса отдаются от скал и разносятся по холмам. Женщины доставляют мне свежее молоко, масло и сыр, посудачат немножко и уходят. Каждый день я узнаю от них какую-нибудь новость о том, что случается в горах и какие вести приходят из деревень в долинах. Они веселы, жизнерадостны и с восторгом ждут воскресенья, когда у них с утра будет служба, а вечером танцы.

Увы, эти беззаботные селянки не свободны от греха лжесвидетельства против ближних. Они говорили со мной о Бенедикте и называли ее распутницей, палачовым отродьем и (мое сердце восстает против этих слов) Рохусовой милкой! Таким, как она, и место у позорного столба, утверждали они.

Слушая их злые и несправедливые речи о той, кого они так плохо знают, я еле сдержал негодование. Из сострадания к их невежеству я лишь упрекнул их очень-очень мягко и снисходительно. Грех, сказал я, осуждать ближнего, не выслушав его оправданий. И не по-христиански — порочить кого бы то ни было.

Но они не понимают. Как я могу заступаться за такую, как Бенедикта, удивляются они, ведь она была публично опозорена и никто на свете ее не любит?

Нынче с утра я побывал у Черного озера. И вправду ужасное, проклятое это место, там только и жить что погибшим душам. И это — обиталище бедной, всеми оставленной невинной девушки!

Подходя к хижине, я увидел, что в очаге горит огонь и над огнем висит котелок. А Бенедикта сидит на скамеечке и глядит в пламя. Алые отсветы падают ей на лицо, и видно, как по ее щекам ползут большие, медленные слезы.

Я не хотел подглядывать за ее тайной печалью, поэтому поспешил оповестить о своем приходе и ласково окликнул ее. Она вздрогнула, но, увидев меня, улыбнулась и покраснела. Она поднялась со скамеечки и пошла мне навстречу, а я заговорил с ней невесть о чем, просто так, чтобы только дать ей время прийти в себя. Я говорил, как брат с сестрой, тепло, но с тревогой, ибо сердце мое сжималось от сострадания:

— О Бенедикта, я знаю твое сердце, в нем больше любви к молодому гуляке Рохусу, чем к нашему благословенному Спасителю. Я знаю, ты с легким сердцем снесла стыд и позор, тебя поддерживало сознание, что ему известна твоя невинность. У меня и в мыслях нет осуждать тебя, ибо что на свете может быть святее и чище, чем любовь юной девы? Я только хочу предостеречь и защитить тебя, ибо предмет ты избрала недостойный.

Она слушала, понурясь, и молчала, я только слышал ее тяжкие вздохи. И видел, что она дрожит. Я продолжал:

— Бенедикта, страсть, наполняющая твое сердце, может стать причиной твоей гибели в этой и в будущей жизни. Молодой Рохус не сделает тебя своей женой перед Богом и людьми. Почему он не выступил вперед и не заступился за тебя, когда тебя облыжно обвинили?

— Его там не было, — возразила она, подняв голову. — Они с отцом уехали в Зальцбург. И он ничего не знал, пока не услышал от людей.

Да простит меня Бог за то, что я не обрадовался оправданию ближнего, обвиненного мною же в тяжком грехе. Я постоял минуту, понурясь в нерешительности. Потом продолжал:

— Но, Бенедикта, разве возьмет он в жены ту, чье имя опорочено в глазах его родных и близких? Нет, не с честными намерениями он преследует тебя. О, Бенедикта, признайся мне, ведь я прав?

Но она молчала, я не смог вытянуть из нее ни слова. Она как будто онемела и только вздыхала, охваченная трепетом. Я понял, что она по слабости своей не способна противостоять соблазну любви к молодому Рохусу; я видел, что она уже всем сердцем привязана к нему, и душа моя наполнилась жалостью и печалью — жалостью к ней и печалью о себе самом, ибо я не чувствовал в себе достаточно сил для выполнения возложенной на меня задачи. Сокрушение мое было так велико, что я едва не зарыдал.

Я ушел от нее, но к себе в хижину не вернулся, а много часов бесцельно блуждал по берегу Черного озера.

В горьком сознании своего поражения я взывал к Господу, моля благословить меня и укрепить мои силы, и мне открылось: разве я достойный ученик Спасителя нашего, разве верный сын Его Церкви? Я отчетливо понял земную природу моей любви к Бенедикте и греховность такого чувства. Нет, я не отдал все свое сердце Богу, я держался за мимолетное и человеческое. Мне стало ясно, что я должен преобразить мою любовь к этой милой девушке, чтобы осталась только духовная привязанность, очищенная от мутных примесей страсти, иначе мне никогда не получить сан священника и придется до конца влачить свои дни монахом и грешником. Мысли эти причинили мне невыразимую муку, и я, в отчаянии бросившись наземь, громко воскликнул, в этот миг испытания припадая к Кресту: «Спаси меня, Господи! Я тону, поглощаемый великой страстью, — спаси, о спаси меня, иначе я навеки погиб!».

Всю ту ночь я молился, боролся, сопротивлялся в душе своей против злых духов, которые толкали меня на предательство возлюбленной Церкви, чьим сыном я всегда был.

«У Церкви, — нашептывали мне они, — и без тебя довольно слуг. А ты ведь еще не давал окончательно обета безбрачия. Ты можешь получить разрешение от монашеских клятв и остаться жить мирянином в здешних горах.

Ты можешь обучиться пастушескому или охотничьему делу и постоянно находиться при Бенедикте, оберегать и направлять ее — а со временем, быть может, отвоевать ее любовь у молодого Рохуса и сделать ее своей женой».

Этому искусу я противопоставлял все мои слабые силы, поддерживаемый в час испытания блаженным Святым Франциском. Борьба была мучительной и долгой, и не раз в пустынном мраке, оглашаемом моими воплями, я уже был готов сдаться. Но на рассвете нового дня буря в душе моей утихла и в нее вновь снизошел покой — так золото солнечного света заливает горные обрывы, которые только что одевал ночной туман. Я подумал о Спасителе, принявшем муки и смерть ради избавления мира, и стал горячо, как еще никогда в жизни, молиться, чтобы Небеса сподобили и меня великого счастья умереть так же, хотя и скромнее, ради спасения всего одной страждущей души — ради Бенедикты.

Да услышит Господь мою молитву!

30

Всю ночь под воскресенье, когда я должен был служить Божественную службу, на окрестных вершинах жгли костры — знак парням в долине, чтобы поднимались на гору к молочным хуторам. И парни шли. Их было много. Они гоготали и перекликались, а работницы встречали их песнями и визгом, размахивая горящими факелами, бросающими отсветы и огромные тени на скалы и обрывы. Красивое зрелище. Поистине, они счастливые люди.

Вместе с другими пришел и монастырский служка. Он пробудет здесь весь воскресный день и, уходя, заберет с собой накопленные мной корни. Он принес много новостей. Преподобный настоятель проживает в обители Святого Варфоломея, охотится и удит рыбу. Другое известие, возбудившее у меня большую тревогу, это что сын зальцмейстера молодой Рохус поселился в горах, неподалеку от Черного озера. У него тут охотничий домик на вершине скалы над озером, и оттуда тропа спускается к самой воде. Служка, рассказывая мне это, не заметил, как я вздрогнул. О, если бы ангел с огненным мечом стоял на той тропе, преграждая Рохусу путь к озеру и к Бенедикте!

Песни и крики раздавались всю ночь. От этого, а также от волнения я до утра не мог сомкнуть глаз. Утром со всех сторон стали подходить парни и девушки. Девушки красиво обвязали головы шелковыми косынками и украсили себя и своих кавалеров дикими цветами.

Не будучи посвящен в духовный сан, я был не вправе ни служить обедню, ни читать проповедь, но я просто помолился вместе с ними и говорил с ними обо всем, о чем болело мое сердце. О нашей греховности и о великом мило-

сердии Божьем; о том, как мы жестоки друг к другу и как любит нас всех Спаситель; и о его безмерном сострадании. Я говорил, и слова мои отдавались эхом от пропастей и вершин, а мне казалось, будто я возношусь над этим миром греха и боли и на ангельских крыльях поднимаюсь в чертоги света выше небесных сфер! То была торжественная служба, и немногочисленные мои слушатели прониклись страхом Божиим и благоговели, как будто стояли в Святая Святых.

Мы кончили молиться, я благословил их, и они тихо пошли прочь. Правда, не успев далеко отойти, парни снова принялись зычно и весело гоготать, но это меня не огорчило. Почему бы им и не веселиться? Разве радость — не самая чистая хвала, какую способно вознести Творцу человеческое сердце?

Ближе к вечеру я спустился к хижине Бенедикты. Ее я застал у порога, она плела венки из эдельвейсов для образа Пресвятой Девы, вплетая в него вместе с белоснежными еще какие-то густо-красные цветки, которые на расстоянии казались каплями крови.

Я уселся рядом и стал безмолвно любоваться ее работой, хотя в душе у меня бушевала буря чувств и раздавался тайный голос: «Бенедикта, любовь моя, сердце мое, я люблю тебя больше жизни! Я люблю тебя больше всего, что ни на есть на земле и в Небесах!».

31

Настоятель прислал за мной, и я со странным дурным предчувствием последовал за его посланцем. Мы спустились по трудной дороге к озеру и сели в лодку. Охваченный мрачными мыслями и худыми ожиданиями, я и не заметил, как мы отчалили, а уж веселые голоса с берега приветствовали наше прибытие к Святому Варфоломею. На цветущем лугу, посреди которого стоял дом настоятеля, собралось много народу: священники, монахи, горцы, охотники. Иные прибыли издалека в сопровождении слуг и приближенных. Внутри дома все было в движении — толчея, суета, беготня, как на ярмарке. Двери нараспашку, одни вбегают, другие выбегают, звенят голоса. Громко лают и скулят собаки. Под старым дубом на дощатом помосте — огромная пивная бочка, вокруг столпились люди и пили из больших кружек. Пили также и в доме — я видел у окон многих гостей с кружками в руках. Войдя, я увидел полчища слуг, бегом разносящих на подносах рыбу и дичь. Я справился у одного, когда я могу увидеть настоятеля. Он ответил, что его преподобие спустится сразу по окончании трапезы, и я решил подождать здесь же, внизу. Стены вокруг меня были увешаны картинами, изображающими наиболее крупных рыб, в разное время выловленных из озера. Под каждой большими буквами обозначены вес

животного, дата его поимки, а также имя удачливого удильщика. Мне поневоле пришло в голову, быть может, несправедливо, что эти надписи подобны эпитафиям, призывающим всех добрых христиан молиться за упокой души названных в них людей.

Прошло более часа, и настоятель спустился по лестнице в залу. Я вышел вперед и низко, как подобает моему званию, поклонился. Он кивнул, зорко взглянул на меня и распорядился, чтобы я, отужинав, незамедлительно явился в его покои. Я так все и исполнил.

— Ну, что твоя душа, сын мой Амброзий? — задал он мне вопрос. — Сподобился ли ты Божьей благодати? Выдержал ли испытание?

Сокрушенно понутив голову, я ответил:

— Досточтимый отец, там, в пустыне, Бог подарил мне знание.

— Знание чего? Твоей вины?

Я ответил утвердительно.

— Слава Богу! — воскликнул настоятель. — Я знал, сын мой, что одиночество воззовет к твоей душе ангельским языком. У меня для тебя хорошие вести. Я написал о тебе епископу Зальцбургскому. И он призывает тебя к себе в епископский дворец. Он сам посвятит тебя и возведет в священнический сан, и ты останешься у него в городе. Будь же готов через три дня нас покинуть.

И он снова зорко взглянул мне в лицо, но я не дал ему прозреть мое сердце. Испросив его благословения, я поклонился и ушел. Так вот, значит, ради чего он меня призвал! Мне предстоит навсегда покинуть эти места. Оставить здесь самую жизнь мою; отречься от покровительства и бдения над Бенедиктой. Господь да смилуется над нею и надо мною!

32

Я опять в моей горной хижине, но завтра поутру я ее навеки оставлю. Почему же мне грустно? Ведь меня ожидает великое счастье. Разве я всю свою жизнь не ждал с замирающим сердцем того мгновения, когда буду посвящен в духовный сан, не уповал на это как на высший миг моего жизненного служения? И вот он почти настал. А мне так невыразимо грустно.

Смогу ли я приблизиться к алтарю с ложью на устах? Смогу ли, притворщик, принять святое причастие? Святое миро у меня на челе не обернется ли пламенем, не прожжет мне кость и не оставит ли вечное клеймо?

Может быть, мне лучше упасть перед епископом на колени и сказать: «Изгоните меня, ибо движет мною не любовь ко Христу и ценностям святым и небесным, но любовь к сокровищам земным».

Если я так скажу, мне будет назначено наказание, но я безропотно приму это.

Конечно, будь я безгрешен и прими я посвящение с чистым сердцем, это могло бы пойти на пользу бедняжке Бенедикте. Сколько благословений и утешений могла бы она от меня получать! Я мог бы исповедать ее и отпустить ей грех, а случись мне пережить ее — от чего Боже меня упаси! — своими молитвами я мог бы даже вызволить ее душу из чистилища. Мог бы молиться за упокой души ее покойных родителей, горящих в пламени преисподней.

А главное, если бы только удалось уберечь ее от того страшного, губительно-го греха, к которому она втайне склоняется; если бы я мог увезти ее и поселить под своей защитой, о Пресвятая Дева! То-то было бы счастье!

Но где такое убежище, в котором может укрыться дочь палача? Я слишком хорошо знаю: как только я уеду, нечистый дух в том обаятельном обличии, которое он принял, восторжествует, и тогда она погибла ныне и вовек.

33

Я ходил к Бенедикте.

— Бенедикта, — сказал я ей. — Я покидаю эти места, эти горы, покидаю тебя.

Она побледнела, но не произнесла ни слова. Да и я не сразу справился с волнением; у меня перехватило дыхание, слова не шли с языка. Но потом я продолжал:

— Бедное дитя, что станется с тобой? Я знаю силу твоей любви к Рохусу, ведь любовь — это неостановимый поток. Твое единственное спасение — в Святом Кресте нашего Спасителя. Обещай мне, что будешь держаться за Него, не дай мне уйти отсюда в горе, Бенедикта.

— Неужто я такая плохая, — промолвила она, не поднимая глаз, — что мне нельзя доверять?

— Ах, Бенедикта, ведь враг человеческий силен, и внутри твоей крепости затаился предатель, готовый открыть ему ворота. Твое сердце, бедная Бенедикта, рано или поздно предаст тебя.

— Он меня не обидит, — тихо сказала она. — Ты несправедлив к нему, господин мой, уверяю тебя.

Но я то знал, что сужу справедливо, и только еще больше опасался волка, оттого что он прибегает к лисьим уловкам. Он до сих пор не дерзнул открыть перед ее святой невинностью свои низменные страсти. Но я знал, что близок час, когда ей понадобятся все ее силы, и все равно их не хватит. Я схватил ее за локоть и потребовал, чтобы она поклялась лучше броситься в воды Черного озера, чем в объятия Рохуса. Она молчала. Молчала, глядя мне в глаза с укором и печалью, от которых в голове у меня появились самые безотрадные мысли. Я повернулся и пошел прочь.



Господи, Спаситель мой, куда Ты меня привел? Я заключен в башню как преступник, совершивший убийство, и завтра на заре меня отведут к виселице и повесят! Ибо кто убьет человека, и сам должен быть убит, таков закон Божий и человеческий.

А ныне, в свой последний день, я испросил позволения писать, и оно мне было дано. Теперь, во имя Господа и в согласии с истиной, я опишу, как было дело.

Простясь с Бенедиктой, я вернулся в свою хижину, сложил пожитки и стал ждать службу. Но он все не шел; мне предстояло провести в горах еще одну ночь. Раздраженный бесплодным ожиданием, я не находил себе места. Стены тесной хижины давили меня, воздух казался слишком душен и горяч для дыхания. Я вышел наружу, лег на камень и стал смотреть в небо, такое черное и так густо осыпанное блестками звезд. Но душа моя не летела к небесам, она стремилась вниз к избушке на берегу Черного озера.

И вдруг я услышал слабый, отдаленный вскрик, как будто бы человеческий голос. Я сел, прислушался — все тихо. Наверно то была ночная птица, подумал я. Хотел было снова улечься, но вскрик повторился, только на этот раз, почудилось мне, с другой стороны. То был голос Бенедикты! В третий раз прозвучал он, теперь словно бы из воздуха — словно бы прямо с неба надо мной — и я отчетливо услышал свое имя. Но, Пресвятая Матерь Божья, какая мука была в том голосе!

Я вскочил.

— Бенедикта! Бенедикта! — позвал я. Молчание. — Бенедикта! Я иду к тебе, дитя!

И я бросился во мраке бегом по тропе, спускающейся к Черному озеру. Я бежал сломя голову, спотыкаясь о камни и корни деревьев. Садины от падений покрыли мое тело, в клочья изодралась одежда, но что мне за дело? С Бенедиктой беда, и я один могу спасти и защитить ее. Вот наконец и Черное озеро. Но в избушке все было тихо — ни огня, ни голоса. Кругом мир и тишина, как в Божьем храме.

Я посидел, подождал и ушел оттуда. Голос, который звал меня, не мог принадлежать Бенедикте; должно быть, это злые духи решили потешиться надо мной в несчастьи. Я думал подняться обратно в свою хижину, но невидимая рука направила меня во тьме в другую сторону; и хотя она привела меня туда, где меня ждет смерть, я верю, то была рука Господа.

Я шел, сам не зная куда, не разбирая дороги, и очутился у подножья высокого обрыва. По нему, змеясь, поднималась узкая тропинка, и я начал восхождение. Взойдя до половины, я запрокинул голову, посмотрел наверх и увидел тенью на звездном небе какой-то дом у самого обрыва. У меня сразу же блеснула мысль, что это — охотничий домик, принадлежащий сыну зальцмейстера,

и я стою на тропе, по которой он спускается, навещая Бенедикту. Милосердный Отец Небесный! Ну, конечно же, Рохус ходит этой дорогой, другого-то спуска туда нет. И здесь я его дождусь.

Я забился под выступ скалы и стал ждать, думая о том, что я ему скажу, и моля Бога смягчить его сердце и отвратить его от злого дела.

В скором времени я и вправду услышал, как он спускается. Камни, задетые его ногой, катились по крутому склону и гулко летели вниз, с плеском падая в озеро. И тогда я стал молить Бога, если мне не удастся смягчить сердце молодого охотника, пусть он оступится и сам, как эти камни, покатится в пропасть, ибо лучше ему принять внезапную смерть без покаяния и быть осужденным на вечные муки, чем остаться в живых и погубить невинную душу.

Вот он вышел из-за скалы и очутился прямо передо мной. Я встал у него на дороге в слабом свете молодого месяца. Он тотчас же меня узнал и спросил, чего мне надо.

Я ответил кротко, объяснил ему, зачем преграждаю ему путь, и умолял его повернуть назад. Но он оскорбительно посмеялся надо мной.

— Ты, жалкий рясоносец, — сказал он. — Перестанешь ты когда-нибудь совать нос в мои дела? Глупые здешние девчонки раскудахтались, какие-де у тебя белые зубы и прекрасные черные глаза, а ты возьми и вообрази, будто ты не монах, а мужчина. Да ты для женщин все равно что козел!

Напрасно я просил его замолчать и выслушать меня, напрасно на коленях молил, чтобы он, пусть и презирая меня и мое ничтожное, хотя и священное звание, зато почитал бы Бенедикту и не трогал ее. Он отпихнул меня ногой в грудь. И тогда, уж более не владея собой, я вскочил и обозвал его убийцей и негодяем.

Тут он выхватил из-за пояса нож и прорычал:

— Сейчас я отправляю тебя в преисподнюю!

Но я быстро, как молния, перехватил его руку, сдавив запястье, вырвал у него нож и, отбросив себе за спину, крикнул:

— Нет, безоружные и равные, мы будем бороться на смерть, и Господь нас рассудит!

Мы бросились друг на друга, как дикие звери, и крепко обхватили один другого. Мы боролись, то пятясь, то наступая, на узкой горной тропе, справа отвесно подымалась каменная стена, а слева зияла пропасть, и внизу плескались воды Черного озера! Я напрягал все силы, но Господь был против меня. Он позволил моему врагу взять надо мной верх и повалить меня у самого обрыва. Я был в руках сильнейшего противника, его глаза, точно угли, тлели у самого моего лица, колено давило мне на грудь. А голова моя висела над пропастью. Я был в полной его власти. Я ждал, что он спихнет меня вниз. Но он этого не сделал. Несколько страшных мгновений он продержал меня между жизнью и смертью, а затем прошипел мне на ухо: «Видишь, монах, мне стоит только двинуть рукой, и ты камнем полетишь в пропасть. Но я не намерен ли-

шать тебя жизни, потому что ты мне не помеха. Девушка — моя, и ты отступишься от нее, понял?

С этими словами он отпустил меня, поднялся и пошел по тропе вниз к озеру. Шаги его давно смолкли, а я все еще лежал, не в силах шевельнуть ни ногой, ни рукой. Великий Боже! Разве я заслужил такое унижительное поражение и всю эту боль? Я же хотел всего лишь спасти человеческую душу, а надо мной, с поущения Небес, восторжествовал ее погубитель.

Наконец, преодолевая боль, я поднялся на ноги. Все тело мое было разбито, я еще чувствовал нажим Рохусова колена на груди и его пальцев — на горле. С трудом пошел я вниз по тропе. Избитый, израненный, я хотел явиться перед Бенедиктой и своим телом загородить ее от зла. Правда, я шел медленно, с частыми остановками, но лишь когда занялась заря, а я все еще не достиг избышки, мне стало ясно, что я опоздал и не смогу оказать бедняжке Бенедикте последнюю мелкую услугу — отдать, защищая ее, остаток своей жизни.

Вскоре я услышал, что Рохус возвращается, напевая веселую песню. Я спрятался за скалой, хотя и не из страха, и он прошел мимо, не заметив меня.

Гору в том месте рассекала сверху донизу глубокая трещина, словно прорубленная мечом титана. На дне ее валялись камни, рос колючий кустарник и бежал ручеек, питаемый талой водой с высоких горных ледников. В этой расщелине я прятался три дня и две ночи. Слышал, как звал меня мальчик-служка, разыскивавший меня по всему склону. Но я молчал. За все время я ни разу не утолил огненной жажды из ручья и не съел даже горстки ежевики, в изобилии черневшей на кустах. Я умерщвлял таким образом свою грешную плоть, подавлял бунтующую природу и смирял душу перед Господом, пока, наконец, не почувствовал, что совершенно очистился от зла, освободился от пут земной любви и готов отдать жизнь свою и душу одной только женщине — Тебе, Пресвятая Матерь Божья!

После того как Господь свершил это чудо, на душе у меня стало светло и легко, словно крылья выросли и влекут меня к небесам. И я стал радостно, во весь голос восхвалять Господа, так что звенели вокруг высокие скалы. Я кричал: «Осанна! Осанна!» Теперь я был готов предстать перед алтарем и принять святое миропомазание. Я уже был не я. Бедный заблудший монах Амброзий умер; я же был в деснице Божией лишь орудие для свершения Его святой воли. Я помолился о спасении души прекрасной девы, и когда я произносил молитву, вдруг перед очами моими в сиянии и славе явился Сам Господь, окруженный несчетными ангельскими силами, заполнившими полнеба! Восторг охватил меня, от счастья я онемел. С улыбкой доброты неизреченной на устах Господь так обратился ко мне:

— Ты не обманул доверия и выдержал все посланные тебе испытания, не дрогнув, а потому на тебя теперь целиком возлагается спасение души безгрешной девы.

— Ты же знаешь, о Господи, — ответил я, — что я не имею возможности это выполнить, да и не знаю, как.

Господь приказал мне встать и идти, и я, отвернувшись от Его ослепительного лика, источавшего свет в самые недра рассеившейся горы, послушно покинул место моего прозрения. Отыскав старую тропу, я стал подниматься по крутому скалистому склону. Я шел наверх в ослепительных лучах заката, отраженных багровыми облаками.

Вдруг что-то побудило меня посмотреть под ноги: на тропе, в красных закатных отсветах, словно в пятнах крови, лежал острый нож Рохуса. И я понял, для чего Господь попустил этому дурному человеку одолеть меня, но не дал меня убить. Я был оставлен в живых ради иной, еще более великой святой цели. И вот в руки мне вложено орудие для ее достижения. Ах, Господь, Господь мой, как таинственны пути Твои!

35

«Девушка — моя, и ты отступишься от нее!» Так сказал мне этот дурной человек, когда держал меня за горло над пропастью. Он сохранил мне жизнь не из христианского милосердия, но из глубокого презрения, для него моя жизнь была пустяк, который и отнимать не стоит. Он знал, что желанная добыча все равно достанется ему, жив я или нет. «Ты отступишься. Она — моя». О, заносчивый глупец! Разве ты не знаешь, что Бог простирает длань Свою над полевыми цветами и над птенцами в гнезде? Уступить Бенедикту тебе, отдать на погибель ее тело и душу? Ты еще увидишь простертую для ее защиты и спасения длань Божию. Еще есть время — душа ее еще непорочна и незапятнана. Вперед же, и да исполнится веление Всемогущего Бога!

Я опустился на колени в том месте, где Бог подал мне орудие ее защиты. Вся душа моя была устремлена к возложенному на меня делу. Я был охвачен восторгом, и перед моим взором, точно видение, стояла картина предначертанного мне торжества.

Затем, поднявшись с колен и запрятав нож в складки одежды, я повернул назад и стал спускаться к Черному озеру. Молодой месяц, как божественная рана, зиял у меня над головой, будто чья-то рука вспорола ножом священную грудь Неба.

Дверь избушки была приоткрыта, и я долго стоял, любясь прелестным зрелищем. Комнату освещал огонь, полыхающий в очаге. Перед огнем сидела Бенедикта и расчесывала свои длинные золотистые волосы. В прошлый раз, когда я смотрел на нее снаружи, она была печальна; теперь же лицо ее светилось от счастья, я даже не представлял себе, что она может так сиять. Не разжимая губ, изогнутых в чувственной усмешке, она тихо и нежно напевала мо-

тив одной из здешних любовных песен. Ах, как она была прекрасна, небесная невеста! И все же ее ангельский голос вызвал у меня гнев, и я крикнул ей через порог:

— Что это ты делаешь, Бенедикта, в столь поздний ночной час? Поешь, словно в ожидании милого, и убираешь волосы, будто собралась на танцы. Всего три дня назад, я, твой брат и единственный друг, оставил тебя в тоске и горе. А сейчас ты весела как новобрачная.

Бенедикта вскочила, обрадованная моим приходом, и бросилась ко мне, чтобы поцеловать мне руку. Но едва только взглянув на мое лицо, она вскрикнула и отшатнулась в ужасе, как будто это был не я, а сам дьявол из преисподней.

Однако я к ней приблизился и спросил:

— Так почему же ты причешься, когда уже ночь на дворе? Почему тебе так весело? Неужто этих трех дней тебе хватило, чтобы пасть? Ты стала любовницей Рохуса?

Она стояла неподвижно и смотрела на меня с ужасом.

— Где ты был? — спросила она. — И зачем пришел? Ты болен. Сядь, господин мой, прошу тебя, посиди и отдохни. Ты бледен, ты дрожишь от холода. Я приготовлю тебе горячее питье, и тебе станет лучше.

Но встретив мой грозный взор, она замолчала.

— Я пришел не ради отдыха и твоей заботы, — произнес я. — А ради повеления Господня. Отвечай, почему ты пела?

Она подняла на меня глаза, полные младенческой невинности, и ответила:

— Потому что забыла на минутку о твоём предстоящем отъезде и была счастлива.

— Счастлива?

— Да. Он приходил сюда.

— Кто? Рохус?

Она кивнула.

— Он был так добр, — проговорила она. — Он попросит у отца позволения привести меня к нему, и может быть, зальцмейстер возьмет меня в свой большой дом и уговорит его преподобие настоятеля снять с меня проклятье. Ну разве не прекрасно будет? Но тогда, — она вдруг снова сникла и потупила глаза, — ты, наверно, забудешь меня. Ты ведь заботишься обо мне, потому что я бедная и у меня никого нет.

— Что? Он уговорит отца принять тебя в их дом? Взять под свою опеку — тебя, дочь палача! Неразумный юнец, он выступает против Бога и Божьих служителей и надеется повлиять на Божью Церковь! Все это ложь, ложь, ложь! О, Бенедикта, заблудшая, обманутая Бенедикта! Я вижу по твоим улыбкам и слезам, что ты поверила лживым посулам этого презренного негодяя.

— Да, — ответила она и склонила голову, точно произносила символ веры перед церковным алтарем. — Я верю.

— Так на колени, несчастная! — воскликнул я. — И благодари Бога, что Он послал тебе одного из избранных Своих, чтобы душа твоя не погибла ныне и навечно!

Объятая страхом, она затрепетала.

— Чего ты от меня хочешь?

— Чтобы ты молилась об отпущении своих грехов.

Меня вдруг пронзила восторженная мысль.

— Я — священнослужитель! — воскликнул я. — Миропомазанный и посвященный в сан Самим Богом, и во имя Отца и Сына и Святого Духа я прощаю тебе твой единственный грех — твою любовь и даю тебе отпущение без покаяния. Я снимаю с твоей души пятно греха, а ты заплатишь за это своей кровью и жизнью.

С этими словами я схватил ее и насильно заставил опуститься на колени. Но она хотела жить. Она плакала и рыдала. Обхватив мои ноги, она молила и заклинала меня Богом и Пресвятой Девой. Потом вдруг вскочила и попыталась бежать. Я поймал ее, но она вырвалась из моих рук и, подбежав к распахнутой двери, стала звать на помощь:

— Рохус! Рохус! Спаси меня, о спаси меня!

Я бросился за ней, вцепился ей в плечо и, полуобернув ее к себе, вонзил нож в ее грудь.

А потом крепко обнял и прижал к сердцу, чувствуя своим телом ее горячую кровь. Она открыла глаза, посмотрела на меня с укоризной, как будто жизнь, которую я отнял, была сладка и прекрасна. Затем тихо опустила веки. Глубоко, судорожно вздохнула. Наклонила голову к плечу и так умерла.

Я обернул прекрасное тело в белую простыню, оставив лицо открытым, и уложил ее на пол. Но кровь просочилась на полотно, и тогда я распустил ее длинные золотые волосы и прикрыл ими алые розы у нее на груди. Как невесте небесной я положил ей на голову веночек эдельвейсов, которым она недавно украсила образ Пресвятой Девы, и мне вспомнились те эдельвейсы, что она когда-то бросила мне в келью, чтобы утешить меня в моем заточении.

Покончив с этим, я развел огонь в очаге, так что на запеленутое тело и прекрасное лицо упали багровые отсветы, словно лучи славы Господней. И зарделись золотые пряди на ее груди, как языки красного пламени.

Так я и оставил ее.

Я шел вниз крутыми тропами, но Господь направлял мои шаги, так что я не споткнулся и не упал в пропасть. На рассвете я добрался до монастыря, позвонил в колокол и подождал, когда мне откроют. Брат привратник, должно

быть, принял меня за демона, он поднял такой крик, что сбежался весь монастырь. Но я прошел прямо в покои настоятеля и, стоя перед ним в окровавленной рясе, поведал ему, для какого дела избрал меня Господь, и объявил, что я теперь посвящен в духовный сан. И вот тогда-то меня схватили, заточили в башню, а затем судили и приговорили к смерти, как если бы я был убийцей. О, глупцы, бедные, безмозглые болваны!

И лишь один человек посетил меня нынче в темнице — это была Амула, смуглянка, она упала передо мной на колени, целовала мне руки и восхваляла меня как избранника Божия и Его орудие. Ей одной открылось, какое великое и славное дело я совершил.

Я просил Амулу отгонять стервятников от моего тела, ведь Бенедикта на Небе. И я скоро буду с нею. Хвала Богу! Осанна! Аминь.

(К старинному манускрипту добавлено несколько строчек другим почерком: «В пятнадцатый день месяца октября в год Господа нашего тысяча шестьсот восьмидесятый брат Амброзий был здесь повешен, и на следующий день тело его зарыто под виселицей неподалеку от девицы Бенедикты, им убитой. Сказанная Бенедикта, хоть и считалась дочерью палача, была на самом деле (как стало известно от молодого Рохуса) незаконной дочерью зальцмейстера и жены палача. Тот же источник достоверно свидетельствовал, что сия девица питала тайную запретную любовь к тому, кто ее убил, не ведая о ее страсти. Во всем прочем брат Амброзий был верным слугой Господа. Помолимся за душу его!»)





РАССКАЗЫ





СЛУЧАЙ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ

1



а железнодорожном мосту, в северной части Алабамы, стоял человек и смотрел вниз, на быстрые воды в двадцати футах под ним. Руки у него были связаны за спиной. Шею стягивала веревка. Один конец ее был прикреплен к поперечной балке над его головой и свешивался до его колен. Несколько досок, положенных на шпалы, служили помостом для него и для его палачей — двух солдат федеральной армии под началом сержанта, который в мирное время скорее всего занимал должность помощника шерифа. Несколько поодаль, на том же импровизированном эшафоте, стоял офицер в полной капитанской форме, при оружии. На обоих концах моста стояло по часовому с ружьем «на караул», то есть держа ружье вертикально, против левого плеча, в согнутой под прямым углом руке, — поза напряженная, требующая неестественного выпрямления туловища. По-видимому, знать о том, что происходит на мосту, не входило в обязанности часовых; они только преграждали доступ к настилу.

Позади одного из часовых никого не было видно; на сотню ярдов рельсы убегали по прямой в лес, затем скрывались за поворотом. По всей вероятности, в той стороне находился сторожевой пост. На другом берегу местность была открыта — пологий откос упирался в частокол из вертикально вколоченных бревен, с бойницами для ружей и амбразурой, из которой торчало жерло наведенной на мост медной пушки. По откосу, на полпути меж-

ду мостом и укреплением, выстроились зрители — рота солдат-пехотинцев в положении «вольно»: приклады упирались в землю, стволы были слегка наклонены к правому плечу, руки скрещены над ложами. Справа от строя стоял лейтенант, сабля его была воткнута в землю, руки сложены на эфесе. За исключением четверых людей на середине моста, никто не двигался. Рота была повернута фронтом к мосту, солдаты застыли на месте, глядя прямо перед собой. Часовые, обращенные лицом каждый к своему берегу, казались статуями, поставленными для украшения моста.

Капитан, скрестив руки, молча следил за работой своих подчиненных, не делая никаких указаний. Смерть — высокая особа, и если она заранее оповещает о своем прибытии, ее следует принимать с официальными изъявлениями почета; это относится и к тем, кто с ней на короткой ноге. По кодексу военного этикета безмолвие и неподвижность знаменуют глубокое почтение.

Человеку, которому предстояло быть повешенным, было на вид лет тридцать пять. Судя по платью — такое обычно носили плантаторы, — он был штатский. Черты лица правильные — прямой нос, энергичный рот, широкий лоб; черные волосы, зачесанные за уши, падали на воротник хорошо сшитого сюртука. Он носил усы и бороду клином, но щеки были выбриты; большие темно-серые глаза выражали доброту, что было несколько неожиданно в человеке с петлей на шее. Он ничем не походил на обычного преступника. Закон военного времени не скупится на смертные приговоры для людей всякого рода, не исключая и джентльменов.

Закончив приготовления, оба солдата отступили на шаг, и каждый оттащил доску, на которой стоял. Сержант повернулся к капитану, отдал честь и тут же встал позади него, после чего капитан тоже сделал шаг в сторону. В результате этих перемещений осужденный и сержант очутились на концах доски, покрывавшей три перекладины моста. Тот конец, на котором стоял штатский, почти — но не совсем — доходил до четвертой. Раньше эта доска удерживалась в равновесии тяжестью капитана; теперь его место занял сержант. По сигналу капитана сержант должен был шагнуть в сторону, доска — качнуться и осужденный — повиснуть в пролете между двумя перекладинами. Он оценил по достоинству простоту и практичность этого способа. Ему не закрыли лица и не завязали глаз. Он взглянул на свое шаткое подножие, затем обратил взор на бурлящую речку, бешено несущуюся под его ногами. Он заметил пляшущее в воде бревно и проводил его взглядом вниз по течению. Как медленно оно плыло! Какая ленивая река!

Он закрыл глаза, стараясь сосредоточить свои последние мысли на жене и детях. До сих пор вода, тронутая золотом раннего солнца, туман, застилавший берега, ниже по течению — маленький форт, рота солдат, плывущее бревно — все отвлекало его. А теперь он ощутил новую помеху. Какой-то звук, назойливый и непонятный, перебивал его мысли о близких — резкое, отчетливое металлическое постукивание, словно удары молота по наковальне: в нем

была та же звонкость. Он прислушивался, пытаясь определить, что это за звук и откуда он исходит; он одновременно казался бесконечно далеким и очень близким. Удары раздавались через правильные промежутки, но медленно, как похоронный звон. Он ждал нового удара с нетерпением и, сам не зная почему, со страхом. Постепенно промежутки между ударами удлинялись, паузы становились все мучительнее. Чем реже раздавались звуки, тем большую силу и отчетливость они приобретали. Они, словно ножом, резали ухо; он едва удерживался от крика. То, что он слышал, было тиканье его часов.

Он открыл глаза и снова увидел воду под ногами. «Высвободить бы только руки, — подумал он, — я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Если глубоко нырнуть, пули меня не достанут, я бы доплыл до берега, скрылся в лесу и пробрался домой. Мой дом, слава богу, далеко от фронта; моя жена и дети пока еще недосягаемы для захватчиков».

Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, сложились в сознании обреченного, точнее — молнией сверкнули в его мозгу, капитан сделал знак сержанту. Сержант отступил в сторону.

2

Пэйтон Факуэр, состоятельный плантатор из старинной и весьма почтенной алабамской семьи, рабовладелец и, подобно многим рабовладельцам, участник политической борьбы за отделение Южных штатов, был ярким приверженцем дела южан. По некоторым, не зависящим от него обстоятельствам, о которых здесь нет надобности говорить, ему не удалось вступить в ряды храброго войска, несчастливо сражавшегося и разгромленного под Коринфом, и он томился в бесславной праздности, стремясь приложить свои силы, мечтая об увлекательной жизни воина, ища случая отличиться. Он верил, что такой случай ему представится, как он представляется всем в военное время. А пока он делал, что мог. Не было услуги — пусть самой скромной, — которой он с готовностью не оказал бы делу Юга; не было такого рискованного предприятия, на которое он не пошел бы, лишь бы против него не восставала совесть человека штатского, но воина в душе, чистосердечно и не слишком вдумчиво уверовавшего в неприкрыто гнусный принцип, что в делах любовных и военных дозволено все.

Однажды вечером, когда Факуэр сидел с женой на каменной скамье у ворот своей усадьбы, к ним подъехал солдат в серой форме и попросил напиться. Миссис Факуэр с величайшей охотой отправилась в дом, чтобы собственноручно исполнить его просьбу. Как только она ушла, ее муж подошел к запыленному всаднику и стал жадно расспрашивать его о положении на фронте.

— Янки восстанавливают железные дороги, — сказал солдат, — и готовятся к новому наступлению. Они продвинулись до Совиного ручья, починили мост и возвели укрепление на своем берегу. Повсюду расклеен приказ, что всякий штатский, замеченный в порче железнодорожного полотна, мостов, туннелей или составов, будет повешен без суда. Я сам читал приказ.

— А далеко до моста? — спросил Факуэр.

— Миль тридцать.

— А наш берег охраняется?

— Только сторожевой пост на линии, в полмили от реки, да часовой на мосту.

— А если бы какой-нибудь кандидат висельных наук, и притом штатский, проскользнул мимо сторожевого поста и справился бы с часовым, — с улыбкой сказал Факуэр, — что мог бы он сделать?

Солдат задумался.

— Я был там с месяц назад, — ответил он, — и помню, что во время зимнего разлива к деревянному устью моста прибило много плавника. Теперь бревна высохли и вспыхнут, как пакля.

Тут вернулась миссис Факуэр и дала солдату выпить. Он учтиво поблагодарил ее, поклонился хозяину и уехал. Час спустя, когда уже стемнело, он снова проехал мимо плантации в обратном направлении. Это был лазутчик федеральных войск.

3

Падая в пролет моста, Пэйтон Факуэр потерял сознание и был уже словно мертвый. Очнулся он — через тысячелетие, казалось ему, — от острой боли в сдавленном горле, за которой последовало ощущение удушья. Мучительные, резкие боли словно отталкивались от его шеи и расходились по всему телу. Они мчались по точно намеченным разветвлениям, пульсируя с непостижимой частотой. Они казались огненными потоками, накалявшими его тело до нестерпимого жара. До головы боль не доходила — голова гудела от сильного прилива крови. Мысль не участвовала в этих ощущениях. Сознательная часть его существа уже была уничтожена; он мог только чувствовать, а чувствовать было пыткой. Но он знал, что движется. Лишенный материальной субстанции, превратившись всего только в огненный центр светящегося облака, он, словно гигантский маятник, качался по невысказанной дуге колебаний. И вдруг со страшной внезапностью замыкающий его свет с громким всплеском взлетел вверх; уши ему наполнил неистовый рев, наступили холод и мрак. Мозг снова заработал; он понял, что веревка оборвалась и что он упал в воду. Но он не захлебнулся; петля, стягивающая ему горло, не давала воде заливать легкие.



Смерть через повешение на дне реки! Что может быть нелепее? Он открыл глаза в темноте и увидел над головой слабый свет, но как далеко, как недосягаемо далеко! По-видимому, он все еще погружался, так как свет становился слабей и слабей, пока не осталось едва заметное мерцание. Затем свет опять стал больше и ярче, и он понял, что его выносит на поверхность, понял с сожалением, ибо теперь ему было хорошо. «Быть повешенным и утопленным, — подумал он, — это еще куда ни шло; но я не хочу быть пристреленным. Нет, меня не пристрелят; это было бы несправедливо».

Он не делал сознательных усилий, но по острой боли в запястьях догадался, что пытается высвободить руки. Он стал внимательно следить за своими попытками, равнодушный к исходу борьбы, словно праздный зритель, следящий за работой фокусника. Какая изумительная ловкость! Какая великолепная сверхчеловеческая сила! Ах, просто замечательно! Bravo! Веревка упала, руки его разъединились и всплыли, он смутно различал их в ширящемся свете. Он с растущим вниманием следил за тем, как сначала одна, потом другая ухватилась за петлю на его шее. Они сорвали ее, со злобой отшвырнули, она извивалась, как уж.

«Наденьте, наденьте опять!» Ему казалось, что он крикнул это своим рукам, ибо муки, последовавшие за ослаблением петли, превзошли все испытанное им до сих пор. Шея невыносимо болела; голова горела, как в огне; сердце, до сих пор слабо бившееся, подскочило к самому горлу, стремясь вырваться наружу. Все тело корчило в мучительных конвульсиях. Но непокорные руки не слушались его приказа. Они били по воде сильными, короткими ударами сверху вниз, выталкивая его на поверхность. Он почувствовал, что голова его поднялась над водой; глаза ослепило солнце; грудная клетка судорожно расширилась — и в апогее боли его легкие наполнились воздухом, который он тут же с воплем исторгнул из себя.

Теперь он полностью владел своими чувствами. Они даже были необычайно обострены и восприимчивы. Страшное потрясение, перенесенное его организмом, так усилило и утончило их, что они отмечали то, что раньше было им недоступно. Он ощущал лицом набегающую рябь и по очереди различал звук каждого толчка воды. Он смотрел на лесистый берег, видел отдельно каждое дерево, каждый листик и жилки на нем, все вплоть до насекомых в листе — цикад, мух с блестящими спинками, серых пауков, протягивающих свою паутину от ветки к ветке. Он видел все цвета радуги в капельках росы на миллионах травинок. Жужжание мошкары, плясавшей над водоворотами, трепетание крылышек стрекоз, удары лапок жука-плавунца, похожего на лодку, приподнятую веслами, — все это было внятной музыкой. Рыбешка скользнула у самых его глаз, и он услышал шум рассекаемой ею воды.

Он всплыл на поверхность спиной к мосту; в то же мгновение видимый мир стал медленно вращаться вокруг него, словно вокруг своей оси, и он увидел мост, укрепление на откосе, капитана, сержанта, обоих солдат — своих па-

лачей. Силуэты их четко выделялись на голубом небе. Они кричали и размахивали руками, указывая на него; капитан выхватил пистолет, но не стрелял; у остальных не было в руках оружия. Их огромные жестикулирующие фигуры были нелепы и страшны.

Вдруг он услышал громкий звук выстрела, и что-то с силой ударило по воде в нескольких дюймах от его головы, обдав ему лицо брызгами. Опять раздался выстрел, и он увидел одного из часовых, — ружье было вскинута, над дулом поднимался сизый дымок. Человек в воде увидел глаз человека на мосту, смотревший на него сквозь щель прицельной рамки. Он отметил серый цвет этого глаза и вспомнил, что серые глаза считаются самыми зоркими и что будто бы все знаменитые стрелки сероглазы. Однако этот сероглазый стрелок промахнулся.

Встречное течение подхватило Факуэра и снова повернуло его лицом к лесистому берегу. Позади него раздался отчетливый и звонкий голос, и звук этого голоса, однотонный и певучий, донесся по воде так внятно, что прорвал и заглушил все остальные звуки, даже журчание воды в его ушах. Факуэр, хоть и не был военным, достаточно часто посещал военные лагеря, чтобы понять грозный смысл этого нарочито мерного, протяжного напева; командир роты, выстроенной на берегу, вмешался в ход событий. Как холодно и неумолимо, с какой уверенной невозмутимой модуляцией, рассчитанной на то, чтобы внушить спокойствие солдатам, с какой обдуманной раздельностью прозвучали жесткие слова:

— Рота, смирно!... Ружья к плечу!... Готовься... Целься... Пли!

Факуэр нырнул — нырнул как можно глубже. Вода взревела в его ушах, словно то был Ниагарский водопад, но он все же услышал приглушенный гром залпа и, снова всплывая на поверхность, увидел блестящие кусочки металла, странно сплюсненные, которые, покачиваясь, медленно опускались на дно. Некоторые из них коснулись его лица и рук, затем отделились, продолжая опускаться. Один кусочек застрял между воротником и шеей; стало горячо, и Факуэр его вытащил.

Когда он, задыхаясь, всплыл на поверхность, он понял, что пробыл под водой долго; его довольно далеко отнесло течением — прочь от опасности. Солдаты кончали перезаряжать ружья; стальные шомполы, выдернутые из стволов, все сразу блеснули на солнце, повернулись в воздухе и стали обратно в свои гнезда. Тем временем оба часовых снова выстрелили по собственному почину — и безуспешно.

Беглец видел все это, оглядываясь через плечо; теперь он уверенно плыл по течению. Мозг его работал с такой же энергией, как его руки и ноги; мысль приобрела быстроту молнии.

«Лейтенант, — рассуждал он, — допустил ошибку, потому что действовал по шаблону; больше он этого не сделает. Увернуться от залпа так же легко, как от одной пули. Он, должно быть, уже скомандовал стрелять вразброд. Плохо дело, от всех не спасешься».

Но вот в двух ярдах от него — чудовищный всплеск и тотчас же громкий стремительный гул, который, постепенно слабея, казалось, возвращался по воздуху к форту и наконец завершился оглушительным взрывом, всколыхнувшим реку до самых глубин! Поднялась водяная стена, накренилась над ним, обрушилась на него, ослепила, задушила. В игру вступила пушка. Пока он отряхивался, высвобождаясь из вихря вспененной воды, он услышал над головой жужжанье отклонившегося ядра, и через мгновение из лесу донесся треск ломающихся ветвей.

«Больше они этого не сделают, — думал Факуэр, — теперь они пустят в ход картечь. Нужно следить за пушкой; меня предостережет дым — звук ведь запаздывает; он отстает от выстрела. А пушка хорошая!»

Вдруг он почувствовал, что его закружило, что он вертится волчком. Вода, оба берега, лес, оставшийся далеко позади мост, укрепление и рота солдат — все перемешалось и расплылось. Предметы заявляли о себе только своим цветом. Бешеное вращение горизонтальных цветных полос — вот все, что он видел. Он попал в водоворот, и его крутило и несло к берегу с такой быстротой, что он испытывал головокружение и тошноту. Через несколько секунд его выбросило на песок левого — южного — берега, за небольшим выступом, скрывшим его от врагов. Внезапно прерванное движение, ссадина на руке, пораненной о камень, привели его в чувство, и он заплакал от радости. Он зарывал пальцы в песок, пригоршнями сыпал его на себя и вслух благословлял его. Крупные песчинки сияли, как алмазы, как рубины, изумруды: они походили на все, что только есть прекрасного на свете. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями, он любовался стройным порядком их расположения, вдыхал аромат их цветов. Между стволами струился таинственный розоватый свет, а шум ветра в листве звучал, как пение эоловой арфы. Он не испытывал желания продолжать свой побег, он охотно остался бы в этом волшебном уголке, пока его не настигнут.

Свист и треск картечи в ветвях высоко над головой нарушили его грезы. Канонир, обозлившись, наугад послал ему прощальный привет. Он вскочил на ноги, бегом взбежал по отлогому берегу и укрылся в лесу.

Весь день он шел, держа направление по солнцу. Лес казался бесконечным; нигде не видно было ни прогалины, ни хотя бы охотничьей тропы. Он и не знал, что живет в такой глуши. В этом открытии было что-то жуткое.

К вечеру он обессилел от усталости и голода. Но мысль о жене и детях гнала его вперед. Наконец он выбрался на дорогу и почувствовал, что она приведет его к дому. Она была широкая и прямая, как городская улица, но, по-видимому, никто по ней не ездил. Поля не окаймляли ее, не видно было и строений. Ни намек на человеческое жильё, даже ни разу не залаяла собака. Черные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги, сходясь в одной точке на горизонте, как линии на перспективном чертеже. Взглянув вверх из этой расселины в лесной чаще, он увидел над головой крупные зо-



лотые звезды — они соединялись в странные созвездия и показались ему чужими. Он чувствовал, что их расположение имеет тайный и зловещий смысл. Лес вокруг него был полон диковинных звуков, среди которых — раз, второй и снова — он ясно расслышал шепот на незнакомом языке.

Шея сильно болела, и, дотронувшись до нее, он убедился, что она страшно распухла. Он знал, что на ней черный круг — след веревки. Глаза были выпучены, он уже не мог закрыть их. Язык распух от жажды: чтобы унять в нем жар, он высунул его на холодный воздух. Какой мягкой травой заросла эта неземная дорога! Он уже не чувствовал ее под ногами!

Очевидно, несмотря на все мучения, он уснул на ходу, потому что теперь перед ним была совсем другая картина, — может быть, он просто очнулся от бреда. Он стоит у ворот своего дома. Все осталось как было, когда он покинул его, и все радостно сверкает на утреннем солнце. Должно быть, он шел всю ночь. Толкнув калитку и сделав несколько шагов по широкой аллее, он видит воздушное женское платье; его жена, свежая, спокойная и красивая, спускается с крыльца ему навстречу. На нижней ступеньке она останавливается и поджидает его с улыбкой неизъяснимого счастья, — вся изящество и благородство. Как она прекрасна! Он кидается к ней, раскрыв объятия. Он уже хочет прижать ее к груди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею; ослепительно-белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него — затем мрак и безмолвие!

Пэйтон Факуэр был мертв; тело его, с переломанной шеей, мерно покачивалось под стропилами моста через Совиный ручей.



БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ



Джером Сиринг, рядовой армии генерала Шермана, стоявшей лицом к лицу с неприятелем в горах Кенесо, штат Джорджия, отошел от небольшой группы офицеров, с которыми вел вполголоса какие-то переговоры, перешагнув через узкую траншею и скрылся в лесу. Никто из оставшихся по эту сторону окопов не сказал ему ни слова, и он, проходя мимо, даже не кивнул на прощанье, но все поняли, что этому храброму человеку поручено какое-то опасное дело. Джером Сиринг был рядовым, однако не нес службы в строю, а был прикомандирован к штабу дивизии и значился в списках как ординарец. Понятие «ординарец» включает множество смыслов. Ординарец может быть связным, писарем, денщиком — кем угодно. Иногда он исполняет обязанности, не предусмотренные военными приказами и уставами. Характер поручений зависит от его личных способностей, от расположения к нему начальства, наконец просто от случая. Рядовой Сиринг — несравненный стрелок, молодой, находчивый, стойкий, не ведающий страха, был разведчиком. Генерал, командовавший этой дивизией, не любил подчиняться приказам слепо. Действовала ли дивизия самостоятельно или же занимала лишь участок фронта, он хотел точно представлять себе, что делается перед его позициями. Генерала не удовлетворяли официальные сведения о его визави, получаемые из обычных источников, ему мало было сообщений, поступающих от командира корпуса или от дозоров и секретов после стычек: он желал знать больше. Вот зачем нужен был Джером Сиринг с его редким бесстрашием, превосходной ориентировкой в лесу, острым глазом и правдивым языком. На этот раз задание было простое: как можно ближе подобраться к неприятельским позициям и разузнать все, что будет в его силах.

Через несколько минут он уже был на линии передовых постов: дозорные лежали по двое, по трое или по четыре за невысокими земляными насыпями; землю накопили из мелких углублений, в которых солдаты лежали, прусу-

нув винтовки между зелеными ветками, маскировавшими прикрытия. Отсюда до передовых позиций врага сплошной стеной тянулся лес, торжественный и молчаливый; требовалось большое воображение, чтобы представить себе, что он полон вооруженных людей, бдительных и настороженных, что он таит в себе военную угрозу. Задержавшись на минуту в одном из стрелковых окопчиков, чтобы сообщить товарищам о полученном задании, Сиринг осторожно пополз вперед и вскоре исчез в густых зарослях кустарника.

— Только его и видели, — заметил один из солдат. — Оставил бы лучше свою винтовку мне — из нее еще немало наших уложат.

Сиринг полз вперед, используя как прикрытия каждую кочку, каждый куст. Глаза его подмечали все, уши улавливали малейший звук. Он старался дышать как можно тише и, стояло под ним треснуть сучку, прижимался к земле. Работа была медленная, но отнюдь не скучная — опасность делала ее волнующей. Однако волнение Сиринага ни в чем не проявлялось: пульс бился ровно, нервы были так спокойны, словно он выслеживал воробья.

«Времени прошло как будто много, — подумал он, — но я, должно быть, ушел недалеко — ведь я еще жив».

Его насмешил такой способ измерять расстояние, он улыбнулся и пополз дальше. Вдруг он распластался на земле и замер. Сквозь просвет в кустах он разглядел невысокий холмик желтой глины — неприятельский стрелковый окоп. Немного погодя он осторожно, дюйм за дюймом, поднял голову, затем, широко расставив руки, приподнялся, не спуская при этом напряженного взгляда с насыпи. В следующую секунду он выпрямился во весь рост и, уже не прячась, быстро зашагал с винтовкой наперевес. По каким-то ему одному известным приметам он понял, что враг оставил эти места.

Желая окончательно в этом удостовериться, прежде чем вернуться с донесением о столь важном событии, Сиринг двинулся вперед через линию покинутых окопов, перебегая от укрытия к укрытию в поредевшем лесу и в то же время зорко высматривая, не притаился ли где-нибудь враг. Так он очутился на границе плантации — одной из тех покинутых, запущенных усадеб, каких стало много к концу войны. Вся она заросла ежевикой. Повалившаяся изгородь, пустые строения с зияющими проемами на месте дверей и окон придавали плантации жалкий, неприглядный вид. Внимательно оглядев местность из-за группы молодых сосенок, Сиринг перебежал поле и фруктовый сад, направляясь к строению, стоявшему на отлете на небольшом возвышении. Оттуда, полагал он, просматривалось большое пространство в том направлении, в котором, видимо, отошел неприятель. Строение стояло на четырех сваях футов десять высотой. От него осталась, по существу, одна крыша: пол единственной комнаты провалился, балки и доски грудой лежали на земле или свисали вниз в разные стороны, только одним концом удерживаясь в гнездах. Сваи тоже утратили вертикальное положение. Казалось, стоит дотронуться пальцем — и все сооружение рухнет.

Спрятавшись среди обломков настила и балок, Сиринг обвел взглядом открытую местность, протянувшуюся на полмили до отрога горы Кенесо. Дорога, которая переваливала через отрог, была забита войсками, это был арьергард отступавшего неприятеля. На утреннем солнце поблескивали стволы винтовок.

Сиринг узнал теперь все, что он рассчитывал узнать. Долг предписывал ему как можно скорее вернуться и доложить о своем открытии. Но серая колонна пехоты, медленно взбиравшаяся по горной дороге, представляла соблазнительную цель. Его винтовке — обыкновенному спрингфилду, только снабженному особой мушкой и двойным шепталом, — ничего не стоило послать унцию свинца в самую гущу врага. Скорей всего это не повлияло бы на длительность и исход войны, но ведь убивать — ремесло солдата. Если он при этом еще и хороший солдат, то и привычка. Сиринг взвел курок и приложил палец к спусковому крючку.

Но в начале начал было предрешено, что рядовой Сиринг никого не убьет в то солнечное летнее утро и никого не известит об отступлении южан. События неисчислимыми веками так складывались в удивительной мозаике, смутно различимые части которой мы именуем историей, что задуманные Сирингом поступки нарушили бы гармонию рисунка.

Высшая сила, распоряжающаяся тем, чтобы события развивались согласно предначертанию, лет двадцать пять назад приняла меры против возможного отклонения от предначертанного плана. Она позаботилась о появлении на свет младенца мужского пола в деревушке у подножья Карпат, старательно вырастила его, помогла получить образование, направила его стремления в русло военной карьеры, а в положенное время сделала артиллерийским офицером. В результате стечения бесчисленного множества благоприятных факторов и их перевесу над бесчисленным множеством неблагоприятных этот артиллерийский офицер был поставлен перед необходимостью нарушить военную дисциплину. Дабы избежать наказания, он покинул родную страну. Та же высшая сила направила его в Новый Орлеан (а не в Нью-Йорк), где на пристани его уже поджидал вербовщик. Офицера завербовали, потом повысили в чине, после чего события развернулись таким образом, что в настоящий момент он командовал батареей южан милях в двух от того места, где разведчик северян, Джером Сиринг, взвел курок. Ничто не было забыто: на каждой ступени жизни обоих этих людей, жизни их предков и современников и даже современников их предков совершалось именно то событие, которое должно было дать заранее предусмотренный результат. Будь упущено хотя бы одно звено в этой длинной цепи взаимосвязанных обстоятельств, рядовой Сиринг, возможно, выстрелил бы вдогонку отступающим южанам и, может статься, промахнулся бы. Случилось же так, что капитан армии конфедератов, ожидая, когда наступит его черед сняться и отойти, навел от нечего делать полевое орудие на гребень холма, где, как ему показалось, стояли офицеры-северя-

не, и выстрелил. Получился перелет. Джером Сиринг, оттянув назад ударник и глядя на удалявшихся южан, обдумывал, куда лучше послать пулю с таким расчетом, чтобы отнять мужа у жены, отца у ребенка или сына у матери, а если повезет, то обездолить всех троих сразу (хотя рядовой Сиринг неоднократно отказывался от повышения, он был не вовсе лишен честолюбия). Внезапно он услышал в воздухе резкий свист, какой производит тело хищной птицы, камнем падающей на добычу. Быстрее, чем это дошло до его сознания, свист перерос в хриплый ужасающий рев, и снаряд ринулся вниз, с оглушительным грохотом ударил в одну из свай, поддерживавших беспорядочное нагромождение досок, раздробил в щепы ветхое сооружение и с громким треском обрушил его на землю, взметнув тучи слепящей пыли!

Когда Джером Сиринг пришел в себя, он не сразу понял, что произошло. Он не сразу открыл глаза. Ему представилось, будто он умер и похоронен. Он старался вспомнить слова заупокойной службы. Ему чудилось, будто жена стоит, преклонив колени, на его могиле и тяжесть ее тела вместе с землей давит ему на грудь. Обе они, вдова и земля, уже раздавили гроб. Если дети не уговорят мать пойти домой, он скоро задохнется. Им овладело чувство обиды. «Я не могу заговорить с ней, — думал он, — ведь у мертвых нет голоса. А если я открою глаза, в них набьется земля».

Он открыл глаза: безгранично голубой простор, неровная кайма верхушек деревьев, а на переднем плане, загораживая деревья, высокий, какой-то угловатый серый бугор, исчерченный беспорядочным переплетением прямых линий, и в самом центре его — блестящее металлическое кольцо. Все это находилось недостижимо далеко, на таком неподдающемся измерению расстоянии, что Сиринг почувствовал усталость и закрыл глаза. В тот же миг он ощутил невыносимо яркий свет. В ушах у него стоял тихий, мерный гул далекого морского прибоя, набегающего волна за волной на песок, и, родившись из этого гула, а может быть и вне его, но слившись с этим непрестанным ровным звуком, возникли отчетливые слова:

«Джером Сиринг, ты попался, как крыса в капкан... капкан... капкан».

Внезапно наступила мертвая тишина, беспросветный мрак, бесконечный покой, и Джером Сиринг, прекрасно сознавая свое крысиное положение, твердо уверенный в том, что попал в капкан, вспомнил все, что с ним случилось. Нимало не взволнованный, он снова открыл глаза, собираясь произвести разведку, определить силы врага, выработать план защиты.

Он полулежал, припертый к массивной балке другой такой же балкой, проходившей у него поперек груди; ему удалось слегка отодвинуться, так что она перестала давить на него, но о том, чтобы столкнуть ее с места, нечего было и думать. Скоба, прикрепленная к ней под прямым углом, притиснула Сиринга слева к груде досок и лишила его возможности действовать левой рукой. Ноги, слегка раздвинутые, были завалены снизу до колен грудой обломков и мусора, закрывавшей от него перспективу. Голова его была зажата точно в тисках, он



мог только переводить взгляд и двигать подбородком — не больше. Лишь правая рука была частично свободна.

— Выручай нас, — сказал он правой руке.

Но он не мог вытащить ее из-под тяжелой балки, не мог высунуть наружу дальше, чем на шесть дюймов.

Сиринг не был тяжело ранен, не испытывал боли. Сильный удар по голове, нанесенный обломком раздробленного столба, совпал с внезапным и страшным потрясением, на мгновение лишив его чувств. Бессознательное состояние, включая то время, когда он галлюцинировал, продолжалось, вероятно, не больше нескольких секунд: еще даже не улеглась пыль от рухнувшего строения.

Сиринг попытался ухватиться правой рукой за балку, проходившую поперек его груди, хотя и не касавшуюся ее. Из этого ничего не вышло. Он не в состоянии был опустить плечо настолько, чтобы высунуть локоть за нижний край балки, а без этого ему было не согнуть руку в локте. Скоба, образуя угол с балкой, не давала ему ничего предпринять с левой стороны, так как промежуток между скобой и его телом был чуть не вполовину меньше расстояния от кисти до локтя. Таким образом, он не мог дотронуться до нее. Убедившись в невозможности сдвинуть балку, он оставил безуспешные попытки и принялся думать, каким образом добраться до обломков, заваливших ему ноги.

Стараясь решить этот вопрос, он разглядывал груду обломков, и тут его внимание приковал к себе предмет на уровне его глаз, выглядевший как блестящее металлическое кольцо. Сперва ему показалось, будто это кольцо, диаметром чуть побольше полдюйма, заполнено абсолютно черным веществом. И вдруг его осенило, что чернота — это просто тень, а кольцо не что иное, как дуло его винтовки, высунувшейся из развалин. Понадобилось не так много времени, чтобы он с удовлетворением убедился в правильности своей догадки (если тут вообще уместно говорить об удовлетворении). Поочередно прищуривая глаза, Сиринг рассмотрел ствол до того места, где он зарывался в мусор. Каждым глазом он видел соответствующую сторону ствола, и, по видимому, под одним и тем же углом. Когда он смотрел правым глазом, оружие казалось направленным влево от его головы — и наоборот. Он не видел ствола сверху, но видел под острым углом нижнюю поверхность. Короче говоря, дуло винтовки было нацелено в самую середину его лба. Когда Сиринг осознал это обстоятельство, когда вспомнил, что перед самой катастрофой, повлекшей за собой эту нелепую ситуацию, он взвел курок и поставил спусковой крючок в такое положение, что малейшее прикосновение к нему означало бы выстрел, ему стало не по себе. Но это был отнюдь не страх. Джерому Сирингу был привычен вид винтовок, да и пушек тоже, с такой именно точки зрения. Ему даже стало забавно, когда он вдруг припомнил случай, происшедший с ним при взятии штурмом Миссионерского хребта: подойдя к одной из вражеских амбразур, откуда недавно тяжелое оружие извергало в осаждаю-

щих один за другим заряды картечи, он решил, что орудие отвели, ибо ничего не увидел в амбразуре, кроме медного кольца. Чем было это кольцо, он сообразил как раз вовремя, чтобы отпрыгнуть в сторону, когда оно выбросило еще один железный плевок на кишевший людьми склон. Увидеть направленное на себя огнестрельное оружие, да еще когда за ним сверкают враждебные глаза — обычный эпизод в повседневной жизни солдата. Солдат для этого и существует. И все же, отнюдь не находя сложившуюся ситуацию приятной, рядовой Сиринг отвел глаза. Пошарив было без толку правой рукой, он сделал безрезультатную попытку выпростать левую руку. Затем он попробовал освободить зажатую голову, — он не понимал, что удерживает ее в неподвижности, и это особенно раздражало его. Потом он попытался вытащить ноги, напрягая сильные мышцы, но тут же спохватился, что, сдвигая с места наваленный мусор, может задеть винтовку и разрядить ее. Он не мог понять, почему она не выстрелила раньше, когда разорвался снаряд, но память тут же подсказала ему аналогичные случаи. В частности, он вспомнил, как в минуту какого-то самозабвения он схватил винтовку за дуло и вышиб прикладом мозги другому джентльмену и только потом заметил, что оружие, которым он столь усердно размахивал, было заряжено и курок взведен до отказа. Будь этот факт известен его противнику, тот, несомненно, сопротивлялся бы дольше. Сиринг всегда с улыбкой вспоминал эту оплошность неопытного новичка, но сейчас ему было не до улыбки. Он снова устремил глаза на дуло: ему показалось, что оно передвинулось: оно теперь было как будто ближе.

Он опять отвел глаза. Верхушки далеких деревьев, росших позади плантации, заинтересовали его, он никогда прежде не замечал, как они легки и пушисты, как густа синева неба, даже между ветвями, где зелень как бы высветила его. А прямо над ним небо казалось почти черным.

«Днем здесь будет пекло, — подумал он. — Интересно, с какой стороны солнце».

Судя по теням, лицо его было обращено на север. По крайней мере, солнце не будет бить в глаза, а кроме того, север... все-таки на севере его жена и дети.

— Это еще что? — воскликнул он вслух. — Они-то здесь при чем?

Он закрыл глаза.

— Раз я все равно тут застрял, почему бы мне не поспать? Мятежники ушли, а наши наверняка завернут сюда в надежде пожить. Меня найдут.

Но он не мог заснуть. Он ощутил какую-то боль в самой середине лба — сначала тупую, едва заметную, но постепенно все нарастающую и нарастающую. Он открыл глаза — боль исчезла, закрыл — опять вернулась.

—Черт! — сказал он, ни к кому не обращаясь, и уставился в небо.

Он услышал птичьи голоса, услышал особенный металлический оттенок в щебете жаворонка, похожий на лязг скрестившихся звонких клинков. Он погрузился в приятные воспоминания детства, он снова играл с братом и сестрой, носился с криками по полям, распугивая сидящих в траве жаворонков, входил

в сумрачный лес, робкими шагами ступал по еле заметной тропинке, ведущей к скале Привидений, и, наконец, слушая громкий стук своего сердца, стоял перед пещерой Мертвеца, горя желанием проникнуть в ее страшную тайну. Впервые в жизни он обратил внимание на то, что вход в эту таинственную пещеру окружен металлическим кольцом. Внезапно все исчезло, и он снова, как раньше, смотрел в дуло своей винтовки. Но если прежде ему казалось, что оно приблизилось, то теперь оно отодвинулось недостижимо далеко, став от этого еще более угрожающим. Сиринг вскрикнул и, пораженный тем, что послышалось в его голосе, — ноткой страха, — оправдываясь, солгал себе: «Если я не буду кричать во все горло, я рискую остаться тут, пока не подохну».

Он больше не избегал зловещего взора оружейного дула. Если он и отводил на минутку глаза, то только чтобы взглянуть (хотя ему ничего не было видно из-за развалин), не идет ли кто-нибудь на помощь. А затем, повинуясь властному зову, он снова устремлял взгляд на винтовку. Если он закрывал глаза, то только от усталости, но тотчас же острая боль в середине лба — предчувствие и боязнь пули — вынуждала его открыть их.

Умственное и нервное напряжение становилось невыносимым; природа иногда приходила ему на помощь, и он терял сознание. Один раз, придя в себя, он ощутил резкую, жгучую боль в правой руке; сжав несколько раз пальцы и потерев ими ладонь, он почувствовал, что они стали мокрыми и скользкими. Он не видел свою руку, но и на ощупь понял, что ладонь в крови. В момент беспомощности он колотил рукой по зазубренным краям обломков и исколол ее. Он решил, что должен встретить конец как подобает мужчине. Он простой, обыкновенный солдат, не верящий в бога, не понимающий всяких там философских мудрствований. Он не может умереть как герой, произнося напоследок красивые и возвышенные слова, если бы даже было кому их услышать. Но он может умереть «молодцом», что он и сделает. Только бы знать, когда винтовка выстрелит!

Несколько крыс, вероятно обитательниц сарая, принохиваясь, забегали вокруг него. Одна из них влезла на кучу мусора, в которой застряла винтовка, за ней вторая, третья. Сиринг следил за ними сперва равнодушно, затем с дружелюбным интересом, потом в его оцепевшем мозгу мелькнула мысль, что они могут задеть за спусковой крючок, и он закричал на них:

— Убирайтесь! Нечего вам тут делать!

Твари убежали. Они вернутся позднее, начнут кусать ему лицо, отъедят нос, перегрызут горло, — он знал, что так будет, но надеялся, что успеет до тех пор умереть.

Теперь уже ничто не могло заставить Сиринга отвести глаза от маленького металлического кольца с черной середкой. Боль во лбу стала неистовой и непрерывной. Она постепенно проникала все глубже в мозг, пока ее не остановила деревянная преграда за его головой. Тогда она сделалась совсем невыносимой. Сиринг принялся ожесточенно бить израненной рукой по щебню,

чтобы заглушить эту безумную боль. Она пульсировала медленно, равномерно, и каждый последующий толчок был резче предыдущего, и время от времени он вскрикивал, так как ему казалось, что он уже ощущает в себе роковую пулю. Он не думал ни о доме, ни о жене, ни о детях, ни о родине, ни о славе. Все изгладилось из летописи его памяти. Мир перестал существовать — от него не осталось и следа. Здесь, в этом хаосе досок и бревен, сосредоточилась для него вселенная. Здесь заключена бесконечность; каждый толчок пульсирующей боли — бессмертная жизнь. Каждый из них отбивал вечность.

Джером Сириг, неустрашимый человек, грозный противник, стойкий и полный решимости боец, побледнел, как призрак. Нижняя челюсть у него отвалилась, глаза вылезли из орбит, он дрожал каждой жилкой, все тело его покрылось холодным потом, он пронзительно закричал. Это не было безумием — это был страх.

Шаря кругом истерзанной, кровоточащей рукой, он нащупал наконец какую-то планку, потянул за нее и почувствовал, что она поддается. Она лежала параллельно его телу; сгибая руку в локте насколько позволяло ограниченное пространство, он стал понемногу, на дюйм, на два, подтягивать планку. Наконец она отделилась от груды обломков, теперь он мог всю ее поднять с земли. Надежда блеснула в его душе: а что, если удастся поднять ее вверх, вернее отодвинуть назад, а потом концом сшибить винтовку? Или же, если та засела слишком крепко, держать планку таким образом, чтобы пуля отклонилась в сторону? Он стал толкать планку назад, дюйм за дюймом, стараясь не дышать, чтобы не погубить свой замысел, ни на секунду не отводя глаз от винтовки, — она ведь могла в последний момент воспользоваться ускользавшим от нее случаем. Чего-то он, во всяком случае, добился: поглощенный попыткой спасти себя, он не так остро ощущал боль в голове и перестал вскрикивать. Но он все еще был перепуган насмерть, и зубы у него стучали, как кастаньеты.

Планка перестала повиноваться движениям его руки. Он дернул что было силы, сдвинул ее, насколько мог, в сторону, но она натолкнулась позади на какое-то препятствие; ее передний конец находился еще чересчур далеко, им нельзя было расчистить кучу мусора и достать до ствола винтовки. Планка, собственно, почти доходила до спускового предохранителя, который не был засыпан обломками. Сириг кое-как видел его правым глазом. Он попытался переломить планку рукой, но ему не доставало для этого точки опоры. Когда он понял, что побежден, страх вернулся к нему с удесyтеренной силой. Черное отверстие, казалось, грозило еще более жестокой и неминуемой смертью в наказание за его бунт. Будущая пулевая рана в голове причиняла мучительную боль. Его опять начала бить дрожь.

Неожиданно он успокоился. Дрожь прекратилась. Он стиснул зубы, нахмурился. Он еще не исчерпал всех средств к освобождению. У него родился новый замысел — новый план боя. Приподняв передний конец планки, он принялся осторожно пропихивать его сквозь мусор вдоль винтовки, пока ко-

нец не уперся в спусковой предохранитель. Сиринг медленно подвигал конец в сторону, пока не почувствовал, что предохранитель освобожден, и тогда, закрыв глаза, с силой нажал на крючок. Выстрела не последовало: винтовка разрядилась, выпав из его руки уже тогда, когда обрушилось строение. Но Джером Сиринг был мертв. Лейтенант Адриан Сиринг, начальник передового дозора, расположившегося в том месте линии траншей, где, отправляясь на разведку, их перешел его брат Джером, сидел за бруствером и внимательно прислушивался. Ни один самый слабый звук не ускользал от него: крик птицы, верещание белки, шум ветра в соснах — все нетерпеливо фиксировал его напряженный слух. Внезапно где-то впереди раздался глухой непонятный шум, похожий на ослабленный расстоянием грохот падающего здания. В ту же минуту к Адриану Сирингу сзади подошел адъютант и отдал честь.

— Лейтенант, — сказал он, — полковник приказывает продвинуться вперед и произвести разведку. Если неприятель не будет обнаружен, продолжайте продвижение, пока не получите приказа остановиться. Есть основания думать, что враг отвел войска.

Лейтенант молча кивнул, адъютант ушел. Сержанты вполголоса отдали команду, и через минуту солдаты покинули окопы, рассыпным строем двинулись вперед. Лейтенант машинально посмотрел на часы: шесть часов восемнадцать минут.

Цепочка застрельщиков-северян растянулась по плантации, — их путь лежал к горе. С обеих сторон они обошли разрушенную постройку, ничего не заметив. Немного позади за ними следовал командир, лейтенант Адриан Сиринг. Он с любопытством посмотрел на развалины и увидел труп, наполовину погребенный под досками и балками. Труп был так густо покрыт пылью, что одежда его выглядела как серая форма южан. Лицо мертвеца было изжелтабледным, щеки ввалились, виски запали, лобные кости резко выдавались, отчетло лоб казался неестественно узким, верхняя губа слегка задралась и обнажила судорожно стиснутые зубы. Волосы намокли, лицо было влажным, как росистая трава вокруг.

С того места, где стоял офицер, винтовки не было видно. По-видимому, человек был убит при падении дома.

— Лежит не меньше недели, — отрывисто произнес офицер и прошел мимо. При этом он машинально достал часы, как бы желая проверить, верно ли он определил время: шесть часов сорок минут.



СТРАЖ МЕРТВЕЦА

1



одной из верхних комнат необитаемого дома, расположенного в той части Сан-Франциско, которая известна под названием Северного Берега, лежал покрытый саваном труп. Было около девяти часов вечера, комнату слабо освещала единственная свеча. Хотя погода стояла теплая, оба окна, вопреки обычаю предоставлять покойнику как можно больше воздуха, были закрыты и шторы опущены. Обстановка комнаты состояла всего из трех предметов: кресла, пюпитра, на котором горела свеча, и кухонного стола, на котором лежало тело. Окажись здесь человек наблюдательный, он заметил бы, что эти предметы, в том числе и труп, внесены сюда лишь недавно, ибо на них не было пыли, тогда как все остальное в комнате было густо покрыто ею, а в углах висела паутина. Под простыней отчетливо вырисовывались контуры тела и даже угадывались черты лица, отличавшиеся той неестественной заостренностью, которая, как полагают, свойственна всем мертвецам, но на самом деле присуща лишь тем, кто перед смертью был изнурен тяжелой болезнью. Судя по тишине, стоявшей в комнате, можно было заключить, что окна выходят не на улицу. Они и в самом деле упирались в высокую скалу, в которую был встроен дом. В тот момент, когда часы на колокольне били девять, — так лениво и с таким безразличием к бегу времени, что нельзя было не удивиться, зачем они вообще брали на себя этот труд, — единственная дверь в комнате отворилась, и в комнату вошел человек. Дверь немедленно захлопнулась, как бы сама собой, раздался скрежет с трудом поворачиваемого ключа и щелканье замка, за дверью послышались удаляющиеся шаги, и человек по-видимому, оказался в заключении. Подойдя к столу, он постоял с минуту, глядя на тело, затем, слегка пожав плечами, отошел к одному из окон и приподнял шторы. Снаружи было совершенно темно; протерев пыль-

ное стекло, он обнаружил, что окно защищено прочной железной решеткой, заделанной в кладку на расстоянии нескольких дюймов от стекла. Вошедший осмотрел второе окно: то же самое. Это его нисколько не удивило, он даже не поднял створку.

Если он и был арестантом, то, видимо, арестантом покладистым. Покончив с осмотром, человек уселся в кресло, вынул из кармана книгу, придвинул пюпитр со свечой и начал читать.

Он был молод — не старше тридцати — смуглый, гладко выбритый, с каштановыми волосами. Лицо у него было худощавое, горбоносое, с широким лбом и твердым подбородком, являющимся, по мнению его обладателей, признаком решительного характера. Глаза были серые, взгляд пристальный, не перебегавший бесцельно с предмета на предмет. Сейчас его глаза были главным образом прикованы к книге, но время от времени молодой человек отрывался от чтения и устремлял взгляд на мертвое тело, очевидно не под влиянием какой-то зловещей притягательной силы, которая могла бы одолеть при подобных обстоятельствах и смельчака, и не из сознательного сопротивления страху, заставляющему отворачивать голову человека робкого. Он глядел на труп так, словно в книге ему попадалось что-то напоминающее о том, где он находится. Ясно было, что этот страж мертвеца исполняет свою обязанность как ему и подобает, разумно и с самообладанием.

Примерно через полчаса он, казалось, закончил главу и спокойно отложил книгу в сторону. Затем встал и, подняв пюпитр, перенес его в угол к окну, взял свечу и вернулся к пустому камину, перед которым до этого сидел. Немного спустя он подошел к покойнику, приподнял край простыни и откинул ее, — показалась копна темных волос и темный платок, сквозь который черты обозначились еще резче, чем прежде. Заслонив глаза от света свободной рукой, он смотрел на своего неподвижного компаньона спокойно, серьезно и почтительно. Удовлетворенный осмотром, он снова натянул простыню на лицо, возвратился на прежнее место, взял несколько спичек с подсвечника, положил их в боковой карман своего широкого пальто и сел в кресло. Затем, вынув свечу из подсвечника, посмотрел на нее критическим взглядом, как бы подсчитывая, на сколько ее хватит: от нее оставалось меньше двух дюймов — через час он очутится в темноте! Он вставил свечу обратно в подсвечник и задул ее.

2

В кабинете врача на Кэрни-стрит за столом сидело трое мужчин. Они пили пунш и курили. Приблизилась полночь, пунша было выпито много. Старшему из трех, д-ру Хелберсону, хозяину этой квартиры, было около тридцати лет, другим еще меньше. Все трое были медики.

— Суеверный страх, с которым живые относятся к мертвым, — сказал д-р Хелберсон, — страх наследственный и неизлечимый. Стыдиться его следует не больше, чем стыдятся, например, наследственной неспособности к математике или склонности ко лжи.

Гости засмеялись.

— Разве человек не должен стыдиться того, что он лжет? — спросил младший из трех, пока еще студент.

— Милый Харпер, об этом я ничего не сказал. Одно дело — склонность ко лжи, и совсем другое — сама ложь.

— Но вы думаете, — сказал третий, — что это суеверное чувство, этот явно бессмысленный страх перед мертвым свойственен абсолютно всем? Я, например, его не ощущаю.

— И все же «он в вас заложен», — возразил Хелберсон. — Требуются только подходящие условия — «удобный миг», как говорит Шекспир, — чтобы этот страх проявился самым неприятным образом. Разумеется, врачи и военные не так подвержены этому чувству, как прочие.

— Врачи и военные... Почему вы не прибавите: и палачи? Давайте уж вспомним все категории убийц.

— О нет, дорогой Мэнчер, суды присяжных не дают палачам привыкнуть к смерти настолько, чтобы она перестала внушать им страх.

Молодой Харпер, взяв со столика сигару, снова сел на место.

— Какими, по-вашему, должны быть условия, чтобы любой человек, рожденный женщиной, неминуемо осознал бы, что и он причастен нашей общей слабости? — спросил он довольно замысловато.

— Ну, скажем, если бы человека заперли на всю ночь наедине с трупом — в темной комнате — в пустом доме, — где нет даже одеяла, чтобы закутаться в него с головой и не видеть страшного зрелища, и он пережил бы ночь, не сойдя с ума, он был бы вправе похвалиться, что не рожден женщиной и даже не является продуктом кесарева сечения, как Макдуф¹.

— Я уж думал, что вы никогда не кончите перечислять условия, — сказал Харпер. — Ну что ж, я знаю человека, который, не будучи ни врачом, ни военным, сделает это на пари и примет все условия, какую бы вы ставку не назначили.

— Кто он такой?

— Его зовут Джерет, он приехал сюда, в Калифорнию, из Нью-Йорка, как и я. У меня нет денег, чтобы поставить на него, но сам он рискнет любой суммой.

— Откуда вы знаете?

— Да его хлебом не корми, дай только побиться об заклад. Что же касается страха, то, насколько мне известно, Джерет считает его какой-то кожной болезнью или особого рода ересью.

¹ Макбет, как обещали ему ведьмы, мог не бояться никого, кто рожден женщиной. Макдуф был вынут из чрева матери, а следовательно, не был рожден женщиной и поэтому смог убить Макбета. (*Прим. перев.*)

- Как он выглядит? — Хелберсон понемногу начинал проявлять интерес.
- Немного похож на Мэнчера, — пожалуй мог бы даже сойти за его близнеца.
- Я принимаю вызов, — не раздумывая, проговорил Хелберсон.
- Чрезвычайно обязан вам за лестное сравнение, — медленно произнес Мэнчер, который уже начал дремать. — А не могу ли я войти в пари?
- Только не против меня, — сказал Хелберсон, — ваши деньги мне не нужны.
- Ладно, — сказал Мэнчер, — я буду трупом.
- Все засмеялись. Последствия этого сумасбродного разговора мы уже видели.

3

Мистер Джерет задул свечу, вернее сказать огарок, для того, чтобы прибереечь его на случай каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Может быть, он решил или хотя бы мельком подумал, что рано или поздно темнота все равно наступит, так уж лучше, если ему станет совсем невмоготу, иметь в запасе эту возможность рассеяться или даже успокоиться. Во всяком случае разумно было сохранить огарок хотя бы для того, чтобы смотреть на часы.

Погасив свечу и поставив ее рядом с собой на пол, он удобно расположился в кресле, откинулся назад и закрыл глаза, надеясь уснуть. Но его постигло разочарование: никогда в своей жизни Джерет не был так далек от сна, и через несколько минут он отказался от всяких попыток задремать. Но чем же заняться? Не мог же он бродить ощупью в темноте, рискуя расшибиться или, налетев на стол, потревожить покойника. Мы все признаем за мертвыми право на покой и свободу от всего грубого и насильственного. Джерету почти удалось убедить себя, что только такого рода соображения удержали его от рискованных прогулок и приковали его к креслу.

В то время как он размышлял над этим, ему почудилось, что в той стороне, где стоял стол, раздался слабый звук, но что это был за звук, он не понял. Джерет не повернул головы — стоит ли это делать в темноте? Но он слушал — почему бы и нет? И, прислушиваясь, он почувствовал головокружение и ухватился за ручки кресла. В ушах у него стоял странный звон, голова, казалось, вот-вот лопнет, одежда сдавливала грудь. Он недоумевал — что это? Неужели признаки страха? Внезапно, с долгим мучительным выдохом, грудь его опустилась. Он судорожно вздохнул, легкие его наполнились воздухом, головокружение прекратилось, и он понял, что прислушивался так напряженно, что, затаив дыхание, едва не задохнулся. Открытие раздосадовало его. Он поднялся, оттолкнул кресло ногой и шагнул на середину комнаты. Но в темноте далеко не уйдешь: он начал водить руками по воздуху и, нащупав стену, дошел по ней

до угла, повернулся, прошел мимо окон и в следующем углу сильно стукнулся о пюпитр и опрокинул его. Раздался стук, и это напугало Джерета, он вздрогнул. Это вызвало чувство раздражения. «Что за черт! Как я мог забыть, где он стоит?» — пробормотал он, пробираясь вдоль третьей стены к камину. «Я должен привести все в порядок». И он начал шарить по полу руками в поисках свечи. Найдя свечу, Джерет зажег ее и сразу же взглянул на стол, где, естественно, ничто не изменилось. Пюпитр так и остался лежать на полу незамеченным, — Джерет забыл «привести его в порядок». Он внимательно осмотрел комнату, разгоняя густые тени движением руки, державшей свечу, и наконец, подойдя к двери, попробовал ее открыть, поворачивая и дергая ручку изо всей силы. Она не поддавалась, и это, видимо, несколько успокоило его. Он запер дверь еще прочнее на засов, которого раньше не заметил. Снова усевшись в кресло, он посмотрел на часы: всего половина десятого. С изумлением он поднес часы к уху. Они шли. Свеча была теперь заметно короче. Он снова задул ее и поставил на пол рядом, как прежде. Мистеру Джерету было не по себе; обстановка ему явно не нравилась, и он сердился на себя за это. «Чего мне бояться? — думал он. — Это просто нелепо и постыдно. Да и не такой я дурак». Но от того, что вы скажете: «Я не поддамся страху», смелости у вас не прибавится. Чем больше Джерет презирал себя, тем больше давал себе оснований для презрения; чем больше придумывал вариаций на простую тему о безобидности мертвеца, тем сильнее становился разлад в его чувствах.

— Как же так! — воскликнул он вслух в душевном смятении. — Да ведь я ни капли не суеверен, не верю в бессмертие, знаю и сейчас лучше, чем когда-либо, что загробная жизнь это просто неосуществимая мечта, — неужели же я проиграю пари, потеряю честь, самоуважение и, возможно, рассудок только из-за того, что какие-то дикие предки, обитавшие в пещерах и норах, бессмысленно верили, будто мертвые встают по ночам, будто... — Ясно и отчетливо Джерет услышал позади себя звук легких, мягких шагов, неторопливо, равномерно и неуклонно приближающихся.

4

В предрассветном сумраке д-р Хелберсон медленно ехал в коляске со своим молодым другом Харпером по улицам Северного Берега.

— Ну как, юноша? Вы по-прежнему верите в то, что ваш друг такой уж смелый или, скажем лучше, толстокожий человек? — спросил старший. — Вы все еще думаете, что я проиграл?

— Уверен, что вы проиграли, — с подчеркнутой убежденностью ответил другой.

— Клянусь, я буду рад, если это так.

Эти слова доктор произнес значительно, почти торжественно. Несколько минут оба молчали.

— Харпер, — заговорил доктор, лицо которого в тусклом свете мелькавших уличных фонарей казалось очень серьезным, — в этой истории меня многое беспокоит. Ваш приятель так презрительно отнесся к моему сомнению в его выдержке, — хотя это чисто физическое свойство и обижаться тут нечего, — и так бестактно потребовал, чтобы труп был трупом врача, что задел меня за живое, иначе я не зашел бы так далеко. Если что-нибудь случится, мы погибли, и, боюсь заслуженно.

— Но что может случиться? Даже если эта история примет дурной оборот — чего я несколько не опасаясь, — Мэнчеру достаточно будет воскреснуть и объяснить все Джерету. С настоящим трупом из прозекторской или с одним из ваших умерших пациентов дело обстояло бы сложнее. Итак, д-р Мэнчер сдержал свое обещание: он изображал труп.

Доктор Хелберсон долго молчал, пока коляска двигалась черепашьим шагом по той же улице, по которой проезжала уже два или три раза. Затем он произнес:

— Ну, будем надеяться, что Мэнчер, если ему пришлось восстать из мертвых, вел себя осторожно. В таком положении любая ошибка могла все испортить, вместо того чтобы исправить.

— Да, — сказал Харпер, — Джерет убил бы его. Однако смотрите, доктор, — прибавил он, взглянув на часы в тот момент, когда на них упал свет фонаря, — наконец-то скоро четыре.

Спустя мгновение они вышли из экипажа и быстро направились к давно необитаемому дому, принадлежащему доктору, где, согласно условиям безумного пари, был заперт Джерет. Недалеко от дома они увидели человека, бегущего им навстречу.

— Вы не знаете, — закричал тот, приостановившись, — где найти врача?

— А в чем дело? — уклончиво спросил Хелберсон.

— Идите и посмотрите, — ответил человек и побежал дальше.

Они ускорили шаги. Подойдя к дому, они увидели, что туда один за другим поспешно входят взволнованные люди. В домах рядом и напротив окна спален были распахнуты, и из них торчали головы. Все наперебой задавали вопросы, но никто на них не отвечал. Те немногие окна, где шторы оставались опущенными, были освещены: видимо обитатели этих комнат одевались, намереваясь спуститься вниз. Как раз напротив того дома, куда шли Хелберсон и Харпер, стоял фонарь, бросавший неяркий желтый свет на происходящее, казалось намекая, что многое мог бы порассказать, если бы только захотел. Харпер, мертвенно-бледный, помедлил у двери и дотронулся до руки своего друга.

— Нам, кажется, крышка, доктор, — сказал он взволнованным тоном, странно противоречившим шутливому оттенку его слов. — Игра обернулась против нас. Лучше не входить; я за то, чтобы остаться в тени.



— Я врач, — сказал спокойно Хелберсон, — моя помощь может понадобиться.

Они поднялись по ступенькам и остановились. Дверь была открыта. Уличный фонарь освещал вестибюль дома, набитый людьми. Некоторые уже поднялись на верхнюю площадку лестницы и, так как дальше не смогли протолкаться, стояли, ожидая, когда им повезет. Все говорили враз, никто не слушал друг друга. Внезапно наверху началась какая-то свалка: из двери выбежал человек, отбиваясь на ходу от тех, кто пытался задержать его. Он ринулся вниз сквозь толпу напуганных зевак, расталкивая их, отбрасывая к стене одних, других вынуждая вцепиться в перила, хватая людей за горло, нанося им удары, скидывая их с лестницы и наступая на упавших. Он был без шляпы, в растерзанной одежде. В бегающих, безумных глазах было нечто наводившее еще больший ужас, чем его нечеловеческая сила. Гладко выбритое лицо было бескровно, волосы белы как снег.

Толпа у подножья лестницы отхлынула, чтобы дать ему дорогу, и в ту же секунду Харпер бросился вперед.

— Джерет! Джерет! — закричал он.

Доктор Хелберсон схватил его за ворот и оттащил назад. Человек посмотрел друзьям прямо в лицо невидящим взглядом, выскочил за дверь и исчез. Толстый полицейский, которому не удалось с такой же легкостью проложить себе путь, выбежал на улицу мгновение спустя и кинулся за ним, а из окон высовывались женщины и дети и вопили, направляя его по следам беглеца.

Лестница почти опустела, так как толпа бросилась на улицу, следить за погоней; д-р Хелберсон поднялся на площадку, сопровождаемый Харпером. Наверху в дверях полицейский преградил им путь.

— Мы врачи, — сказал доктор, и их пропустили.

Комната была полна людей, столпившихся в темноте вокруг стола. Вновь вошедшие протолкались вперед и заглянули через плечи стоявших в первом ряду. На столе лежало тело, по грудь прикрытое простыней и ярко освещенное лучами фонаря, который держал один из полицейских, стоявших в ногах трупа. За исключением тех, кто сбился у изголовья, все — в том числе и сам полицейский — тонули во мраке. Желтое лицо трупа было отвратительно, ужасно! Приоткрытые глаза закатились, челюсть отвисла, на губах, подбородке, щеках засохла пена. Какой-то высокий человек, по-видимому врач, стоял, наклонившись над телом, положив ему руку на сердце; затем он сунул два пальца в открытый рот мертвеца.

— Уже шесть часов, как этот человек умер, — сказал он. — Нужно передать дело следователю.

Он вынул карточку из кармана, протянул ее полицейскому и направился к двери.

— Всем покинуть комнату! — резко приказал полицейский и поднял фонарь; труп, очутившись внезапно в темноте, исчез, как будто его сбросили

со стола. Полицейский направил фонарь на толпу, и луч света, обегая комнату, выхватывал из мрака отдельные лица. Эффект был поразительный! Люди, ослепленные, смятенные, испуганные, шумно кинулись к двери, теснясь, толкаясь, натываясь друг на друга, спасаясь бегством, как призраки Ночи от лучей Аполлона. Полицейский безжалостно направлял свет фонаря на эту барахтающуюся, топчущую массу. Подхваченные общим потоком, Хелберсон и Харпер мгновенно оказались на улице.

— Боже мой, доктор, ведь я говорил вам, что Джерет убьет его, — сказал Харпер, как только они выбрались из толпы.

— Кажется говорили, — ответил доктор, не выказывая особого волнения.

Они молча шли квартал за кварталом. На сером фоне востока вырисовывались силуэты домов на холмах. По улице двигалась привычная тележка с молоком. Скоро должен был появиться посыльный из булочной; разносчик газет уже отправился в свой путь.

— Я думаю, юноша, — сказал Хелберсон, — что мы с вами слишком долго дышали утренним воздухом. Это вредно для здоровья, необходимо переменить обстановку. Что вы думаете о поездке в Европу?

— Когда?

— Ну, это безразлично. Полагаю, если мы выедем сегодня в четыре часа, будет еще не поздно.

— Встретимся на пароходе, — ответил Харпер.

Семь лет спустя, в Нью-Йорке, эти же двое сидели, беседуя, на скамье в Медисон-сквере. Какой-то человек, некоторое время незаметно наблюдавший за ними, подошел, приподнял учтиво шляпу, открыв белые как снег волосы, и сказал:

— Прошу простить меня, джентльмены, но тому, кто убил человека тем, что воскрес, лучше всего обменяться с убитым одеждой и при первом удобном случае бежать.

Хелберсон и Харпер обменялись многозначительными взглядами, — эти слова показались им забавными. Хелберсон добродушно посмотрел в глаза незнакомца и ответил:

— Я всегда думал точно так же. Я полностью согласен с вами относительно преимуществ...

Он вдруг запнулся и побледнел как смерть. Приоткрыв рот, он глядел на человека. Его охватила дрожь.

— Ого! — сказал незнакомец. — Я вижу, вы нездоровы, доктор. Если вы не можете вылечить себя сами, я уверен, доктор Харпер поможет вам.

— Кто вы такой, черт вас побери? — грубо спросил Харпер.

Незнакомец подошел поближе и, наклонившись, сказал шепотом:



— Иногда я называю себя Джеретом, но вам ради старинной дружбы скажу правду: я доктор Уильям Мэнчер.

Эти слова заставили Харпера вскочить.

— Мэнчер! — воскликнул он, а Хелберсон добавил:

— Клянусь, так оно и есть!

— Да, — неопределенно улыбаясь, сказал незнакомец, — несомненно, так оно и есть.

Он запнулся, как будто пытаясь что-то вспомнить, затем начал напевать модную песенку. Он, по-видимому, забыл об их присутствии.

— Послушайте, Мэнчер, — сказал старший, — расскажите же, что случилось той ночью — с Джеретом, помните?

— Ах да, с Джеретом, — ответил тот. — Странно, что я вам не рассказал — я так часто рассказываю это. Видите ли, я подслушал, когда он говорил сам с собой, и понял, что он здорово напуган. И я не мог справиться с искушением воскреснуть и подурочиться, право, не мог. Вот я и воскрес, но я никак не думал, что он примет это всерьез, — никак не думал. А потом — помянуться с ним местами было нелегким делом, а потом — вы меня не выпускали, черт вас возьми!

Последние слова были произнесены с непередаваемой свирепостью. Дружья в испуге отступили.

— Мы? Но... но... — Хелберсон заикался, совершенно потеряв самообладание. — При чем тут мы?

— Разве вы не доктора Хелборн и Шарпер¹? — спросил человек, смеясь.

— Действительно, моя фамилия Хелберсон, а этого джентльмена зовут Харпер, — ответил первый, немного успокоенный смехом Мэнчера. — Но мы уже не врачи, мы, мы... а, черт побери, мы — игроки, старина.

И это была правда.

— Прекрасная профессия, прекрасная. Кстати, надеюсь, Шарпер, как честный игрок, заплатил за Джерета? Очень хорошая, почтенная профессия, — задумчиво повторил он, с рассеянным видом отходя от них, — но я держусь прежней. Я — главный врач блумингдейлского сумасшедшего дома. Мне поручено смотреть за надзирателем.



¹ В изменении фамилий — игра слова: Хелборн — исчадие ада, Шарпер — игрок, шулер. (Прим. пер.)

ХОЗЯИН МОКСОНА



сужели вы это серьезно? Вы в самом деле верите, что машина думает?

Я не сразу получил ответ: Моксон, казалось, был всецело поглощен углями в камине, он ловко орудовал чергой, пока угли, польщенные его вниманием, не Запылали ярче. Вот уже несколько недель я наблюдал, как развивается в нем привычка тянуть с ответом на самые несложные, пустячные вопросы. Однако вид у него был рассеянный, словно он не обдумывает ответ, а погружен в свои собственные мысли, словно что-то гвоздем засело у него в голове.

Наконец он проговорил:

— Что такое «машина»? Понятие это определяют по-разному. Вот послушайте, что сказано в одном популярном словаре: «Орудие, или устройство для приложения и увеличения силы или для достижения желаемого результата». Но в таком случае, разве человек не машина? А согласитесь, что человек думает или же думает, что думает.

— Ну, если вы не желаете ответить на мой вопрос, — возразил я довольно раздраженно, — так прямо и скажите, Ваши слова попросту увертка. Вы прекрасно понимаете, что под «машиной» я подразумеваю не человека, а нечто созданное и управляемое человеком.

— Если только это «нечто» не управляет человеком, — сказал он, внезапно вставая и подходя к окну, за которым все тонуло в предгрозовой черноте ненастного вечера. Минуту спустя он повернулся ко мне и, улыбаясь, сказал:

— Прошу извинения, я и не думал увертываться. Я просто счел уместным привести это определение и сделать создателя словаря невольным участником нашего спора. Мне легко ответить на ваш вопрос прямо: да, я верю, что машина думает о той работе, которую она делает.

Ну, что ж, это был достаточно прямой ответ. Однако нельзя сказать, что слова Моксона меня порадовали, они скорее укрепили печальное подозрение, что увлечение, с каким он предавался занятиям в своей механической мастерской, не принесло ему пользы. Я знал, например, что он страдает бессонницей, а это недуг не из легких. Неужели Моксон повредился в рассудке? Его ответ убеждал тогда, что так оно и есть. Быть может, теперь я отнесся бы к этому иначе. Но тогда я был молод, а к числу благ, в которых не отказано юности, принадлежит невежество. Подстрекаемый этим могучим стимулом к противоречию, я сказал:

— А чем она, позвольте, думает? Мозга-то у нее нет.

Ответ, последовавший с меньшим, чем обычно, запозданием, принял излюбленную им форму контрвопроса.

— А чем думает растение? У него ведь тоже нет мозга.

— Ах так, растения, значит, тоже принадлежат к разряду мыслителей! Я был бы счастлив узнать некоторые из их философских выводов — посылки можете опустить.

— Вероятно, об этих выводах можно судить по их поведению, — ответил он, ничуть не задетый моей глупой иронией. — Не стану приводить в пример чувствительную мимозу, некоторые насекомоядные растения и те цветы, чьи тычинки склоняются и стряхивают пыльцу на забравшуюся в чашечку пчелу, для того чтобы та могла оплодотворить их далеких супруг, — все это достаточно известно. Но поразмыслите вот над чем. Я посадил у себя в саду на открытом месте виноградную лозу. Едва только она проросла, я воткнул в двух шагах от нее колышек. Лоза тотчас устремилась к нему, но когда через несколько дней она уже почти дотянулась до колышка, я перенес его немного в сторону. Лоза немедленно сделала резкий поворот и опять потянулась к колышку. Я многократно повторял этот маневр, и наконец, лоза, словно потеряв терпение, бросила погоню и, презрев дальнейшие попытки сбить ее с толку, направилась к невысокому дереву, росшему немного поодаль, и обвилась вокруг него. А корни эвкалипта? Вы не поверите, до какой степени они могут вытягиваться в поисках влаги. Известный садовод рассказывает, что однажды корень проник в заброшенную дренажную трубу и путешествовал по ней, пока не наткнулся на каменную стену, которая преграждала трубе путь. Корень покинул трубу и пополз вверх по стене; в одном месте выпал камень, и образовалась дыра, корень пролез в дыру и, спустившись по другой стороне стены, отыскал продолжение трубы и последовал по ней дальше.

— Так к чему вы клоните?

— Разве вы не понимаете значения этого случая? Он говорит о том, что растения наделены сознанием. Доказывает, что они думают.

— Даже если и так, то что из этого следует? Мы говорили не о растениях, а о машинах. Они, правда, либо частью изготовлены из металла, а частью из



дерева, но дерева, уже переставшего быть живым, либо целиком из металла. Или же, по-вашему, неорганическая природа тоже способна мыслить?

— А как же иначе вы объясняете, к примеру, явление кристаллизации?

— Никак не объясняю.

— Да и не сможете объяснить, не признав того, что вам так хочется отрицать, а именно — разумного сотрудничества между составными элементами кристаллов. Когда солдаты выстраиваются в шеренгу или каре, вы говорите о разумном действии. Когда дикие гуси летят треугольником, вы рассуждаете об инстинкте. А когда однородные атомы минерала, свободно передвигающиеся в растворе, организуются в математически совершенные фигуры или когда частицы замерзшей влаги образуют симметричные и прекрасные снежинки, вам нечего сказать. Вы даже не сумели придумать никакого ученого слова, чтобы прикрыть ваше воинствующее невежество.

Моксон говорил с необычным для него воодушевлением и горячностью. В тот момент когда он замолчал, из соседней комнаты, именуемой «механической мастерской», доступ в которую был закрыт для всех, кроме него самого, донеслись какие-то звуки, словно кто-то колотил ладонью по столу. Моксон услышал стук одновременно со мной и, явно встревожившись, встал и бы-

стро прошел в ту комнату, откуда он слышался. Мне показалось невероятным, чтобы там находился кто-то посторонний; интерес к другу, несомненно с примесью непозволительного любопытства, заставил меня напряженно прислушиваться, но все-таки с гордостью заявляю — я не прикладывал уха к замочной скважине. Раздался какой-то беспорядочный шум не то борьбы, не то драки, пол задрожал. Я совершенно явственно различил затрудненное дыхание и хриплый шепот: «Проклятый!» Затем все стихло, и сразу появился Моксон с виноватой улыбкой на лице.

— Простите, что я вас бросил. У меня там машина вышла из себя и взбунтовалась.

Глядя в упор на его левую щеку, которую пересекли четыре кровавые ссадины, я сказал:

— А не надо ли подрезать ей ногти?

Моя насмешка пропала даром: он не обратил на нее никакого внимания, уселся на стул, на котором сидел раньше, и продолжал прерванный монолог, как будто ничего ровным счетом не произошло:

— Вы, разумеется, не согласны с теми (мне незачем называть их имена человеку с вашей эрудицией), кто учит, что материя наделена разумом, что каждый атом есть живое, чувствующее, мыслящее существо. Но я-то на их стороне. Не существует материи мертвой, инертной: она вся живая, она исполнена силы, активной и потенциальной, чувствительна к тем же силам в окружающей среде и подвержена воздействию сил еще более сложных и тонких, заключенных в организмах высшего порядка, с которыми материя может прийти в соприкосновение, например в человеке, когда он подчиняет материю себе. Она вбирает в себя что-то от его интеллекта и воли — и вбирает тем больше, чем совершеннее машина и чем сложнее выполняемая ею работа. Помните, как Герберт Спенсер определяет понятие «жизнь»? Я читал его тридцать лет назад. Возможно, впоследствии он сам что-нибудь переименовал, уж не знаю, но мне в то время казалось, что в его формулировке нельзя ни переставить, ни прибавить, ни убавить ни одного слова. Определение Спенсера представляется мне не только лучшим, но единственно возможным. «Жизнь, — говорит он, — есть определенное сочетание разнородных изменений, совершающихся как одновременно, так и последовательно в соответствии с внешними условиями».

— Это определяет явление, — заметил я, — но не указывает на его причину.

— Но такова суть любого определения, — возразил он. — Как утверждает Милль, мы ничего не знаем о причине, кроме того что она чему-то предшествует; ничего не знаем о следствии, кроме того что оно за чем-то следует. Есть явления, которые не существуют одно без другого, хотя между собой не имеют ничего общего: первые во времени мы именуем причиной, вторые — следствием. Тот, кто видел много раз кролика, преследуемого собакой, и ни-

когда не видел кроликов и собак порознь, будет считать, что кролик-причина собаки.

Боюсь однако, — добавил он, рассмеявшись самым естественным образом, — что, погнавшись за этим кроликом, я потерял след зверя, которого преследовал, я увлекся охотой ради нее самой. Между тем я хочу обратить ваше внимание на то, что определение Гербертом Спенсером жизни касается и деятельности машины: там, собственно, нет ничего, что было бы неприменимо к машине. Продолжая мысль этого тончайшего наблюдателя и глубочайшего мыслителя — человек живет, пока действует, — я скажу, что и машина может считаться живой, пока она находится в действии. Утверждаю это как изобретатель и конструктор машин.

Моксон длительное время молчал, рассеянно уставившись в камин. Становилось поздно, и я уже подумывал о том, что пора идти домой, но никак не мог решиться оставить Моксона в этом уединенном доме совершенно одного, если не считать какого-то существа, относительно природы которого я мог только догадываться и которое, насколько я понимал, настроено недружелюбно или даже враждебно. Наклонившись вперед и пристально глядя приятелю в глаза, я сказал, показав рукой на дверь мастерской:

— Моксон, кто у вас там?

К моему удивлению, он непринужденно засмеялся и ответил без тени замешательства:

— Никого нет. Происшествие, которое вы имеете в виду, вызвано моей неосторожностью: я оставил машину в действии, когда делать ей было нечего, а сам в это время взялся за нескончаемую просветительскую работу. Знаете ли вы, кстати, что Разум есть детище Ритма?

— Ах, да провались они оба! — ответил я, подымаясь и берясь за пальто. — Желаю вам доброй ночи. Надеюсь, что, когда в другой раз понадобится укрощать машину, которую вы по безопасности оставите включенной, она будет в перчатках.

И, даже не проверив, попала ли моя стрела в цель, я повернулся и вышел.

Шел дождь, вокруг была непроницаемая тьма. Вдали, над холмом, к которому я осторожно пробирался по шатким дощатым тротуарам и грязным мощеным улицам, стояло слабое зарево от городских огней, но позади меня ничего не было видно, кроме одинокого окна в доме Моксона. В том, как оно светилось, мне чудилось что-то таинственное и зловещее. Я знал, что это незавешенное окно в мастерской моего друга, и нимало не сомневался, что он вернулся к своим занятиям, которые прервал, желая просветить меня по части разумности машин и отцовских прав ритма... Хотя его убеждения казались мне в то время странными и даже смехотворными, все же я не мог полностью отделаться от ощущения, что они каким-то образом трагически связаны с его собственной жизнью и характером, а быть может, и с его участием, и, уж во всяком случае, я больше не принимал их за причуды больного рассудка. Как

бы ни относиться к его идеям, логичность, с какой он их развивал, не оставляла сомнений в здравости его ума. Снова и снова мне вспоминались его последние слова: «Разум есть детище Ритма». Пусть утверждение это было чересчур прямолинейным и обнаженным, мне оно теперь представлялось бесконечно заманчивым. С каждой минутой оно приобретало в моих глазах все больше смысла и глубины. Что ж, думал я, на этом, пожалуй, можно построить целую философскую систему. Если разум-детище ритма, в таком случае все сущее разумно, ибо все находится в движении, а всякое движение ритмично. Меня занимало, сознает ли Моксон значение и размах своей идеи, весь масштаб этого важнейшего обобщения. Или же он пришел к своему философскому выводу извилистым и ненадежным путем опыта?

Философия эта была настолько неожиданной, что разъяснения Моксона не обратили меня сразу в его веру. Но сейчас словно яркий свет разлился вокруг меня подобно тому свету, который озарил Савла из Тарса, и, шагая во мраке и безлюдии этой непогожей ночи, я испытал то, что Льюис назвал «беспредельной многогранностью и волнением философской мысли». Я упивался неизведанным сознанием мудрости, неизведанным торжеством разума. Ноги мои едва касались земли, меня словно подняли и несли по воздуху невидимые крылья.

Повинуясь побуждению вновь обратиться за разъяснениями к тому, кого отныне я считал своим наставником и поводырем, я бессознательно повернул назад и, прежде чем успел опомниться, уже стоял перед дверью моксоновского дома. Я промок под дождем насквозь, но даже не замечал этого. От волнения я никак не мог нащупать звонок и машинально нажал на ручку. Она повернулась, я вошел и поднялся вверх, в комнату, которую так недавно покинул. Там было темно и тихо; Моксон, очевидно, находился в соседней комнате - в «мастерской». Ощупью, держась за стену, я добрался до двери в мастерскую и несколько раз громко постучал, но ответа не услышал, что приписал шуму снаружи, — на улице бесновался ветер и швырял струями дождя в тонкие стены дома. В этой комнате, где не было потолочных перекрытий, дробный стук по кровле звучал громко и непрерывно.

Я ни разу не бывал в мастерской, более того — доступ туда был мне запрещен, как и всем прочим, за исключением одного человека — искусного слесаря, о котором было известно только то, что зовут его Хейли и что он крайне неразговорчив. Но я находился в таком состоянии духовной экзальтации, что позабыл про благовоспитанность и деликатность и отворил дверь. То, что я увидел, разом вышибло из меня все мои глубокомысленные соображения.

Моксон сидел лицом ко мне за небольшим столиком, на котором горела одна-единственная свеча, тускло освещавшая комнату. Напротив него, спиной ко мне, сидел некий субъект. Между ними на столе лежала шахматная доска. На ней было мало фигур, и даже мне, совсем не шахматисту, сразу стало ясно, что игра подходит к концу. Моксон был совершенно поглощен, но

не столько, как мне показалось, игрой, сколько своим партнером, на которого он глядел с такой сосредоточенностью, что не заметил меня, хотя я стоял как раз против него. Лицо его было мертвенно бледно, глаза сверкали, как алмазы. Второй игрок был мне виден только со спины, но и этого с меня было достаточно: у меня пропала всякая охота видеть его лицо.

В нем было, вероятно, не больше пяти футов росту, и сложением он напоминал гориллу: широченные плечи, короткая толстая шея, огромная квадратная голова с нахлобученной малиновой феской, из-под которой торчали густые черные космы. Малинового же цвета куртку туго стягивал пояс, ног не было видно — шахматист сидел на ящике. Левая рука, видимо, лежала на коленях, он передвигал фигуры правой рукой, которая казалась несоразмерно длинной.

Я отступил назад и стал сбоку от двери, в тени. Если бы Моксон оторвал взгляд от лица своего противника, он заметил бы только, что дверь приотворена, и больше ничего. Я почему-то не решался ни переступить порог комнаты, ни уйти совсем. У меня было ощущение (не знаю даже, откуда оно взялось), что вот-вот на моих глазах разыграется трагедия и я спасу моего друга, если останусь. Испытывая весьма слабый протест против собственной нескромности, я остался.

Игра шла быстро. Моксон почти не смотрел на доску, перед тем как сделать ход, и мне, неискушенному в игре, казалось, что он передвигает первые попавшиеся фигуры — настолько жесты его были резки, нервны, мало осмысленны. Противник тоже, не задерживаясь, делал ответные ходы, но движения его руки были до того плавными, однообразными, автоматическими и, я бы даже сказал, театральными, что терпение мое подверглось довольно тяжкому испытанию. Во всей обстановке было что-то нереальное, меня даже пробрала дрожь. Правда и то, что я промок до нитки и ооченел.

Раза два-три, передвинув фигуру, незнакомец слегка наклонял голову, и каждый раз Моксон переставлял своего короля. Мне вдруг подумалось, что незнакомец нем. А вслед за этим, что это просто машина — автоматический шахматный игрок! Я припомнил, как Моксон однажды говорил мне о возможности создания такого механизма, но я решил, что он только придумал его, но еще не сконструировал. Не был ли тогда весь разговор о сознании и интеллекте машин всего-навсего прелюдией к заключительной демонстрации изобретения, простой уловкой для того, чтобы ошеломить меня, невежду в этих делах, подобным чудом механики?

Хорошее же завершение всех умозрительных восторгов, моего любования «беспредельной многогранностью и волнением философской мысли»! Разозлившись, я уже хотел уйти, но тут мое любопытство вновь было подстегнуто: я заметил, что автомат досадливо передернул широкими плечами, и движение это было таким естественным, до такой степени человечим, что в том новом свете, в каком я теперь все видел, оно меня испугало. Но этим дело не



ограничилось: минуту спустя он резко ударил по столу кулаком. Моксон был поражен, по-моему, еще больше, чем я, и словно в тревоге отодвинулся вместе со стулом назад.

Немного погодя Моксон, который должен был сделать очередной ход, вдруг поднял высоко над доской руку, схватил одну из фигур со стремительностью упавшего на добычу ястреба, воскликнул: «Шах и мат!» — и, вскочив со стула, быстро отступил за спинку. Автомат сидел неподвижно.

Ветер затих, но теперь все чаще и громче раздавались грохочущие раскаты грома. В промежутках между ними слышалось какое-то гудение или жужжание, которое, как и гром, с каждой минутой становилось громче и явственнее. Н я понял, что это с гулом вращаются шестерни в теле автомата. Гул этот наводил на мысль о вышедшем из строя механизме, который ускользнул из-под умиротворяющего и упорядочивающего начала какого-нибудь контрольного приспособления, — так бывает, если выдернуть собачку из зубьев храповика. Я, однако, недолго предавался догадкам относительно природы этого шума, ибо внимание мое привлекло непонятное поведение автомата. Его била мелкая, непрерывная дрожь. Тело и голова тряслись, точно у паралитика или больного лихорадкой, конвульсии все учащались, пока наконец весь он не заходил ходуном. Внезапно он вскочил, всем телом перегнулся через стол молниеносным движением, словно ныряльщик, выбросил вперед руки. Моксон откинулся назад, попытался увернуться, но было уже поздно: руки чудовища сомкнулись на его горле, Моксон вцепился в них, пытаясь оторвать от себя. В следующий миг стол перевернулся, свеча упала на пол и потухла, комната погрузилась во мрак. Но шум борьбы доносился до меня с ужасающей отчетливостью, и всего страшнее были хриплые, захлебывающиеся звуки, которые издавал бедняга, пытаясь глотнуть воздух. Я бросился на помощь своему другу, туда, где раздавался адский грохот, но не успел сделать в темноте и нескольких шагов, как в комнате сверкнул слепяще белый свет, он навсегда выжиг в моем мозгу, в сердце, в памяти картину схватки: на полу борющиеся, Моксон внизу, горло его по-прежнему в железных тисках, голова запрокинута, глаза вылезают из орбит, рот широко раскрыт, язык вывалился наружу и — жуткий контраст! — выражение спокойствия и глубокого раздумья на раскрашенном лице его противника, словно погруженного в решение шахматной задачи! Я увидел все это, а потом надвинулись мрак и тишина.

Три дня спустя я очнулся в больнице. Воспоминания о той трагической ночи медленно всплыли в моем затуманенном мозгу, и тут я узнал в моем посетителе доверенного помощника Моксона Хейли. В ответ на мой взгляд он, улыбаясь, подошел ко мне.

— Расскажите, — с трудом выговорил я слабым голосом, — расскажите все.

— Охотно, — ответил он. — Вас в бессознательном состоянии вынесли из горящего дома Моксона. Никто не знает, как вы туда попали. Вам уж самому

придется это объяснить. Причина пожара тоже не совсем ясна. Мое мнение таково, что в дом ударила молния.

— А Моксон?

— Вчера похоронили то, что от него осталось.

Как видно, этот молчаливый человек при случае был способен разговариваться. Сообщая больному эту страшную новость, он даже проявил какую-то мягкость. После долгих и мучительных колебаний я отважился наконец задать еще один вопрос:

— А кто меня спас?

— Ну, если вам так интересно — я.

— Благодарю вас, мистер Хейли, благослови вас бог за это. А спасли ли вы также несравненное произведение вашего искусства, автоматического шахматиста, убившего своего изобретателя?

Собеседник мой долго молчал, глядя в сторону. Наконец он посмотрел мне в лицо и печально спросил:

— Так вы знаете?

— Да, — сказал я, — я видел, как он убивал.

Все это было давным-давно. Если бы меня спросили сегодня, я бы не смог ответить с такой уверенностью.



ЗАПОЛНЕННЫЙ ПРОБЕЛ

1. ПАРАД ВМЕСТО ПРИВЕТСТВИЯ



Тетней ночью на невысоком холме, поднимавшемся над простором лесов и равнин, стоял человек. Полная луна клонилась к западу, и по этому признаку человек понял, что близок час рассвета, — иначе это трудно было определить. Легкий туман стлался по земле, затягивая низины, но над пеленой тумана четко выделялись на чистом небе темные массы отдельных деревьев. Сквозь туман смутно виднелись два-три фермерских домика, но ни в одном из них не было света. Нигде ни признака жизни, только собачий лай, доносясь издали и повторяясь через равные промежутки времени, скорее гущал, чем рассеивал впечатление заброшенности и безлюдья.

Человек с любопытством озирался по сторонам; казалось, все окружающее ему знакомо, но он не может найти своего места в нем и не знает, что делать. Так, наверно, мы будем вести себя, восстав из мертвых в ожидании Страшного суда.

В ста шагах от него лежала прямая дорога, белея в лунном свете. Пытаясь «определиваться», как сказал бы землемер или мореплаватель, он медленно перевел взгляд с одного конца дороги на другой и заметил в четверти мили к югу смутно чернеющий в тумане отряд кавалерии, который направлялся на север. За ним шла колонна пехоты с тускло поблескивавшими винтовками за спиной. Колонна двигалась медленно и неслышно. Еще отряд кавалерии, еще полк пехоты, за ним еще и еще, непрерывным потоком двигались к тому месту, откуда на них смотрел человек, мимо него и дальше на север. Проехала батарея; канониры, скрестив на груди руки, сидели на лафетах и зарядных ящиках. И вся эта бесконечная процессия, отряд за отрядом, выступала из тьмы с юга и уходила во тьму на север, но не слышно было ни говора, ни стука копыт, ни грохота колес.

Это показалось ему странным: он подумал было, что оглох; произнес это вслух и услышал собственный голос, хотя он звучал как чужой, и это его поразило; ухо его ожидало услышать голос совсем иного тембра и звучания. Однако он понял, что не оглох, и на время успокоился.

Затем он вспомнил, что существует явление природы, известное под названием «акустической тени». Когда человек попадает в акустическую тень, есть такое направление, по которому звук до него не доходит. Во время одного из самых ожесточенных боев войны Севера с Югом — сражения при Гейнс-Милл, в котором участвовало сто орудий, зрители, находившиеся на расстоянии полутора миль на противоположном склоне долины Чикагомини, не слышали ни звука, хотя очень ясно видели все происходившее. Бомбардировка Порт-Ройал, слышная и ощутимая в Сент-Августине, в ста пятидесяти милях к югу, не была слышна в двух милях к северу при тихой погоде. За несколько дней до сдачи при Аппоматоксе оглушительная перестрелка между войсками Шеридана и Пикета оставалась неизвестной последнему, — он находился в тылу своей армии, в какой-нибудь миле от линии огня.

Ни один из этих случаев не был известен герою нашего рассказа, но менее значительные явления того же порядка не ускользнули от его внимания. Его тревожило не загадочное безмолвие этого ночного похода, а нечто иное.

«Боже мой, — сказал он себе, и опять ему почудилось что кто-то другой выражает вслух его мысли, — если это действительно южане, — значит, мы проиграли сражение и они двигаются к Нэшвиллу!»

Потом у него мелькнула мысль о самом себе — тревожное предчувствие, — то ощущение надвигающейся опасности, которое в других мы называем страхом. Он быстро отступил в тень дерева. А молчаливые батальоны все так же медленно и неслышно проходили в тумане.

Вдруг он почувствовал на затылке холодок, и это заставило его взглянуть туда, откуда дохнуло ветром; обернувшись к востоку, он увидел бледный серый свет на горизонте — первый признак наступающего дня. Предчувствие опасности усилилось в нем.

«Надо уходить, — подумал он, — не то меня заметят и возьмут в плен».

Он вышел из тени и быстрым шагом направился к бледнеющему востоку. Из-под прикрытия группы кедров он оглянулся назад. Вся колонна скрылась из виду; прямая дорога белела в лунном свете, безлюдная и пустая.

Он и раньше недоумевал, но теперь был прямо-таки ошеломлен. Как могла пройти армия так быстро, передвигающаяся так медленно! Он этого не понимал. Незаметно проходила минута за минутой — он утратил ощущение времени. Сосредоточив все свои силы, он стал искать решения загадки, но тщетно. Когда наконец он отвлекся от занимавших его мыслей, в которые был погружен, над холмами уже показался краешек солнца, но и солнечные лучи не рассеяли его сомнений.

По обеим сторонам дороги тянулись возделанные поля, и нигде не было заметно опустошений, какие влечет за собой война. Из труб фермерских домиков восходили к небу тонкие струйки дыма, свидетельствуя о приготовлениях к мирным дневным трудам. Собака, прекратив свою извечную жалобу луне, бегала за негром, который, погоняя мулов, запряженных в плуг, мирно напевал то веселые, то печальные мотивы.

Герой нашего рассказа в ошеломлении смотрел на эту мирную картину, как будто никогда в жизни не видел ничего подобного, потом поднес руку к голове, провел ею по волосам и стал внимательно рассматривать ладонь-поведение, непонятное для зрителя. После этого, по-видимому успокоившись, он уверенно зашагал к дороге.

2. ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ САМОГО СЕБЯ, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ



Доктор Стиллинг Молсониз Морффрисборо, отправившись навестить пациента за шесть или семь миль от дома по Нэшвилльской дороге, оставался при больном всю ночь. На рассвете он поехал домой верхом, по обычаю существовавшему в то время среди окрестных врачей.

Когда он проезжал недалеко от места битвы при Стон-ривер, с обочины дороги к нему подошел человек и отдал честь по-военному, поднеся руку к полям шляпы. Однако шляпа эта была вовсе не армейского образца, человек не носил мундира, и в его движениях не заметно было военной выправки. Доктор вежливо ему поклонился, полагая, что не совсем обычная манера здороваться объясняется уважением к историческим местам. Незнакомец, по-видимому, желал заговорить с ним, и доктор учтиво придержал свою лошадь и стал ждать.

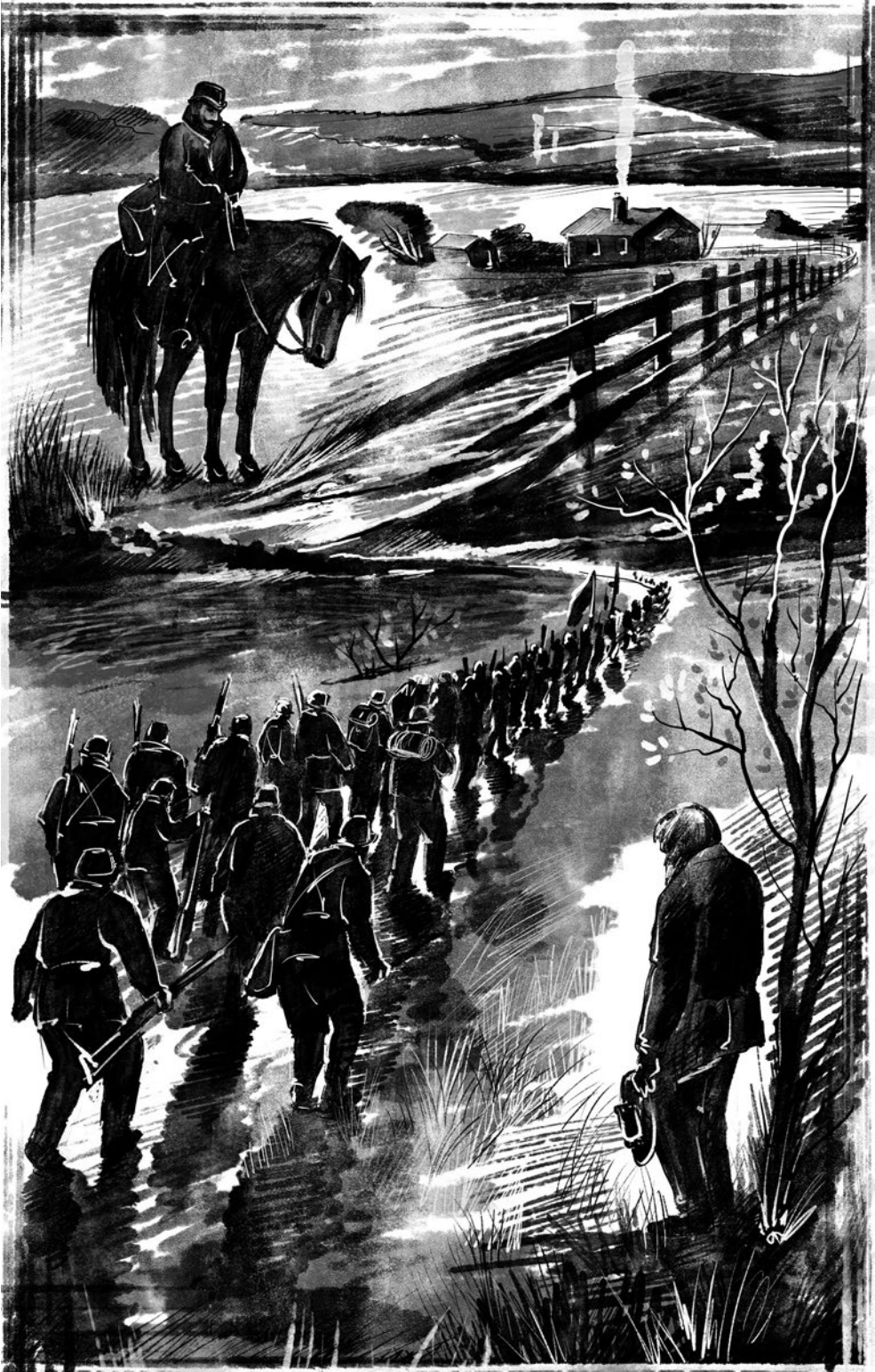
— Сэр, — сказал незнакомец, — вы, быть может, неприятель, хотя вы и штатский.

— Я — врач, — лаконически ответил тот.

— Благодарю вас, — сказал незнакомец, — я лейтенант из штаба генерала Газена. — Он замолчал и с минуту пристально глядывался в человека, к которому обращался, потом прибавил: — Из армии северян.

Врач ограничился кивком.

— Скажите мне, пожалуйста, — продолжал тот, — что здесь произошло? Где обе армии? Кто выиграл сражение?



Врач, полузакрыв глаза, с любопытством смотрел на своего собеседника. После наблюдения, длившегося столько времени, сколько позволяла учтивость, он сказало

— Простите меня, но тот, кто спрашивает, не должен и сам уклоняться от ответа. Вы ранены? — прибавил он с улыбкой.

— Кажется, легко.

Человек снял шляпу штатского фасона, провел рукой по волосам и, отняв ее, пристально посмотрел на ладонь.

— Меня задело пулей, и я потерял сознание. Задело, вероятно, слегка, шальной пулей: крови нет, и я не чувствую боли. Я не хочу беспокоить вас просьбой, чтоб вы меня осмотрели, но не скажете ли вы, как мне найти свою часть или хоть какой-нибудь отряд армии северян, если вы знаете, где она?

Доктор опять ответил не сразу: он старался припомнить все, что говорится в медицинских книгах о потере памяти и о том, что знакомые места, кажется, помогают вспомнить забытое. Наконец он взглянул человеку в глаза и заметил с улыбкой:

— Лейтенант, почему вы не в мундире, который присвоен вашему званию?

Человек оглядел свой штатский костюм, поднял глаза и сказал с запинкой:

— Это верно. Я... я не понимаю.

Все еще глядя на него зорким, но сочувственным взглядом, доктор спросил напрямик:

— Сколько вам лет?

— Двадцать три, — а почему вас это интересует?

— Я бы этого не сказал; никак нельзя подумать, что вам двадцать три года.

Человек потерял терпение.

— Не стоит об этом спорить, — сказал он. — Мне нужно узнать, где находится армия. Не прошло еще двух часов, как я видел колонну войск, двигавшуюся к северу по этой дороге. Вы, должно быть, встретились с ними. Будьте добры, скажите, какого цвета на них мундиры, я сам не мог этого разглядеть, — и больше я не стану вас беспокоить.

— Вы совершенно уверены, что видели их?

— Уверен? Боже мой, сэр, да я мог бы пересчитать их!

— Вот как, — сказал врач, внутренне забавляясь собственным сходством с болтливым цирюльником из «Тысячи и одной ночи», — это очень любопытно. Я не видел никаких войск.

Человек посмотрел на него холодно, словно и он тоже заметил это сходство с цирюльником.

— Видно, вы не хотите мне помочь, — сказал он. — Можете убираться ко всем чертям, сэр!

Он повернулся и, не разбирая дороги, зашагал напрямик через росистые поля, а его мучитель, начинавший уже раскаиваться, спокойно следил за ним со своего наблюдательного поста в седле, пока тот не исчез за деревьями.

3. КАК ОПАСНО СМОТРЕТЬ В ЛУЖУ



вернув с дороги, путник замедлил шаг и теперь шел вперед, нетвердой походкой, чувствуя сильную усталость. Он не мог понять, отчего он так устал, хотя чрезмерная словоохотливость деревенского лекаря была сама по себе утомительна. Усевшись на камень, он положил руку на колено, ладонью вниз, и случайно взглянул на нее. Рука была исхудалая, морщинистая. Он поднял обе руки к лицу. Лицо было все в глубоких морщинах: борозды чувствовались на ощупь. Странно! Не могла же простая контузия и короткий обморок превратить человека в развалину.

— Я, верно, очень долго пролежал в госпитале, — сказал он вслух. — Боже, до чего я глуп! Ведь сражение было в декабре, а сейчас лето! — Он засмеялся. — Не удивительно, что этот лекарь подумал, будто я сбежал из сумасшедшего дома. Он ошибся: я сбежал всего-навсего из лазарета.

Его внимание привлек маленький клочок земли неподалеку, обнесенный каменной оградой. Без всякой определенной цели он встал и подошел к ней. Посредине стоял тяжелый монумент, сложенный из камня. Он потемнел от времени, выкрошился по углам и был покрыт пятнами мха и лишайника. Меж-



ду массивными глыбами пробилась трава, и корни ее раздвинули глыбы камня. В ответ на дерзкий вызов этого сооружения время наложило на него свою разрушающую руку, и скоро оно сровняется с землей, «подобно Тиру и Ниневии». В надписи на одной из сторон памятника взгляд его уловил знакомое имя. Задрожав от волнения, он перегнулся всем телом через ограду и прочел:

БРИГАДА ГЕНЕРАЛА ГАЗЕНА.

Солдатам, павшим в бою

при Стон-ривер,

21 декабря 1862 года

Чувствуя слабость и головокружение, человек повалился на землю. Рядом с ним — стоило только протянуть руку — было небольшое углубление в земле, полное воды после недавнего дождя, — прозрачная лужица. Он подполз к ней, чтобы освежиться, приподнялся, напрягая дрожащие руки, вытянул голову вперед и увидел свое отражение, как в зеркале. Он вскрикнул страшным голосом. Руки его ослабели, он упал лицом вниз, прямо в лужу, и нить, связавшая на миг начало и конец его существования, оборвалась навсегда.



ЖИТЕЛЬ КАРКОЗЫ



бо существуют разные виды смерти: такие, когда тело остается видимым, и такие, когда оно исчезает бесследно вместе с отлетевшей душой. Последнее обычно совершается вдали от людских глаз (такова на то воля Господа), и тогда, не будучи очевидцами кончины человека, мы говорим, что тот человек пропал или что он отправился в дальний путь — и так оно и есть. Но порой, и тому немало свидетельств, исчезновение происходит в присутствии многих людей. Есть также род смерти, при которой умирает душа, а тело переживает ее на долгие годы. Установлено с достоверностью, что иногда душа умирает в одно время с телом, но спустя какой-то срок снова появляется на земле, и всегда в тех местах, где погребено тело.

Я размышлял над этими словами, принадлежащими Хали¹ (упокой Господь его душу), пытаюсь до конца постичь их смысл, как человек, который, уловив значение сказанного, вопрошает себя, нет ли тут еще другого, скрытого смысла. Размышляя так, я не замечал, куда бреду, пока внезапно хлестнувший мне в лицо холодный ветер не вернул меня к действительности. Оглядевшись, я с удивлением заметил, что все вокруг мне незнакомо. По обе стороны простиралась открытая безлюдная равнина, поросшая высокой, давно не кошенной, сухой травой, которая шуршала и вздыхала под осенним ветром, — Бог знает какое таинственное и тревожное значение заключалось в этих вздохах. На большом расстоянии друг от друга возвышались темные каменные громады причудливых очертаний; казалось, есть между ними какое-то тайное согласие и они обмениваются многозначительными зловещими взглядами, вытягивая шеи, чтобы не пропустить

¹ Хали — псевдоним индийского писателя Алтафа Хусейна (1837-1914).

какого-то долгожданного события. Тут и там торчали иссохшие деревья, словно предводители этих злобных заговорщиков, притаившихся в молчаливом ожидании.

Было, должно быть, далеко за полдень, но солнце не показывалось. Я отдавал себе отчет в том, что воздух сырой и промозглый, но ощущал это как бы умственно, а не физически — холода я не чувствовал. Над унылым пейзажем, словно зримое проклятие, нависали пологом низкие свинцовые тучи. Во всем присутствовала угроза, недобрые предзнаменования — вестники злодеяния, признаки обреченности. Кругом ни птиц, ни зверей, ни насекомых. Ветер стоял в голых сучьях мертвых деревьев, серая трава, склоняясь к земле, шептала ей свою страшную тайну. И больше ни один звук, ни одно движение не нарушали мрачного покоя безотрадной равнины.

Я увидел в траве множество разрушенных непогодой камней, некогда обтесанных рукой человека. Камни растрескались, покрылись мхом, наполовину ушли в землю. Некоторые лежали плашмя, другие торчали в разные стороны, ни один не стоял прямо. Очевидно, это были надгробья, но сами могилы уже не существовали, от них не осталось ни холмиков, ни впадин — время сровняло все. Кое-где чернели более крупные каменные глыбы: там какая-нибудь самонадеянная усыпальница, какой-нибудь честолюбивый памятник бросали тщетный вызов забвению. Такими древними казались эти развалины, эти следы людского тщеславия, знаки привязанности и благочестия, такими истертыми, разбитыми и запятнанными, и до того пустынной, заброшенной и всеми позабытой была эта местность, что я невольно вообразил себя первооткрывателем кладбища какого-то доисторического племени, от которого не сохранилось даже названия.

Углубленный в эти мысли, я совсем забыл обо всех предшествовавших событиях и вдруг подумал: «Как я сюда попал?»

Минутное размышление — и я нашел разгадку (хотя весьма удручающую) той таинственности, какой облекла моя фантазия все, что я здесь видел и слышал. Я был болен. Я вспомнил, как меня терзала жестокая лихорадка и как, по рассказам моей семьи, в бреду я беспрестанно требовал свободы и свежего воздуха и родные насильно удерживали меня в постели, не давая убежать из дома. Но я все-таки обманул бдительность врачей и близких и теперь очутился — но где же? Этого я не знал. Ясно было, что я зашел довольно далеко от родного города — старинного прославленного города Каркозы.

Ничто не указывало на присутствие здесь человека; не видно было дыма, не слышно собачьего лая, мычания коров, голосов играющих детей — ничего, кроме тоскливого кладбища, окутанного тайной и ужасом, порожденными моим больным воображением. Неужели у меня снова начинается горячка и не от кого ждать помощи? Не было ли все окружающее игрой больного ума? Я выкрикивал имена жены и детей, я искал их невидимые руки, пробираясь среди обломков камней по увядшей, омертвелой траве.



Шум позади заставил меня обернуться. Ко мне приближался хищный зверь — рысь.

«Если я снова свалюсь в лихорадке здесь, в этой пустыне, рысь меня растерзает!» — пронеслось у меня в голове.

Я бросился к ней с громкими воплями. Рысь невозмутимо пробежала мимо на расстоянии вытянутой руки и скрылась за одним из валунов. Минуту спустя недалеко, словно из-под земли, вынырнула голова человека, — он поднимался по склону низкого холма, вершина которого едва возвышалась над окружающей равниной. Скоро и вся его фигура выросла на фоне серого облака. Его обнаженное тело прикрывала одежда из шкур. Нечесанные волосы висели космами, длинная борода свалялась. В одной руке он держал лук и стрелы, в другой — пылающий факел, за которым тянулся хвост черного дыма. Человек ступал медленно и осторожно, словно боясь провалиться в могилу, скрытую в высокой траве. Странное видение удивило меня, но не напугало, и, направившись ему наперерез, я приветствовал его:

— Да хранит тебя Бог!

Как будто не слыша, он продолжал свой путь, даже не замедлив шага.

— Добрый незнакомец, — продолжал я, — я болен, заблудился. Прошу тебя, укажи мне дорогу в Каркозу.

Человек прошел мимо и, удаляясь, загорланил дикую песню на незнакомом мне языке. С ветки полусгнившего дерева зловеще прокричала сова, в отдалении откликнулась другая. Поглядев вверх, я увидел в разрыве облаков Альдебаран и Гиады. Все указывало на то, что наступила ночь: рысь, человек с факелом, сова. Однако я видел их ясно, как днем, — видел даже звезды, хотя не было вокруг ночного мрака! Да, я видел, но сам был невидим и неслышим. Какими ужасными чарами был я заколдован?

Я присел на корни высокого дерева, чтобы обдумать свое положение. Теперь я убедился, что безумен, и все же в убеждении моем оставалось место для сомнения. Я не чувствовал никаких признаков лихорадки. Более того, я испытывал неведомый мне дотоле прилив сил и бодрости, некое духовное и физическое возбуждение. Все мои чувства были необыкновенно обострены: я ощущал плотность воздуха, я слышал тишину.

Обнаженные корни могучего дерева, к стволу которого я прислонился, сжимали в своих объятьях гранитную плиту, уходившую одним концом под дерево. Плита, таким образом, была несколько защищена от дождей и ветров, но, несмотря на это, изрядно пострадала. Грани ее затупились, углы были отбиты, поверхность изборождена глубокими трещинами и выбоинами. Возле плиты на земле блестели чешуйки слюды — следствие разрушения. Плита когда-то покрывала могилу, из которой много веков назад выросло дерево. Жадные корни давно опустошили могилу и взяли плиту в плен.

Внезапный ветер сдул с нее сухие листья и сучья: я увидел выпуклую надпись и нагнулся, чтобы прочитать ее. Боже милосердный! Мое полное имя! Дата моего рождения! Дата моей смерти!



Горизонтальный луч пурпурного света упал на ствол дерева в тот момент, когда, охваченный ужасом, я вскочил на ноги. На востоке вставало солнце. Я стоял между деревом и огромным багровым солнечным диском — но на стволе не было моей тени!

Заунывный волчий хор приветствовал утреннюю зарю. Волки сидели на могильных холмах и курганах поодиночке и небольшими стаями; до самого горизонта я видел перед собой волков. И тут я понял, что стою на развалинах старинного и прославленного города Каркозы!

Таковы факты, переданные медиуму Бейроулу духом Хосейба Аллара Робардина.



БАНКРОТСТВО ФИРМЫ ХОУП И УОНДЕЛ



От мистера Джейбиза Хоупа, Чикаго,
мистеру Пайку Уонделу в Нью-Орлеан,
2 декабря 1877 года

Не стану утруждать Вас, дорогой друг, описанием моей поездки из Нью-Орлеана в этот полярный край. В Чикаго лютый холод, и всякий южанин, который, подобно мне, явится сюда без защитных приспособлений для носа и ушей, поверьте, будет горько сожалеть о том, что, собираясь в путь, столь неосмотрительно сэкономил на снаряжении.

Но к делу. Озеро Мичиган промерзло насквозь. Вообразите, о дитя жаркого климата, ничейные ледяные поля, протяженностью в триста миль, шириной в сорок миль и толщиной в шесть футов! Это похоже на ложь, дорогой Пайки, но Ваш компаньон по фирме «Хоуп и Уондел, Нью-Орлеанская Оптовая Продажа Башмаков и Туфель» еще никогда не врал. Я намерен прибрать этот лед к рукам. Сворачивайте наше дело и безотлагательно шлите мне все деньги. Я воздвигну склад, грандиозный как Капитолий в Вашингтоне, набью его льдом до отказа и стану по Вашему требованию и в соответствии со спросом на южном рынке отгружать лед на судах. Могу посылать лед в виде плит для катков, статуэток для украшения каминных полок, стружек для сиропов, а также в жидком виде для мороженого и вообще для любых надобностей. Вот это вещь!

Вкладываю в письмо ломтик льда в качестве образчика. Видели ли Вы когда-нибудь такой прелестный лед?

От мистера Пайка Уондела, Нью-Орлеан,
мистеру Джейбизу Хоупу в Чикаго,
24 декабря 1877 года

Ваше письмо пришло в таком безобразном виде, до такой степени размокло и расплылось, что оказалось совершенно неудобочитаемо. Должно быть, оно все время шло водой. Однако с помощью химии и фотографии мне удалось его кое-как разобрать. Отчего же Вы не вложили обещанный образчик льда?

Я распродал все (должен сказать, с ужасающим убытком) и прилагаю чек на вырученную сумму. Немедленно начинаю сражаться за подряды. Во всем полагаюсь на Вас, но все-таки позволю себе спросить, а не было ли попыток выраживать лед в наших местах? Ведь у нас есть озеро Пончертрен.

От мистера Джейбиза Хоупа, Чикаго,
мистеру Пайку Уонделу в Нью-Орлеан,
27 февраля 1878 года

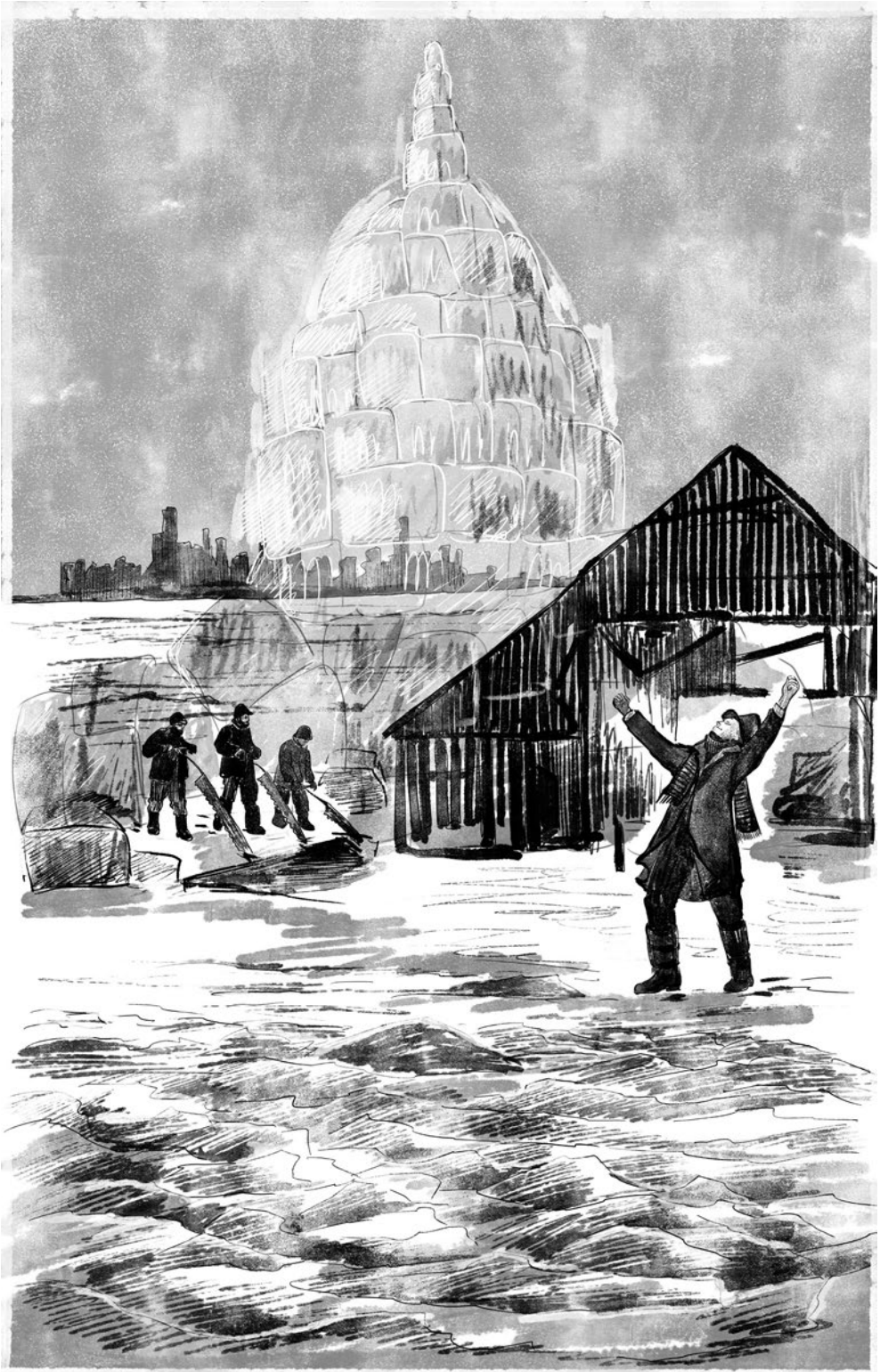
Дорогой Уонни, вот бы Вам посмотреть на наш новый склад для льда! Он, правда, дощатый, сколочен на скорую руку, и все-таки это не склад, а просто загляденье и стоит кучу денег (хотя земельную ренту я не плачу). Размерами он почти не уступает Капитолию в Вашингтоне. Как Вы думаете, не увенчать ли нам его шпилем? Он у меня почти заполнен, пятьдесят рабочих рубят лед и набивают склад днем и ночью — ужасно холодная работа! Между прочим, когда я писал Вам в прошлый раз, лед был толщиной в десять футов, сейчас он тоньше. Но пусть Вас это не огорчает: его еще здесь сколько угодно.

Наш склад расположен милях в десяти от города, так что посетители меня не очень беспокоят, что весьма отрадно. А сколько здешняя публика по этому поводу зубоскалила и хихикала!

Как это ни абсурдно и невероятно, Уонни, но знаете, по-моему, с тех пор как потеплело, наш лед стал еще холоднее. Ей-богу, это так. Можете упомянуть об этом в рекламах.

От мистера Пайка Уондела, Нью-Орлеан,
мистеру Джейбизу Хоупу в Чикаго,
7 марта 1878 года

Все идет прекрасно. Я получаю сотни заказов. Наш лед будет нарасхват. Фирму мы назовем «Вечный Лед, Нью-Орлеан-Чикаго». Вы почему-то не со-





общили мне, какой он будет, — пресный или соленый. Если пресный, не подойдет для приготовления пищи, а если соленый, то испортит мятный сироп. И где он холоднее — внутри или по наружным срезам?

От мистера Джейбиза Хоупа, Чикаго,
 мистеру Пайку Уонделу,
 3 апреля 1878 года

На Озерах открылась навигация, пароходы кишмя кишат. Я на плаву, держу курс на Буффало с долговым обязательством «Вечного Льда» в жилетном кармане. Мы обанкротились, мой бедный Пайки, «и славы, счастья не знать нам в мире сем»¹. Устройте собрание кредиторов, но сами там лучше не показывайтесь.

Вчера ночью шхуна, следовавшая из Милуоки, врезалась в груды досок, сваленную на гигантской глыбе плавучего льда — впервые в этих водах встречен

¹ Перефразированная цитата из «Сельского кладбища» Т. Грея.

айсберг. Оставшиеся в живых говорят, что айсберг величиной с вашингтонский Капитолий. И половина этого айсберга принадлежит Вам, Пайки!

Как это ни печально, но дело в том, что я выстроил склад на неподходящем месте, в миле от берега (на льду, как вы понимаете), и когда началось таяние... Бог мой, Уонни, я ничего печальнее не видывал! Представляю себе, как Вы рады, что меня в то время на складе не было.

Какие нелепые вопросы Вы мне все время задаете. Бедный мой компаньон, ничего-то Вы не понимаете в торговле льдом!



САЛТО МИСТЕРА СВИДДЕРА



жерома Боулза (как рассказывал джентльмен по имени Свиддлер) собирались повесить в пятницу девятого ноября, в пять часов вечера. Это должно было произойти в городе Флетбroke, где он сидел в тюрьме. Джером был моим другом, и я, естественно, расходился во мнениях о степени его виновности с присяжными, осудившими его на основании установленного следствием факта, что он застрелил индейца без всякой особенной надобности. После суда я неоднократно пытался добиться от губернатора штата помилования Джерома; но общественное мнение было против меня, что я приписывал отчасти свойственной людям тупости, отчасти же распространению школ и церквей, под влиянием которых Крайний Запад утратил прежнюю простоту нравов. Однако все то время, что Джером сидел в тюрьме, ожидая смерти, я, всеми правдами и неправдами, добивался помилования, не жалея сил и не зная отдыха; и утром, в тот самый день, когда была назначена казнь, губернатор послал за мной и, сказав, «что не желает, чтобы я надоедал ему всю зиму», вручил мне ту самую бумагу, в которой отказывал столько раз.

Вооружившись этим драгоценным документом, я бросился на телеграф, чтобы отправить депешу во Флетброк на имя шерифа. Я застал телеграфиста в тот момент, когда он запирает двери и ставни конторы. Все мои просьбы были напрасны: он ответил, что идет смотреть на казнь и у него нет времени отправить мою депешу. Следует пояснить, что до Флетброка было пятнадцать миль, а я находился в Суок-Крике, столице штата.

Телеграфист был неумолим, и я побежал на станцию железной дороги узнать, скоро ли будет поезд на Флетброк. Начальник станции с невозмутимым и любезным злорадством сообщил мне, что все служащие дороги отпу-

щены на казнь Джерома Боулза и уже уехали с ранним поездом, а другого поезда не будет до завтра.

Я пришел в ярость, но начальник станции преспокойно выпроводил меня и запер двери.

Бросившись в ближайшую конюшню, я потребовал лошадь. Стоит ли продолжать историю моих злоключений? Во всем городе не нашлось ни одной лошади — все они были заблаговременно наняты теми, кто собирался ехать на место казни. Так, по крайней мере, мне тогда говорили; я же знаю теперь, что это был подлый заговор против акта милосердия, ибо о помиловании стало уже известно.

Было десять часов утра. У меня оставалось всего семь часов на то, чтобы пройти пятнадцать миль пешком, но я превосходный ходок, к тому же силы мои удесят�еряла ярость; можно было не сомневаться, что я одолею это расстояние и еще час останется у меня в запасе. Лучше всего было идти по линии железной дороги: она шла, прямая как струна, пересекая ровную безлесную равнину, тогда как шоссе делало большой крюк, проходя через другой город.

Я зашагал по полотну с решимостью индейца, ступившего на военную тропу. Не успел я сделать и полумили, как меня нагнал «Ну-и-Джим» — известный под этим именем в Суон-Крике неисправимый шутник, которого все любили, но старались избегать.

Поравнявшись со мною, он спросил, уж не иду ли я «смотреть эту потеху». Сочтя за лучшее притвориться, я ответил утвердительно, но ничего не сказал о своем намерении положить этой потехе конец; я решил проучить «Ну-и-Джима» и заставить его прогуляться за пятнадцать миль попусту — было ясно, что он направляется туда же. Однако я бы предпочел, чтобы он или отстал, или обогнал меня. Первого он не хотел, а второе было ему не по силам, поэтому нам приходилось шагать рядом.

День был пасмурный и очень душный для этого времени года. Рельсы уходили вдаль между двумя рядами телеграфных столбов, словно застывших в своем унылом однообразии, и стягивались в одну точку на горизонте. Справа и слева сплошной полосой тянулось удручающее однообразие прерий.

Но я почти не думал обо всем этом, так как, будучи крайне возбужден, не чувствовал гнетущего влияния пейзажа. Я собирался спасти жизнь другу и воздать обществу искусного стрелка. О своем спутнике, чьи каблукки хрустели по гравию чуть позади меня, я вспоминал только тогда, когда он обращался ко мне с лаконическим и, казалось, насмешливым вопросом: «Устал?» Разумеется, я устал, но скорее умер бы, чем признался в этом.

Мы прошли таким образом, вероятно, около половины дороги, гораздо меньше чем в половину времени, которым я располагал, и я только-только разошелся, когда «Ну-и-Джим» снова нарушил молчание:

— В цирке колесом ходил, а?

Это была совершенная правда! Очутившись однажды в весьма затруднительных обстоятельствах, я добывал пропитание таким способом, извлекая доход из своих акробатических талантов. Тема эта была не из приятных, и я ничего не ответил. «Ну-и-Джим» не отставал:

— Хоть бы сальто мне показал, а?

Глумление, сквозившее в этих издевательских словах, трудно было стерпеть: этот молодец, по-видимому, решил, что я «выдохся», тогда, разбежавшись и хлопнув себя руками по бедрам, я сделал такой флик-флак, какой только возможно сделать без трамплина! В то мгновение, когда я выпрямился и голова моя еще кружилась, «Ну-и-Джим» проскочил вперед и вдруг так завертел меня, что я едва не свалился с насыпи. Секундой позже он зашагал по шпалам с невероятной быстротой и, язвительно смеясь, оглядывался через плечо, словно отколол бог весть какую ловкую штуку, для того чтобы очутиться впереди.

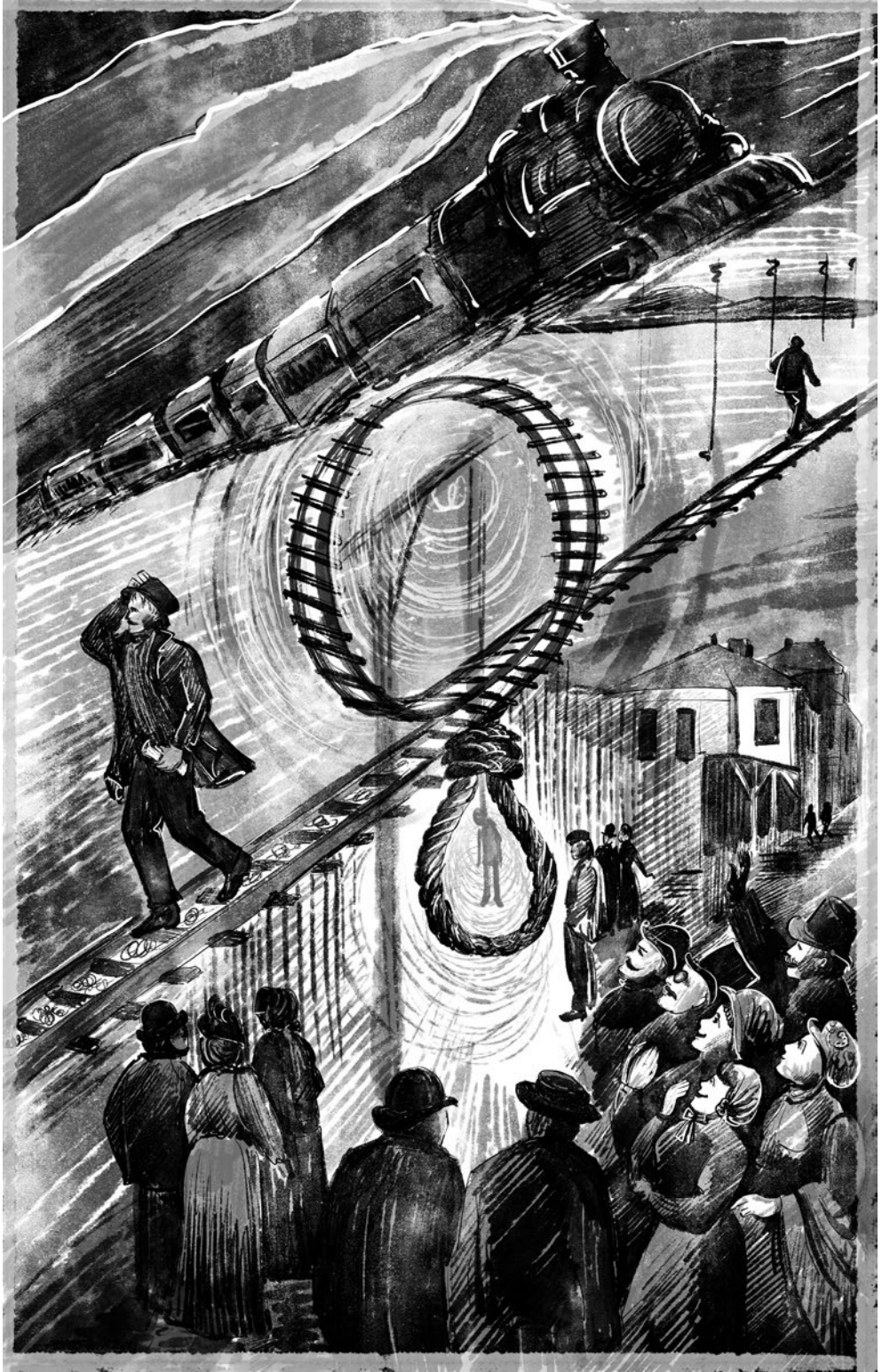
Не прошло и десяти минут, как я догнал его, хотя должно признать, что он был замечательным ходоком, Я шагал с такой быстротой, что через полчаса опередил его, а когда час был на исходе, Джим казался неподвижной черной точкой позади и, как видно, уселся на рельсы в полном изнеможении.

Избавившись от «Ну-и-Джима», я начал думать о моем друге, сидевшем в тюремной камере Флетброка, и у меня мелькнула мысль, что с казнью могут поспешить. Я знал, что народ настроен против него и что там будет много прибывших издалека, а они, конечно, захотят вернуться домой засветло. Кроме того, я не мог не сознаться самому себе, что пять часов слишком позднее время для повешения. Мучимый этими опасениями, я бессознательно ускорял шаг с каждой минутой и под конец чуть ли не пустился бегом. Я сбросил сюртук и отшвырнув его прочь, распахнул ворот рубашки и растегнул жилет. Наконец, отдуваясь и пыхтя, как паровоз, я растолкал кучку зевак, стоявших на окраине города, и как безумный замахал конвертом над головой крича:

— Обрежьте веревку! Обрежьте веревку!

И тут — ибо все смотрели на меня в совершенном изумлении и молчали — я нашел время оглядеться по сторонам, удивляясь странно знакомому виду города. И вот дома, улицы, площадь — все переместилось на сто восемьдесят градусов, словно повернувшись вокруг оси, и как человек, проснувшийся поутру, я очутился среди привычной обстановки. Яснее говоря, я прибежал обратно в Суон-Крик, ошибиться было невозможно.

Все это было делом «Ну-и-Джима». Коварный плут намеренно заставил меня сделать головокружительное сальто-мортале, толкнул меня, завертел и пустился в обратный путь, тем самым заставив и меня идти в обратном направлении. Пасмурный день, две линии телеграфных столбов по обе сторо-



ны полотна, полное сходство пейзажа справа и слева — все это участвовало в заговоре и помешало мне заметить перемену направления.

Когда в тот вечер экстренный поезд вернулся из Флетброка, пассажирам рассказали забавную историю, случившуюся со мной. Как раз это и было нужно, чтоб развеселить их после того, что они видели, — ибо мое сальто сломило шею Джерому Боулзу, находившемуся за семь миль от меня!



НЕСОСТОЯВШАЯСЯ КРЕМАЦИЯ



анним июньским утром 1872 года я убил своего отца — поступок, который в то время произвел на меня глубокое впечатление. Это произошло до моей женитьбы, когда я жил с родителями в штате Висконсин. Мы с отцом сидели в библиотеке нашего дома, деля награбленное нами за эту ночь. Добыча состояла главным образом из предметов домашнего обихода, и разделить ее поровну было делом нелегким. Все шло хорошо, пока мы делили скатерти, полотенца и тому подобное, серебро тоже было поделено почти поровну, однако вы и сами понимаете, что при попытке разделить один музыкальный ящик на два без остатка могут встретиться затруднения. Именно этот музыкальный ящик навлек несчастье и позор на нашу семью. Если бы мы его не взяли, мой бедный отец и до сих пор был бы жив.

Это было необыкновенно изящное произведение искусства, инкрустированное драгоценным деревом и покрытое тонкой резьбой. Ящик не только играл множество самых разнообразных мелодий, но и свистел перепелкой, лаял, кукарекал каждое утро на рассвете, безразлично, заводили его или нет, и сквернословил на чем свет стоит. Это последнее качество пленило моего отца и заставило его совершить единственный бесчестный поступок в жизни, хотя возможно, что он совершил бы и другие, останься он в живых: отец попытался утаить от меня этот ящик и заверял честью, что не брал его, мне же было как нельзя лучше известно, что он и самый грабеж задумал главным образом ради этого ящика.

Музыкальный ящик был спрятан у отца под плащом: мы переоделись в плащи, желая остаться неузнанными. Он торжественно поклялся мне, что не брал ящика. Я же знал, что ящик у него, знал и то, что отцу было, по-видимому, неизвестно, именно: что ящик на рассвете закукарекает и изобличит старика, если я смогу продлить раздел добычи до того времени.

Случилось так, как я хотел: когда свет газа в библиотеке начал бледнеть и очертания окон смутно проступили сквозь шторы, из-под плаща старого джентльмена раздалось протяжное кукареку, а за ним — несколько тактов арии из Тангейзера, и все это завершилось громким щелканьем. Между нами на столе лежал маленький топорик, которым мы пользовались, чтобы проникнуть в тот злополучный дом; я схватил этот топорик. Старик, видя, что записываться дольше бесполезно, вынул ящик из-под плаща и поставил его на стол.

— Я сделал это только ради спасения ящика, но если ты хочешь, руби его пополам, — сказал он.

Он страстно любил музыку и сам играл на концертино с большим чувством и экспрессией. Я сказал:

— Не стану оспаривать чистоты ваших побуждений — было бы самонадеянно с моей стороны судить своего отца. Однако дело прежде всего, и вот этим топориком я намерен расторгнуть наше товарищество, если на будущее время вы не согласитесь, выходя на работу, надевать на шею колокольчик.

— Нет, — ответил он после некоторого раздумья, — нет, этого я не могу сделать, это значило бы сознаться в нечестности. Люди скажут, что ты мне не доверяешь.

Я не мог не восхититься такой твердостью духа и щепетильностью. В ту минуту я гордился им и готов был простить его ошибку, но один взгляд на драгоценный ящик вернул мне решимость, и я, как уже рассказывал, помог почтенному старцу покинуть эту юдоль слез. Сделав это, я ощутил некоторое беспокойство. Не только потому, что он был мой отец, виновник моего существования, но и потому, что труп должны были неминуемо обнаружить. Теперь совсем уже рассвело, и моя мать могла в любую минуту войти в библиотеку. При таких обстоятельствах я счел нужным спровадить и ее туда же, что и сделал. После этого я расплатился со слугами и отпустил их.

В тот же день я пошел к начальнику полиции, рассказал ему о том, что сделал, и попросил у него совета. Мне было бы чрезвычайно прискорбно, если бы поступок мой получил огласку. Мое поведение все единодушно осудят, газеты воспользуются этим против меня, если я выставлю свою кандидатуру на какой-нибудь пост.

Начальник понял всю основательность этих соображений; он и сам был довольно опытный убийца. Посоветовавшись с председателем Коллегии Лжесвидетелей, он сказал мне, что всего лучше спрятать оба трупа в книжный шкаф, застраховать дом на самую большую сумму и поджечь его. Так я и поступил.

В библиотеке стоял книжный шкаф, купленный отцом у одного полоумного изобретателя, и пока еще пустой. По форме и размерам он походил на старинный гардероб, какие бывают в спальнях, где нет стенных шкафов, и распахивался сверху донизу, как дамский пеньюар. Дверцы были стеклянные. Я только что обмыл моих покойных родителей, и теперь они достаточно зако-





ченели, чтобы стоять не сгибаясь, поэтому я поставил их в шкаф, из которого предварительно вынул полки. Я запер шкаф и занавесил стеклянные дверцы. Инспектор страховой конторы раз десять прошел мимо шкафа, ничего не подозревая.

В тот же вечер, получив страховой полис, я поджег дом и лесом отправился в город за две мили отсюда, где меня и нашли в то время, когда тревога была в полном разгаре. С воплями ужаса, выражая опасения за судьбу своих родителей, я присоединился к бегущей толпе и попал на пожарище через два часа после того, как поджег дом.

Когда я прибежал на место, весь город был уже там. Дом сгорел дотла, но посреди ровного слоя тлеющего пепла целый и невредимый красовался книжный шкаф! Занавески сгорели, обнаружив стеклянные дверцы, и злое щий багровый свет озарял внутренность шкафа. В нем «точно как живой» стоял мой незабвенный отец, а рядом с ним — подруга его радостей и печалей. Ни одного волоска у них не опалило огнем, и одежда их была не тронута.



На голове и шее виднелись раны, которые я был принужден нанести им, чтобы достигнуть своей цели. Толпа смолкла, словно увидев чудо: благоговение и страх сковали языки. Я сам был очень взволнован.

Года через три после этого, когда описанные выше события почти изгладилась из моей памяти, я поехал в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сбыте фальшивых облигаций Соединенных Штатов. Однажды, заглянув случайно в мебельную лавку, я увидел точную копию того книжного шкафа.

— Я купил его почти даром у образумившегося изобретателя, — объяснил торговец. — Он сказал, что этот шкаф — негорючий, потому что поры в дереве заполнены квасцами под гидравлическим давлением, а стекло сделано из асбеста. Не думаю, впрочем, чтобы он действительно был негорючий, — вы можете его приобрести за ту же цену, что и обыкновенный книжный шкаф.

— Нет, — сказал я, — если вы не дадите гарантии, что шкаф негорючий, я его не куплю, — и, простившись с торговцем, я вышел из лавки.

Я не взял бы его и даром: он вызывал во мне чрезвычайно неприятные воспоминания.



БОЙ В УЩЕЛЬЕ КОУЛТЕРА



вы думаете, полковник, что ваш храбрый Коултер согласится поставить здесь хоть одну из своих пушек? — спросил генерал.

По-видимому, он задал этот вопрос не вполне серьезно; действительно, место, о котором шла речь, было не совсем подходящим для того, чтобы какой бы то ни было артиллерист, даже самый храбрый, согласился поставить здесь батарею. «Может быть, генерал хотел добродушно намек-

нуть полковнику на то, что в последнее время он чересчур уж превозносил мужество капитана Коултера?» — подумал полковник.

— Генерал, — горячо ответил он, — Коултер согласится поставить свои пушки где угодно, лишь бы они могли бить по нашим противникам, — и полковник протянул руку по направлению к линии неприятеля.

— Тем не менее, это единственное место для батареи, — сказал генерал.

На этот раз он говорил совершенно серьезно.

Место, о котором шла речь, представляло собою углубление, впадину в крутом гребне горы; мимо него проходила проезжая дорога; достигнув этой наивысшей своей точки крутым извилистым подъемом, дорога делала столь же извилистый, но менее крутой спуск в сторону неприятеля. На милом направо и налево хребет, хотя и занятый пехотой северян, залегшей сейчас же за острым гребнем и державшейся там словно одним давлением на нее воздуха, не представлял ни одного местечка для постановки орудий; оставалось единственное место — это углубление, а оно было настолько узко, что было сплошь занято полотном дороги. Со стороны южан этот пункт контролировали две батареи, установленные на возвышении за ручьем, за полмили отсюда. Все пушки южан, за исключением одной, были замаскированы деревьями фруктового сада; лишь одна — и это казалось почти наглостью — стояла как раз перед довольно величественным зданием — усадьбой плантатора. Пози-

ция, которую занимала эта пушка, была довольно безопасной, но только потому, что федеральной пехоте было запрещено стрелять. Таким образом «Коултерово ущелье», как прозвали потом это место, отнюдь не могло привлечь в этот прекрасный солнечный день артиллеристов в качестве позиции, на которой «прямо хотелось бы разместить батарею».

Несколько лошадиных трупов валялось на дороге, да столько же человеческих тел было сложено рядом сбоку от полотна и немного дальше, на скате горы. Все они, за исключением одного, были кавалеристами и принадлежали к авангарду северян. Один был квартирмейстером. Генерал, командовавший дивизией, и полковник, начальник бригады, со своими штабами и эскортом выехали в ущелье, чтобы взглянуть на неприятельские пушки, которые тотчас же скрылись за высокими столбами дыма. Не было никакого расчета долго наблюдать за этими пушками, обладавшими, по-видимому, способностями каракатицы, скрывающейся, как известно, когда ее преследуют, в туче выпускаемой ею из желудка черной жидкости. В результате этого кратковременного наблюдения и последовал диалог между генералом и полковником, с которого началось наше повествование.

— Это единственное место, — повторил задумчиво генерал, — откуда можно обстрелять их.

Полковник взглянул на него с серьезным видом:

— Но здесь есть место только для одной пушки, генерал, — одной против двенадцати.

— Это правда — не более чем для одной, — сказал генерал с гримасой, которая лишь с большой натяжкой могла быть истолкована как улыбка. — Но зато ваш храбрый Коултер — сам целая батарея.

Теперь нельзя уже было не почувствовать иронии. Это разозлило полковника, но он не нашелся, что ответить. Дух воинской дисциплины не очень-то поощряет возражения, не говоря уже о споре.

В этот момент молодой артиллерийский офицер медленно поднимался верхом по дороге в сопровождении горниста. Это был капитан Коултер. Ему было не больше двадцати трех лет. Он был среднего роста, но очень строен и гибок. Его посадка на лошади чем-то напоминала посадку штатского. Лицо его обращало на себя внимание: худое, с горбатым носом, серыми глазами, с маленькими белокурыми усиками и с длинными, развевающимися, светлыми волосами. В costume его заметна была нарочитая небрежность. Фуражка на нем сидела набок, мундир был застегнут только на одну пуговицу, у пояса, так что из-под него был виден большой кусок белой рубашки, довольно чистой, учитывая условия походной жизни. Но эта небрежность ограничивалась только костюмом и манерами капитана, лицо же его выражало напряженный интерес к окружающему. Его серые глаза, бросавшие от времени до времени острый взгляд по сторонам и шнырявшие кругом, как лучи прожектора, были большей частью обращены вверх — к точке небесного свода над уще-

льем; впрочем, это продолжалось только до тех пор, пока он не поднялся на вершину; тут уже нечего было смотреть вверх. Поравнявшись с дивизионным и бригадным командирами, он механически отдал честь и хотел было проехать мимо, но движимый каким-то внезапным побуждением полковник сделал ему знак остановиться.

— Капитан Коултер, — сказал он, — на той вершине у неприятеля поставлено двенадцать пушек. Если я правильно понял генерала, он предлагает вам поставить здесь одну пушку и обстрелять их.

Наступило тягостное молчание; генерал тупо смотрел, как вдали какой-то полк медленно взбирался в гору, пробираясь сквозь густой кустарник; разбившись на куски, полк напоминал разорванное, волочащееся по земле облако голубого дыма. Коултер, казалось, не видел генерала. Вдруг капитан заговорил, медленно и с видимым усилием:

— Вы сказали на той вершине, напротив, сэр? Пушки поставлены, значит, близко от дома?

— А, вы проезжали по этой дороге? Да, около самого дома.

— И это... необходимо... обстрелять их? Категорический приказ?

Он заметно побледнел и говорил хриплым голосом. Полковник был удивлен, ошеломлен. Он украдкой взглянул на генерала. Правильное неподвижное лицо генерала ничего не выражало и казалось отлитым из бронзы. Минуту спустя генерал уехал, сопровождаемый своим штабом и свитой. Первым побуждением уничтоженного и негодующего полковника было арестовать капитана Коултера, но последний шепотом сказал несколько слов своему горнисту, отдал честь полковнику и поехал прямой дорогой к ущелью; скоро его силуэт обрисовался на самой высшей точке дороги; на коне, с полевым биноклем у глаз, он был четок и недвижим на фоне неба, как конная статуя. Горнист помчался вниз по дороге, в противоположном направлении, и скрылся за деревьями. Скоро звук его трубы раздался в кедровой чаще, и через невероятно короткий промежуток времени пушка вместе с зарядным ящиком, запряженные каждые шестью лошадьми и в сопровождении полного комплекта прислуги, выехали, грохоча и подпрыгивая, на склон горы; люди подхватили пушку, окруженную облаком пыли, бесформенную в своем чехле, и покатали ее на руках к роковому месту на гребне, среди трупов павших лошадей.

Взмах руки капитана, несколько странных и быстрых движений прислуги, и прежде, может быть, чем пехота, расположившаяся вдоль дороги, перестала слышать грохот ее колес, большое белое облако покатилося вниз по холму, и, при оглушительном звуке отдачи, бой в «ущелье Коултера» начался.

Мы не намерены передавать все подробности и весь ход этого страшного поединка — поединка, различные моменты которого отличались только степенью отчаяния. Почти в тот же самый момент, когда пушка Коултера бросила свой облачный вызов, двенадцать ответных клубов дыма взметнулись

кверху из-за деревьев, окружавших дом плантатора, и гул, в двенадцать раз более сильный, загремел в ответ, как расколотое эхо. Начиная с этого момента и вплоть до конца федеральные канониры вели свой безнадежный бой среди раскаленного металла, летевшего быстрее молнии, несшего своим прикосновением смерть.

Не желая смотреть на людей, которым он не мог помочь, и быть немым свидетелем бойни, которую он не мог прекратить, полковник взобрался на вершину, на четверть мили левее; само ущелье было оттуда не видно, а клубы черно-красного дыма, вылетающие из него, придавали ему сходство с кратером огнедышащего вулкана. В полевой бинокль полковник видел и неприятельские пушки и, поскольку это было возможно, следил за результатами стрельбы Коултера... если только сам Коултер был еще жив и если это еще он руководил стрельбой. Полковник увидел, что федеральные артиллеристы, не обращая внимания на те пушки, местоположение которых выдавали только выбрасываемые ими клубы дыма, сосредоточили все свое внимание на одной пушке, стоявшей на открытом месте — на лужайке против дома плантатора. Над этим дерзким орудием и вокруг него то и дело разрывались гранаты с небольшими промежутками в несколько секунд. Некоторые снаряды попали в дом, о чем можно было судить по тонкой струе дыма, поднимавшейся над разбитой крышей. Фигуры распростертых на земле убитых людей и лошадей были отчетливо видны.

— Если наши ребята делают такие дела с одной пушкой, каково им выносить стрельбу их двенадцати орудий? — сказал полковник стоявшему поблизости адъютанту. — Спуститесь и передайте командиру орудия, что я поздравляю его с меткостью стрельбы.

Повернувшись к другому офицеру, он прибавил:

— Вы заметили, как неохотно подчинился распоряжению начальства Коултер?

— Да, сэр, заметил.

— Ну так, пожалуйста, ни слова об этом. Не думаю, чтобы генерал поставил ему это в вину. Интересно, как генерал объяснит себе свое собственное поведение. Чего он хотел? Доставить арьергарду отступающего неприятеля развлечение?

Снизу подходил молодой офицер; он, тяжело дыша, взбирался по крутому подъему. Едва успев отдать честь, он проговорил, с трудом переводя дух:

— Полковник, меня прислал полковник Хармон — сообщить вам, что неприятельские пушки находятся на расстоянии ружейного выстрела от наших позиций, и многие из них отчетливо видны с нескольких пунктов занимаемой нами высоты.

Бригадный командир взглянул на офицера совершенно безучастно.

— Это мне известно, — спокойно ответил он.

Молодой адъютант был, по-видимому, озадачен.

— Полковник Хармон хотел бы иметь разрешение заставить их замолчать, — пробормотал он.

— Я бы тоже хотел этого, — продолжал тем же тоном полковник. — Передайте мой привет полковнику Хармону и скажите ему, что приказ генерала не открывать стрельбы из ружей остается в силе.

Адъютант отдал честь и ушел. Полковник повернулся на каблуках и опять посмотрел на неприятельские пушки.

— Полковник, — сказал начальник штаба, — я не знаю, должен ли я говорить, но тут что-то неладное. Вам известно, кстати, что капитан Коултер — уроженец Юга?

— Нет! Неужели это правда?

— Я слышал, что этим летом дивизия, которой командовал наш генерал, несколько недель стояла лагерем по соседству с усадьбой капитана Коултера и...

— Слушайте! — прервал его полковник, поднимая руку. — Вы слышите это?

«Это» — было молчание пушки федералистов. И «это» слышали все: штаб, ординарцы, пехота, расположившаяся позади гребня; все «слышало» это и с любопытством смотрели в сторону кратера, откуда теперь не поднималось ни одного облака дыма, за исключением редких дымков от разрывавшихся там неприятельских снарядов. Затем послышался звук трубы, потом слабый стук колес; минуту спустя канонада возобновилась с удвоенной силой. Подбитая пушка была заменена новой.

— Так вот, — сказал офицер, продолжая прерванный рассказ, — генерал познакомился с семьей Коултера. И вот тут вышла какая-то история — я не знаю точно, в чем было дело, — с женой Коултера. Она была сецессионисткой¹, как и все они, за исключением самого Коултера. Была жалоба в главный штаб армии, и генерала перевели в эту дивизию. Очень странно, что батарея Коултера была впоследствии причислена к нашей дивизии.

Полковник встал с камня, на котором они сидели. В глазах его вспыхнуло благородное негодование.

— Слушайте, Моррисон, — сказал он, глядя прямо в лицо своему болтливому штаб-офицеру. — Вы слышали эту историю от порядочного человека или от какого-нибудь сплетника?

— Я не желаю говорить, каким путем я узнал это, если это не является необходимым, — ответил офицер, слегка покраснев. — Но я ручаюсь вам головой, что все это в главных чертах верно.

Полковник повернулся к небольшой группе офицеров, стоявших в стороне от них.

— Лейтенант Вильяме! — закричал он.

¹ Сецессионисты — так именовались сторонники отделения южных штатов от США во время гражданской войны 1861-1865 годов; целью устроенного ими мятежа было провозглашение Конфедеративных Штатов Америки (*Прим. Ред.*).

Один из офицеров отделился от группы и, выступив вперед и отдав честь, произнес:

— Простите, полковник, я думал, что вас известили. Вильяме убит там, внизу, снарядом. Что прикажете, сэр?

Лейтенант Вильяме был тем самым офицером, которому выпала честь передать командиру батареи поздравление полковника с меткой стрельбой.

— Идите, — сказал полковник, — и прикажите немедленно убрать орудие. Стойте! Я пойду с вами.

Он пустился почти бегом по склону по направлению к ущелью и рисковал сломать себе шею, прыгая по камням и пробираясь сквозь заросли; его спутники следовали за ним в беспорядке. У подошвы горы они сели на ожидавших их лошадей, поехали крупной рысью, сделали поворот и въехали в ущелье. Зрелище, представившееся их глазам, было ужасно.

Углубление, которое было достаточно широко для одной пушки, было загромождено обломками, по крайней мере, четырех орудий. Офицеры увидели, как замолкла последняя подбитая пушка, — не хватало людей, чтобы быстро заменить ее новой. Обломки валялись по обе стороны дороги; люди старались очистить место посередине, по которому пала теперь пятая пушка. Что касается людей, то они казались какими-то демонами. Все были обнажены до пояса, их грязная кожа казалась черной от пороха и была испещрена кровавыми пятнами; они были без шапок. Их движения, когда они действовали банником, напоминали движения сумасшедших. Они упирались опухшими плечами и окровавленными руками в колеса орудия каждый раз, когда оно откатывалось, и подкатывали тяжелую пушку назад на ее место. Команды не было слышно: в этом ужасном хаосе выстрелов, рвущихся снарядов, звенящих осколков и летающих щепок никакой голос не мог бы быть услышан. Офицеры — если они тут и были — не отличались от солдат; все работали вместе, пока не погибали. Прочистив пушку, ее заряжали; зарядив, ее наводили и стреляли. Полковник заметил нечто новое для него в военной практике — нечто страшное и противоестественное: жерло пушки было в крови! Не имея долгое время воды, люди обмакивали губку в кровь своих убитых товарищей, которой натекли уже целые лужи. Во время работы не было никаких пререканий. Каждый ясно знал, что ему делать. Когда один падал, другой, казалось, вырастал из-под земли на месте мертвеца, чтобы пасть в свою очередь.

Вместе с погибшими пушками лежали погибшие люди — около обломков, под ними и наверху; а позади, за дорогой, — страшная процессия! — ползли на руках и коленях раненые, которые еще могли двигаться. Полковнику, — он из сострадания послал свою свиту правее, — пришлось давить копытами своего коня тех, смерть которых не вызвала сомнений, для того, чтобы не раздавить тех, в которых еще теплилась жизнь. Он спокойно прокладывая себе путь в этом аду, проехал вдоль орудия и, ослепленный дымом последнего залпа, коснулся наощупь щеки какого-то человека, державшего банник. Тот



после этого упал (ибо счел себя убитым), думая, что в него попал снаряд. Какой-то чудовищный демон преисподней выскочил из дыма, чтобы занять его место, но остановился и посмотрел на всадника каким-то нездешним взглядом: зубы его сверкали белизной из-за черных губ; глаза, горящие и расширенные, сверкали как уголья, под его окровавленным лбом. Полковник повелительным жестом указал ему назад. Демон поклонился в знак повиновения. Это был капитан Коултер.

Одновременно с жестом полковника, прекратившим канонаду, тишина воцарилась на всем поле сражения. Снаряды не летали больше в это ущелье смерти; неприятель также прекратил канонаду. Его армия ушла уже несколько часов назад, и командир арьергарда, удерживавший эту опасную позицию такое долгое время в надежде прекратить огонь федералистов, в этот момент сам прекратил канонаду.

— Я не имел представления о размерах моей власти, — шуточно говорил кому-то полковник, направляя свой путь к вершине, чтобы узнать, что же случилось на самом деле.

Час спустя его бригада расположилась бивуаком на неприятельской территории, и зеваки рассматривали с некоторым страхом, как какие-то священные реликвии, десятки валяющихся раскоряченных мертвых лошадей и три подбитых пушки.

Мертвых унесли; их истерзанные, изувеченные тела дали бы победителям слишком большое удовлетворение.

Разумеется, полковник и офицеры остановились в доме плантатора. Правда, он довольно сильно пострадал от огня, но все же это было лучше, чем ночевать под открытым небом. Мебель была опрокинута и поломана. Стены и потолок в некоторых местах были совершенно разрушены, и всюду чувствовался запах порохового дыма. Но кровати, сундуки, полные дамских нарядов, и буфет с посудой сравнительно уцелели. Новые постояльцы устроились на ночь довольно комфортабельно, а уничтожение батареи Коултера дало им интересную тему для разговоров.

Во время ужина в столовую вошел ординарец и попросил разрешения поговорить с полковником.

— В чем дело, Барбур? — добродушно спросил полковник, не расслышав.

— Полковник, в погребе что-то неладно. Не знаю, в чем дело, но там кто-то есть. Я пошел было туда поискать чего-нибудь...

— Я сейчас спущусь и посмотрю, — сказал один из штаб-офицеров, вставая.

— Я тоже пойду, — сказал полковник. — Пусть другие остаются. Веди нас.

Они взяли со стола подсвечник и спустились по лестнице в подвал; ведущий их ординарец дрожал от страха. Свеча давала очень слабый свет, но, как только они вошли, она осветила человеческую фигуру. Человек сидел на камне, прислонившись к потемневшей каменной стене, около которой они сто-

яли; колени его были подняты, а голова наклонена вперед. Лица, повернутого к ним в профиль, не было видно, поскольку человек так сильно наклонился вперед, что его длинные волосы закрывали ему лицо; и — странная вещь — борода, иссиня-черного цвета, падала огромной спутанной массой и лежала на полу у его ног. Офицеры невольно остановились; полковник, взяв свечу из дрожащих рук ординарца, подошел к человеку и внимательно всмотрелся в него. Длинная черная борода оказалась волосами мертвой женщины. Женщина сжимала в руках мертвого ребенка. Оба лежали в объятиях мужчины, который прижимал их к груди и губам. Кровь была на волосах женщины; кровь была на волосах мужчины. Неподалеку лежала оторванная детская нога. В выбитом земляном полу подвала было углубление — свежерытая яма, в которой лежал осколок снаряда с зазубренными с одной стороны краями.

Полковник поднял свечу как можно выше. Пол в комнате над подвалом был пробит, и расщепленные доски свесились вниз.

— Этот каземат — ненадежное прикрытие от бомб, — серьезно сказал полковник.

Ему даже не пришло в голову, что его оценка события грешит легкомыслием.

Некоторое время они молча стояли возле этой трагической группы: штаб-офицер думал о своем прерванном ужине, ординарец ломал голову, что могло бы заключаться в бочках, стоявших на другом конце погребца. Вдруг человек, которого они считали мертвым, поднял голову и спокойно взглянул им в лицо. Лицо его было черно как уголь; щеки его были словно татуированы — от глаз вниз шли неправильные извилистые линии. Губы были серовато-белые, как у актера, загримировавшегося под негра. На лбу была кровь.

Штаб-офицер подался на шаг назад, ординарец отодвинулся еще дальше.

— Что вы здесь делаете, любезный? — спросил полковник, не двигаясь с места.

— Этот дом принадлежит мне, сэр, — был вежливый ответ.

— Вам? Ах, я вижу. А это?

— Моя жена и ребенок. Я — капитан Коултер.



СМЕРТЬ ХЭЛПИНА ФРЭЙЗЕРА

...ибо смерть неизмеримо больше преобразует нас, чем мы то наблюдаем в явном виде. Обыкновенно нам предстает душа, порою облеченная в плоть (то есть в те телесные формы, в которых она ранее пребывала), но случается, что и тело, лишенное души, сходит в мир. Тому подтверждением суть многие истории, запечатлевшие восставших мертвецов, лишенных естественных чувств и памяти, но горящих единственно злобой. Известно к тому же, что некоторые души, с присущей им святостью периода земной жизни, смертью обращаются в сосуды дьявольские.

*Гали*¹

I



емной летней ночью человек очнулся от глубокого сна, приподнял голову с земли и, вглядываясь в окружающий его лесной мрак, произнес: «Катрин Лярю». Больше ничего: он и так сказал слишком много без видимых на то причин.

Звали человека Хэлпин Фрэйзер. Тогда он жил в городке Св. Елена² — про место его нынешнего обитания трудно сказать что-либо определенное, ибо он давно уже мертв. Люди, имеющие обыкновение спать в лесу, когда под тобой только сырая земля, усыпанная сухими листьями, а над головой сквозь ветви, стряхивающие капли дождя, просвечивают небеса, породившие наш мир, не могут надеяться на долгую жизнь, а Фрэйзеру уже минуло в ту пору тридцать два года. Множество

¹ Гали — вымышленное имя автора трактата (*Прим. перев.*).

² Действие рассказа происходит на юго-западе США (*Прим. перев.*)

людей, миллионы людей во всем мире — и они лучшие из нас — считают этот возраст очень солидным. Это дети — ведь плавание по жизни видится им из стартовой гавани, которую они еще не успели покинуть. Поэтому всякий корабль, преодолевший более или менее значительный путь, представляется им уже подплывающим к противоположному берегу. Однако утверждать наверняка, что Хэлпин Фрэйзер погиб в силу неблагоприятных климатических условий и прочих естественных причин, мы все же поостережемся.

Весь день он провел в горах к западу от долины Напа, охотясь на голубей и другую живность. Пополудни надвинулись облака, и он сбился с маршрута. Ему следовало спускаться вниз по холмам — это был единственный безопасный путь, за неимением другого, — но, не найдя тропы, он плутал так долго, что ночь застала его в лесу. Убедившись в невозможности прорваться сквозь густые заросли толокнянки и прочих кустарников, крайне расстроенный и обессиленный от усталости, он прилег в тени огромной мадроньи¹ и мгновенно забылся в глубоком сне. Прошло уже несколько часов, когда в самую полночь один из таинственных вестников Божиих, бесчисленным сонмом скользящих к западу в преддверии рассвета, шепнул пробуждающее слово в ухо спящего, тотчас же вскочившего и произнесшего, неизвестно почему и неизвестно чье имя.

Хэлпина Фрэйзера отнюдь нельзя было причислить к философам или ученым. То обстоятельство, что, проснувшись утром в лесной глуши, он вслух произнес имя, которое напрочь отсутствовало в его памяти и вряд ли бы когда пришло на ум, не вызвало у него особого желания исследовать подобный феномен. Он, правда, нашел это событие несколько странным, но тут же, слегка вздрогнув, будто отдавая должное неизбежности ночных холодов, снова лег и заснул. Однако на этот раз сон его уже не был столь безмятежен.

Ему снилось, что он идет по пыльной дороге, белеющей в густой тьме летней ночи. Откуда шла и куда вела дорога, а также почему он шел по ней, Фрэйзер не знал, хотя все казалось ему естественным и не требующим объяснений, каковым и является путь во сне, ибо в Мире Сна удивительное встречается сплошь и рядом, не вызывая никакого беспокойства. Вскоре он подошел к развилке дорог. Одна из дорог, забирающая куда-то в сторону, вся поросла травой — давно исхоженная, решил он, поскольку наверняка ведет к неминуемой беде. И он свернул на нее без колебаний, влекомый какой-то неодолимой силой.

Продвигаясь вперед, он стал осознавать, что все вокруг населено бесчисленными существами, которым он никак не мог подобрать названий. Из-за деревьев по обеим сторонам дороги до него доносился приглушенный шепот на странном языке, все же частично ему понятном: против его души и тела явно замышлялся чудовищный заговор.

¹ Мадронья — земляничное дерево, род растений семейства вересковых (*Прим. перев.*)

Уже давно миновала полночь, но бесконечный лес был освещен бледным светом, шедшим ниоткуда, ибо в его таинственной мерцании ничто не оставляло тени. Неглубокая лужа в ложбине-колее, словно залитой дождем, бросилась ему в глаза своим странным алым цветом. Он нагнулся и погрузил ладонь в лужу — на пальцах его застыли капли. Кровь! Кровь была повсюду: на широких листьях сорняков, беспорядочно растущих по обочинам дороги, на комках сухой пыли, словно обрызганных красным дождем; кровь запекалась на стволах деревьев и алой росой струилась по листве.

Он вдруг с ужасом почувствовал, что все виденное — лишь прелюдия к ожидающему его неотвратимому возмездию. Он понесет кару за совершенное преступление — Фрэйзер ясно осознавал свою вину, но никак не мог определить для себя, в чем же состояло само преступление. К таинственным фантомам, надвигающимся на него, добавилась попытка собственным сознанием. Напрасно он старался восстановить в памяти момент совершения греха: сцены и события проносились в его мозгу беспорядочной толпой, одна картина наплывала на другую, годы и лица кружились в диком хороводе, но нигде он не мог найти даже намека на то, что искал. Неудача удвоила его страх: он ощущал себя убийцей при полном неведении о цели убийства и имени жертвы. Вокруг мерцал зловещий таинственный свет, мертвые деревья источали ядовитые испарения, туманящие мозг; отовсюду доносились пугающие звуки вздохов и рыданий. Он уже не мог долее выносить этот безумный кошмар, и в невероятной попытке разрушить наваждение, заглушить этот дьявольский шепот, парализующий его волю, он закричал во всю силу своих легких. Голос его, казалось разбившийся на бесконечное множество незнакомых звуков, шелестя и постанывая, растворился и замер в глубине леса. Все вокруг осталось как прежде. Но Фрэйзер уже приободрился: «Я не должен сдаваться. Не может один только дьявол владеть этой дорогой! Есть и другие силы, силы Добра, — я буду взывать к ним, умолять о спасении, я расскажу им все, что здесь претерпел, — я... жалкий смертный, кающийся грешник, несчастный поэт!» Поэтом Хэлпин Фрэйзер ощутил себя только в этот момент, в час покаяния, — во сне.

Он выхватил из кармана небольшую книжку с красным кожаным переплетом, в начале которой было несколько пустых листов для записей, и тут же вспомнил, что у него нет с собой карандаша. Тогда он обломил прут в ближайшем кустарнике, обмакнул его в кровавую лужу и стал быстро писать. Едва он коснулся бумаги кончиком прута, как низкий, грубый хохот раздался откуда-то издали, приближаясь и становясь все громче и громче, бессмысленно-торжествующий злобный смех, напоминающий крик одинокой гагары на полночном берегу. Смех разросся до душераздирающего неземного вопля, заполнившего все вокруг, и стал медленно затихать вдали одинокими всхлипами, будто незримое чудовище вдоволь насытилось и снова удалилось в свое ло-



гово на краю мира, Однако человек почувствовал обман — чудовище было не-далеке, неподвижно затаясь.

Он не мог точно определить, откуда у него появилась такая уверенность, но сознание неотвратно твердило ему — приближается что-то ужасное, превосходящее в мстительной, сверхъестественной злобе и могуществе всех призраков, в дикой пляске круживших вокруг. Он знал теперь, от кого исходит смех. Теперь оно направлялось к нему. Он не представлял себе точно, откуда оно придет, — а угадывать не отважился. Все его предыдущие страхи были забыты и утонули в невероятном ужасе, охватившем его. Только одна мысль пронзала мозг Фрэйзера: успеть, попытаться призвать силы Добра, которые, блуждая в призрачном лесу, могли освободить его, если, конечно, спасение было суждено... Он писал с безумной скоростью, прут сам сочился кровью — его даже не надо было обмакивать в лужу. Но в середине очередного предложения руки вдруг перестали повиноваться Хэлпину и беспомощно обвисли — книга упала на землю. Не способный двинуться или закричать, он увидел перед собой безмолвно стоящую фигуру в могильном саване; пустые, мертвые глаза на бледном лице были неподвижно устремлены на Хэлпина. Он узнал свою мать.

II



юности Хэлпин Фрэйзер жил с родителями в городке Нэшвилл, штат Теннесси. Фрэйзеры были состоятельны и обладали заметным весом в обществе, приходившем в себя после тягот гражданской войны. У их детей были все шансы достичь социального успеха, получив престижное образование в соответствии с традициями того времени. Благодаря приличному окружению и неустанным наставлениям они отличались приятными манерами и развитым умом. Хэлпин, как младший в семье и не обладавший слишком крепким здоровьем, был несколько избалован. Усугубила ситуацию особая нежность к нему ма-

тери в сочетании с полным безразличием со стороны отца. Фрэйзер-старший в ряду состоятельных южан не являлся исключением — он занимался политикой. Проблемы страны, а вернее штата и округа, отнимали у него слишком много времени и сил, и, уже слегка оглохший от бесконечных споров и перебранок политических деятелей (в число которых входил, естественно, и он сам), отец Фрэйзера почти не прислушивался к робким запросам своих домашних.

Молодой Хэлпин рос мечтательным, изнеженным и довольно романтичным юношей, проявлявшим склонность скорее к литературе, чем к юриспру-

денции — профессии, которую для него избрали. Родственники, разделявшие современные взгляды на теорию наследственности, уверяли, что в Хэлпине, с его меланхолической натурой и страстью к созерцанию звездного неба, воплотилась душа покойного Майрона Бэйна — прадеда по материнской линии: аристократ Бэйн в свое время слыл известным поэтом по всей (не столь уж малой) территории английских колоний. Всем было ясно, что Хэлпин, даже не имевший у себя экземпляра поэтического сборника предка (напечатанного за счет семьи и быстро исчезнувшего с книжного рынка), был, тем не менее, довольно редким исключением среди Фрэйзеров. Однако, вопреки логике, семья категорически отказывалась примириться с характером Хэлпина, унаследованным от великого предка. Хэлпина изрядно третировали, видя в нем белую ворону, чересчур интеллектуальную и готовую в любой момент закаркать стихотворным размером, опозорив тем самым всю стаю. Фрэйзеры из Теннесси были практичными людьми — не в общепринятом смысле подверженности обывательским настроениям, а в своем здоровом осуждении любых качеств мужского характера, мешающих заняться политикой. В оправдание молодому Фрэйзеру необходимо отметить, что, хотя в нем и воспроизвелось большинство душевных черт, приписываемых историей и семейным преданием знаменитому барду-колонисту, о собственном поэтическом его даре можно было заключить чисто умозрительно. Ему не только никогда не удавалось по-настоящему оседлать Музу, но, по правде говоря, даже под угрозой смертной казни он не выжал бы из себя ни одной стихотворной строчки. Так что никто не мог сказать наверняка, когда у Хэлпина пробудятся поэтические способности и лира наконец сыграет.

Юноша мужал, пребывая в довольстве и достатке, ничем особенно при этом не интересуясь. С матерью они испытывали чувство взаимной глубокой привязанности, поскольку леди Фрэйзер втайне сама была преданной почитательницей покойного Майрона Бэйна, хотя и со столь восхитительным в лицах ее пола тактом (вопреки мнению дерзких клеветников, приписывающих эту черту характера исконно женскому коварству) она заботливо скрывала свою слабость от чужих глаз, исключая сына, испытывавшего аналогичное чувство к прадеду. Общее осознание вины еще больше укрепляло их дружбу. Если мать и портила характер юного Хэлпина, то последний явно ей в этом подыгрывал. Достигнув той степени зрелости, когда каждому южанину не мешало бы проявлять интерес к ходу муниципальных выборов, Хэлпин привязался к матери — очаровательной женщине, которую он с детства привык звать просто Кэти, — еще сильнее. В отношениях двух романтических душ реализовалось то самое, вечно оспариваемое, преобладание сексуальных мотивов, окрашенных в теплые, глубокие тона и привносящих элемент красоты во все жизненные коллизии, в том числе возникающие между единокровными родственниками. Мать с сыном были поистине неразлучны, и со стороны их нередко принимали за любовников.

Войдя однажды в спальню к матери, Фрэйзер поцеловал ее в лоб, мгновение поиграл с локоном распущенных черных волос и, стараясь придать голосу спокойствие, спросил:

— Кэти, ты не будешь возражать, если я на несколько недель отправлюсь в Калифорнию?

Кэти могла и не отвечать на вопрос, поскольку ответ предательски выдали ее щеки. Она явно собиралась возражать; тому свидетельствовали и крупные слезы, наполнившие ее большие карие глаза.

— Сын мой, — произнесла она, с бесконечной нежностью глядя на Хэлпина, — я должна была это предвидеть. Разве я не проплакала полночи, когда мне во сне явился дедушка Бэйн и, стоя у собственного портрета — где он так молод и красив, — указал мне на твой портрет, висящий рядом? И взглянув, я вдруг не смогла различить черт твоего лица — оно было покрыто материей, как у покойника. Твой отец тогда еще долго смеялся надо мной, но ведь мы-то с тобой знаем, мои дорогой, что такое снится неспроста. А внизу, у самого края покрывала, я видела следы пальцев на твоём горле — прости меня, но мы привыкли быть откровенны друг с другом. Возможно, у тебя есть другое объяснение и весь этот сон не связан с твоей поездкой в Калифорнию... А что если тебе взять меня с собой?

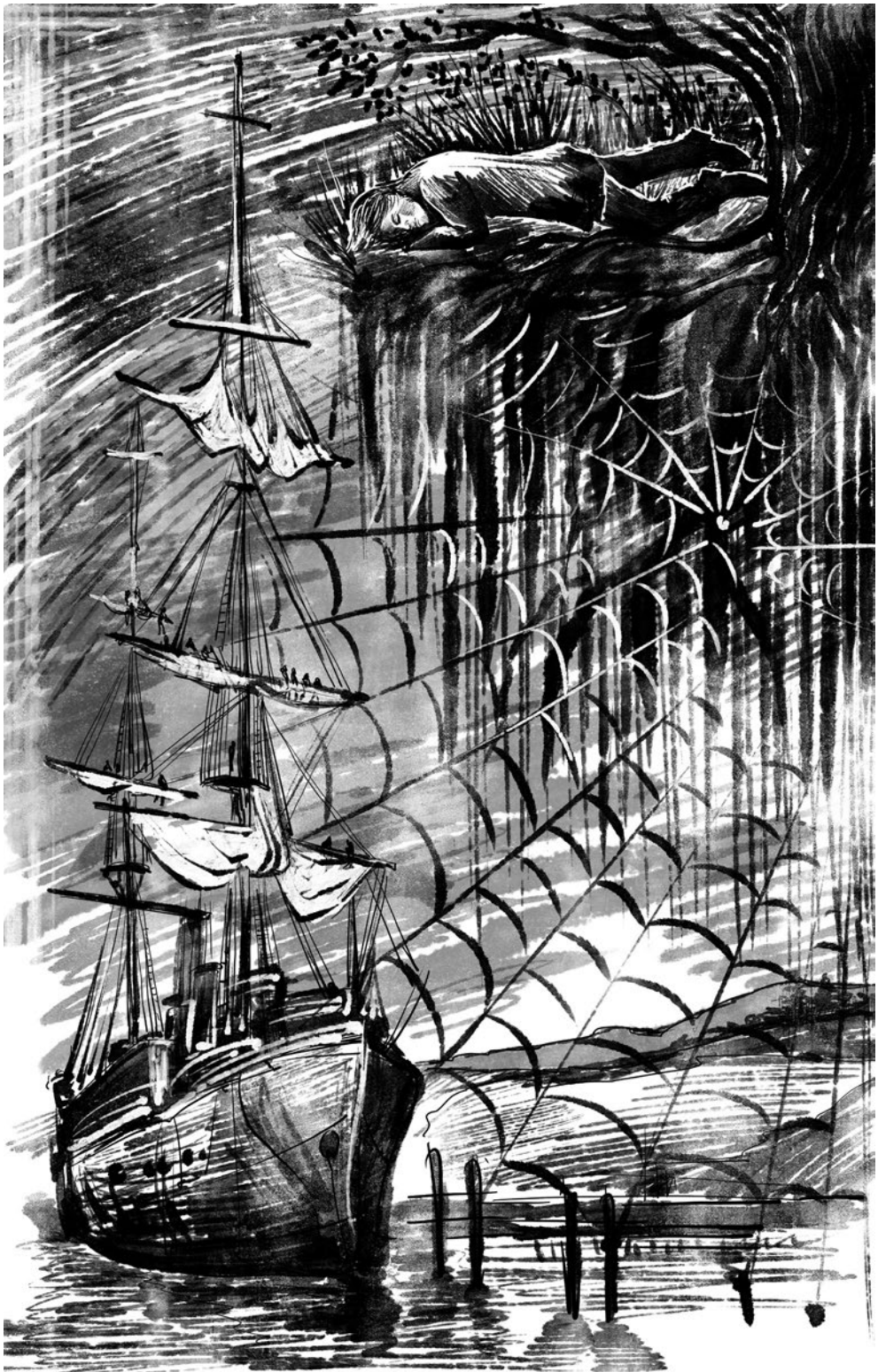
Надо признать, что столь оригинальное толкование сна в свете недавних научных открытий в целом произвело мало впечатления на более логичный ум ее сына; по крайней мере, на мгновение у него возникло чувство, что вещий сон означает пусть столь же трагическую, зато более простую и близкую развязку — сейчас его удавят.

— В Калифорнии случайно нет целебных источников, — спросила миссис Фрэйзер, не дав возможности сыну по-своему прокомментировать сон, — где можно было бы избавиться от ревматизма и невралгии? Смотри, у меня пальцы буквально одеревенели. Я почти уверена, что это из-за них у меня по ночам такие боли.

Она растопырила пальцы перед самым его носом. О своем диагнозе юноша, улыбнувшись, предпочел умолчать, и истории о нем ничего неизвестно, однако отметим: пальцы, пусть и менее подверженные столь невыносимым болям, все же крайне редко предъявляются к врачебному освидетельствованию даже самыми беспокойными пациентами, требующими наиточнейшего диагноза.

В конечном итоге один из двух странных людей, имеющих одинаково необычные понятия о долге, отправился в Калифорнию, как того требовали интересы его клиента, а другая осталась дома — после тяжелых моральных колебаний, вряд ли бы вызвавших даже малейший интерес у ее мужа.

Прогуливаясь в одну из ночей по побережью в Сан-Франциско, Хэлпин Фрэйзер с внезапностью, потрясшей его самого, завербовался матросом на судно. Фактически его напоили и затащили на борт «чудо-корабля», направившегося в дальние моря. Но с этим вынужденным путешествием его несча-



стья не кончились: корабль сел на мель у одного из островов в южной части Тихого океана, и прошло еще долгих шесть лет, прежде чем уцелевших подхватила торговая шхуна и доставила обратно в Сан-Франциско.

Хотя кошелек Фрэйзера был тощ, дух его остался столь же могуч, как и в прежние годы, казавшиеся ему бесконечно далекими. Он не принимал подачек от незнакомых людей и пока устроился на жилье с одним из матросов — сотоварищем по несчастью — вблизи городка Св. Елена, ожидая новостей и денежного перевода от домашних. Именно в эти дни он отправился на охоту, где и уснул в лесу.



III

Призрак, явившийся спящему в ночном лесу, так похожий и одновременно не похожий на его мать, был ужасен. В сердце Хэлпина не шевельнулись ни любовь, ни волнение: души его не коснулись сладостные воспоминания о золотой юности — и вообще ни одно чувство не проснулось в нем, за исключением невыносимого, всепоглощающего страха. Он попробовал повернуться и бежать прочь, но ноги отказались служить ему; он неспособен был даже оторвать их от земли. Руки бессильно повисли, и только глаза еще не потеряли способности видеть: он не в состоянии был отвести взгляд от безмолвной тускло-серой фигуры. Он вдруг осознал, что перед ним предстала не душа, лишенная тела, нет, наоборот, — самое ужасное из дьявольских видений, наводнявших призрачный лес, — тело, лишенное души! Напрасно Хэлпин искал хоть капли жалости и сочувствия в пустых глазах призрака — в слабой надежде на пощаду. «Апелляция не принимается», — пришла ему в голову идиотская фраза из юридического лексикона: абсурдность ее только удвоила его ужас, как если бы чиркнувшая спичка привела к страшному взрыву.

В течение всего этого времени, тянувшегося, казалось, так долго, что мир стал седым от старости и грехов, а призрачный звучаще-мерцающий лес, исполнив свое предназначение в чудовищно последовательной цепочке событий, бесследно исчез, на Фрэйзера был неотрывно устремлен взгляд, исполненный безумным вожделением хищного зверя; затем призрак протянул руки вперед и прыгнул — яростно и злобно. В этот момент силы снова вернулись к Хэлпину, но воля его оставалась парализованной; мозг пребывал в забытии, хотя мощное тело и быстрые руки, жившие своей жизнью, слепой и неодушевленной, сопротивлялись с бешеным отчаянием. Какое-то мгновение, ка-

залось, он изучал необычайный дуэт омертвевшего сознания и бездушного механического тела как бы со стороны, в качестве нейтрального наблюдателя, — но тут же он снова стал самим собой, будто облекшись в собственное тело, опять управляемое всеокрушающей, неудержимой волей, сравнимой лишь с волей его ужасного противника.

Но что может сотворить смертный с порождением собственного сна? Сознание, родившее фантом, уже побеждено; итог битвы предрешен ее причиной. Несмотря на отчаянное сопротивление, он почувствовал, как холодные пальцы сжались на его горле. Опять опрокинутый на землю, он увидел над собой мертвое искаженное лицо. Затем наступил мрак. Послышался звук, напоминающий бой барабанов и смутный шелест голосов, затем далекий резкий крик, призвавший к тишине, — и Хэлпину Фрэйзеру приснилось, что он умер.

IV



еплая ясная ночь сменилась сырым туманным утром. В полдень предыдущего дня у западного склона горы Св. Елены появилось облачко, такое легкое и прозрачное, что его и облаком-то трудно было назвать — скорее, сгустком воздуха. Облачко было совершенно неосязуемо и похоже чуть ли не на материализовавшийся сон, так что хотелось крикнуть: «Смотрите скорее, сейчас оно исчезнет!»

В какой-то момент облако заметно сгустилось и увеличилось в размерах. Уцепившись одним краем за вершину горы, другим оно все дальше и дальше заполняло пространство над нижними склонами. В то же самое время оно раздвигалось к северу и югу, вбирая в себя клочья тумана, казалось, отрывавшиеся от гор. Так оно росло и росло, пока, наконец, полностью не закрыло вершину со стороны долины, расстилаясь над самой долиной бесконечным ковром, серым и мрачным. В Калистоге, расположенной у подножия горы в верхней части долины, серое хмурое утро сменило беззвездную ночь. Туман, спустившийся в долину, расплывался к югу, накрывая ферму за фермой, и скоро поглотил городок Св. Елена, расположенный в девяти милях от Калистога. Тяжелая пыль осела на дорогу, деревья сочились влагой, птицы спокойно восседали в своих гнездах, а утренний свет был бледен и мрачен, лишенный обычных солнечных красок.

Чуть только начало светать, два человека вышли из городка и направились на север, в сторону Калистоги. За плечами у них висели ружья, но всякий мало-мальски опытный житель этих мест никогда не спутал бы их с охотника-



ми. Одного звали Холкер — он был помощником шерифа из Напы, а второй, Джерельсон, — частным детективом из Сан-Франциско. Охотились же они исключительно за людьми.

— Далеко еще? — спросил Холкер. Они шли уже довольно долго, оставляя цепочку следов на влажной пыли дороги.

— До Белой Церкви? Где-то с полмили, — ответил другой и добавил: — Между прочим, это давно заброшенное школьное здание, так что никакой церковью, тем более белой, там и не пахнет. Когда-то, правда, там проводились религиозные службы — в бытность ее, действительно, белой, — но сейчас осталось только кладбище, весьма заброшенное и никого не интересующее, разве только поэтов. Кстати, вы догадываетесь, почему я послал за вами и просил захватить оружие?

— Я не любитель заранее забивать себе мозги — в нужный момент вы всегда мне очень точно излагаете суть дела. Впрочем, попытаюсь угадать: я должен помочь вам арестовать один из трупов на кладбище?

— Вы помните Брэнскома? — спросил Джерельсон, заслуженно оставив неуместную остроту собеседника без всякого внимания.

— Это который перерезал горло у собственной жены? Естественно, помню. Я потерял на него неделю плюс расходы из собственного кармана. Обеща-

ли вознаграждение в пятьсот долларов, но он как сквозь землю провалился. Уж не хотите ли вы сказать...

— Вот именно. Все это время он торчал у вас под носом. Ночами Брэнском навещает кладбище у Белой Церкви.

— Черт возьми! Ведь там же похоронили его жену!

— В том-то и дело. Нетрудно было сообразить, что когда-нибудь он придет на ее могилу.

— Ну, это уж, пожалуй, самое последнее место, куда он мог нанести визит,

— Все остальные места вы уже прощупали. Поэтому я устроил ему засаду на кладбище.

— И вы взяли его?

— Черта с два, это он взял меня! Мерзавец, обошел сзади и наставил пушку. Пришлось убраться — хорошо еще, не продырявил. Прекрасный экземпляр, и я готов довольствоваться половиной вознаграждения, если вы не против.

Холкер усмехнулся и объяснил, что в настоящее время его кредиторы особенно назойливы.

— Тогда я для начала хотел бы познакомить вас с местностью, а план мы составим вместе, — пояснил детектив, — что касается оружия, то оно нам не помешает, даже днем.

— А парень-то наверняка чокнутый, — заметил помощник шерифа, — вознаграждение обещано в случае поимки, но только если будет вынесен обвинительный приговор. Невменяемому же обвинение не предъявишь...

Холкера настолько поразила возможность неудачи судебного разбирательства, что он остановился посреди дороги и продолжал затем свой путь уже с гораздо меньшим рвением.

— Да, пожалуй, — согласился Джерельсон, — надо признать, что более небритого, нечесанного, неприбранного и так далее персонажа я в жизни не встречал, разве что среди представителей древнейшего и славнейшего ордена бродяг. Но что говорить — я уже взялся за дело и не могу его бросить. Да и кому, как не нам, снять здесь сливки? Ведь ни одна живая душа не знает, что он болтается в этих местах.

— Ну хорошо, — заключил Холкер, — тогда вперед. Посмотрим ваше кладбище. Кстати, как бы нам самим не «обрести там вечный покой» — знаете, фразочки всякие из старых эпитафий... Старине Брэнскому в один прекрасный момент может надоесть ваша привычка совать нос в чужие дела. Между прочим, я слышал, что настоящая его фамилия не Брэнском.

— А какая?

— Убей Бог, не помню. У меня давно пропал всякий интерес к этому мерзавцу, и фамилия его в памяти не отложилась. Кажется, что-то вроде Парди. Женщина, которую он столь бесцеремонно пришил, до встречи с ним была вдовой. Она приехала в Калифорнию отыскать каких-то родственников — вполне обычная картина. Впрочем, все обстоятельства вам известны.

— Естественно.

— Но, не зная имени покойницы, как вы ухитрились отыскать нужную могилу? Человек, называвший мне подлинную фамилию Брэнскома, утверждал, что она стерта с надгробия.

— Могила мне еще не удалось найти, — Джерельсон явно неохотно признался в отсутствии важнейшей детали к их будущему плану, — но я осмотрел место в целом. Одной из наших задач на сегодняшнее утро будет как раз идентификация могилы. А вот и Белая Церковь.

Ранее дорогу по обеим сторонам окаймляли поля, но теперь слева они увидели лес из дубов, мадроний и гигантских елей, являющих в тумане свои туманные и зловещие очертания. Подлесок был временами густым, а в этом месте почти непроходимым. В первый момент Холкер не увидел Белую Церковь, но, когда они углубились в лес, он заметил ее смутные контуры. Здание отсюда казалось огромным и почти недостижимым. Но еще несколько шагов, и вот оно перед ними, потемневшее от сырости и совсем небольшое в размерах. Постройка представляла собой обычную сельскую школу самой традиционной архитектуры — выступающий каменный фундамент, поросшая мхом крыша, пустые оконные проемы, давно лишившиеся рам и стекол. Школа разрушалась, но еще не совсем превратилась в руины и являла собой типичный образчик так называемых «калифорнийских исторических памятников», как их гордо величают в путеводителях для иностранцев. Едва окинув взглядом невыразительное строение, Джерельсон начал продираться сквозь окружавшие его мокрые заросли.

— Я покажу вам место, где Брэнском меня подловил, — сказал он, — вот кладбище.

Местами среди кустов встречались небольшие склепы, часто скрывавшие под собой не более одной могилы. Отдельные могилы угадывались по истертым камням или сгнившим, торчащим в разные стороны доскам, частью опрокинутым на землю и заваленным обрушившейся загородкой; изредка могильные холмы определялись по гравию, мелькавшему в грудах опавших листьев. А во многих случаях уже ничто не напоминало о последнем пристанище безмянных бедняг, оставивших в грешном мире «множество безутешных друзей» и тут же ими забытых, — лишь матушка-земля вздыхала по ним и помнила их дольше, чем лукавые плакальщики. Дорожки на кладбище, если они и существовали когда-нибудь, давно заросли, а на месте могил высились огромные деревья, своими корнями и ветвями разрушавшие ограду. Везде властвовал дух отверженности и гниения, который нигде не ощущается столь явно и гнетуще, как в забытых обителях мертвых.

Прокладывая путь сквозь заросли молодых деревьев, Джерельсон внезапно замер и, скинув с плеч ружье, жестом приказал спутнику остановиться. Взгляд его был устремлен куда-то вперед. Холкер, идущий следом, хотя и ничего не увидел, изобразил напряженное внимание в ожидании продолжения

событий. Через мгновение Джерельсон осторожно двинулся вперед, и Холкер за ним.

Под раскинувшимися ветвями огромной ели лежал труп мужчины. Молча склонившись над телом, они рассматривали его, стараясь по первым, самым общим, признакам — выражению лица, одежде, положению тела — удовлетворить мгновенным и ясным образом свое недоуменное любопытство.

Труп лежал на спине, ноги его были широко раздвинуты. Одна рука была закинута за голову, другая, резко согнутая в локте, прикрывала горло; все указывало на отчаянное и безуспешное сопротивление — но кому?

Рядом лежали дробовик и ядгаш, за сетчатой тканью которого топорщились перья убитых птиц. Переломанные стволы молодых дубков с оборванными листьями и содранной корой, разворошенные груды гниющих листьев у ног покойника — компаньоны уже не сомневались, что здесь произошла жестокая схватка. На сырой земле, вблизи бедер трупа, явственно виднелись отпечатки человеческих колен.

Окончательно характер трагедии прояснился, когда они осмотрели лицо и горло трупа, — почерневшие, составлявшие резкий контраст с грудью и руками. Плечи его покоились на небольшом пригорке, и голова оказалась неестественно закинутой назад; широко раскрытые глаза бессмысленно уставились куда-то вдалеку. Изо рта, с застывшей на губах пеной, вывалился черный одеревеневший язык. На горле отпечатались страшные следы — не просто отпечатки пальцев, а иссиня-черные кровоподтеки и рваные раны, оставленные невероятной силы руками, терзавшими безвольную плоть, сжимавшими горло в чудовищном объятии еще долгое время после наступления смерти. Грудь, горло, лицо покойника были влажны, одежда взмокла; капли воды застыли в шевелюре и на усах.

Некоторое время они молча смотрели на труп, затем Холкер произнес:

— Бедняга! Ну и досталось же ему!

Джерельсон с ружьем в руках, не отрывая пальца от спускового крючка, осмотрел ближайšie кусты.

— Какой-то маньяк, — заключил он, по-прежнему пристально всматриваясь в глубину леса, — не иначе, как здесь поработал Брэнском или, как его... Ларди.

Вдруг внимание Холкера привлек небольшой предмет, полузасыпанный землей и сгнившими листьями. Это была книжка с красным кожаным переплетом; он поднял и открыл ее. В начале книги было оставлено несколько пустых страниц для записей, и на первой из них было выведено: «Хэлпин Фрэйзер». Далее на нескольких листах располагались еле различимые стихотворные строки, написанные чем-то красным и, вероятно, в большой спешке. Холкер громко прочел их, в то время как его спутник продолжал мрачно всматриваться в тускло-серые очертания окружающего убогого мира, прислушиваясь к монотонному стуку капель с поверженных ветвей, столь созвучному настрою его души:

В безмолвном мраке призрачного леса,
 Где лавр и мирт сплелись в объятье вековым,
 Стоял недвижим я, и мерзкий шепот беса
 Мне слышался в предчувствии роковом.
 К мадронье хищно тянет ветви ива.
 Неслышно источает яд паслен,
 Кровавой жертвы алчут рута и крапива,
 Бессмертник сохшийся на гибель обречен.
 Умолкло пенье птиц, прервался труд пчелы,
 И в сонном воздухе разнесся запах тлена,
 Зловещий смысл странной тишины
 Мне открывался постепенно:
 Лесные духи в заговоре тайном
 Мне предвещают вечный хлад могил,
 Сочится кровью лес, и в ропоте отчаянном
 Фантомов чудятся угрозы адских сил.
 Я громко крикнул, ужасом объятый,
 Но крик мой замер в дьявольской горсти...
 Смертельный страх в преддверии расплаты
 За грех неведомый кто может отвести?
 И вдруг незримый...

Холкер закончил чтение: стихотворение обрывалось в середине строки.

— Похоже на Бэйна, — заметил Джерельсон, слышавший в некотором роде знатоком. Он уже потерял свою настороженность и молча глядел на труп.

— Что за Бэйн? — спросил Холкер без особого любопытства.

— Майрон Бэйн, довольно известная личность среди первых поселенцев более века назад. Писал ужасно мрачные стихи — у меня есть томик его избранного. Это стихотворение там отсутствует, наверное, забыли включить в сборник.

— Уже холодно — надо идти, — предложил Холкер, — придется вызывать следователя из Напы.

Джерельсон в ответ молча кивнул головой. Огибая пригорок, примятый головой и плечами покойника, он вдруг наступил на что-то твердое. Джерельсон нагнулся и извлек из густой травы надгробную доску, на которой еще виднелась едва различимая надпись: «Катрин Лярю».

— Лярю, конечно, Лярю! — внезапно осенило Холкера. — Вот настоящая фамилия Брэнскома, а вовсе не Парди. И... черт побери! До меня только что дошло — убитую женщину звали Фрэйзер!

— Чертовски странное дело... — медленно произнес Джерельсон, — не нравится оно мне...

В этот момент из туманной дали до них донесся взрыв смеха — низкого, хриплого, безумного смеха, подобного вою крадущейся в ночи гиены; смех

становился все громче и громче, он приближался, отчетливый и жуткий, пока, казалось, не подступил к ним вплотную. Смех был столь нечеловеческим, столь дьявольски неестественным, что приятели замерли от ужаса. Никто из них даже не подумал вскинуть ружье — против такого смеха пули бессильны. Но так же постепенно, как он возник, смех затихал вдали. Пронзительный, душевраздирающий хохот становился все глуше и отдаленнее, и, наконец, последние умирающие всхлипы его, бессмысленные и невыразимо тусклые, растаяли в бездонной тишине.



ЛЕТНЕЙ НОЧЬЮ



от факт, что Генри Армстронга похоронили, казалось, отнюдь не убедил его самого в том, что он, действительно, умер: его вообще трудно в чем-то убедить. Правда, в настоящий момент все его органы чувств в один голос утверждали — он был вынужден признать их правоту, — что его и в самом деле похоронили. Сама его поза — на спине, ладони на животе, и все тело окутано чем-то легким, непрочным, что можно было, в принципе, без труда разорвать, хотя это и не принесло бы ему сколь-нибудь ощути-

мой пользы, — вкупе с жестким ограничением передвижения его персоны, черная, непроглядная темнота, воистину гробовая тишина практически не давали ему возможности для дальнейших споров, а потому он безропотно смирился со своим нынешним положением.

Но то, что он умер, — о, нет! Он всего лишь болен, очень тяжело болен. Кроме того, сейчас его охватили столь присущие большинству больных вялость и апатия, а потому его не особенно волновал вопрос о том, сколь необычную участь уготовила ему судьба. Философом он никогда не был — заурядным, здравомыслящим индивидуумом, наделенным в данный момент даром патологического безразличия: тот орган, который мог хоть как-то повлиять на нынешнюю ситуацию, на данный момент изволил бездействовать.

Поэтому Генри Армстронг, не испытывая никаких опасений по поводу своего ближайшего будущего, погрузился в сон, так что можно было со всеми основаниями утверждать, что сейчас он пребывал в состоянии мира и блаженства.

Однако наверху, прямо у него над головой, что-то определенно происходило. Там была темная летняя ночь, изредка простреливаемая всполохами молний, которые безмолвно поджигали густые слои облаков, низко



ставшихся над землей где-то далеко на востоке, что явно предвещало скорую грозу. Короткие подрагивающие вспышки света придавали кладбищенским памятникам и надгробным плитам зловещую определенность, заставляя их время от времени пускаться в пляс. Это была определенно не та ночь, когда на кладбище мог повстречаться досужий гуляка, поэтому трое мужчин, которые как раз там и находились и усердно раскапывали могилу Генри Армстронга, чувствовали себя в относительной безопасности.

Двое из них были молодыми студентами медицинского колледжа, располагавшегося в нескольких милях от кладбища; что же до третьего, то это был гигантского роста негр по имени Джес. Он уже много лет работал на кладбище в качестве разнорабочего, а точнее человека, готового сдвигать не на все, и, как он сам частенько любил шутить, ему была известна «каждая Божья душа в этом месте». На основании того занятия, которому он предавался в настоящее время, можно было с уверенностью утверждать, что кладбищенская территория на самом деле была заселена гораздо менее плотно, нежели о том свидетельствовали официальные реестры.

Снаружи, за стеной кладбища, на некотором удалении от основной дороги, стояла запряженная в легкий фургон лошадь.

Раскопки проходили без особого труда: заполнявшая могилу земля еще даже не начала спрессовываться, ибо была засыпана в нее лишь несколько часов назад, как-то довольно скоро вся она оказалась лежащей снаружи. Извлечение гроба было, правда, не столь простым делом, однако в конце концов они справились и с этим, поскольку дело свое — свой приработок — Джес освоил чуть ли не назубок. Затем он проворно отвинтил крышку гроба и отложил ее в сторону, обнажив лежавшее в нем тело человека, облаченное в черные брюки и белую рубашку. В это самое мгновение воздух над кладбищем разорвала вспышка молнии, послышался оглушительный удар грома, и Генри Армстронг спокойно занял сидячую позу.

Охваченные ужасом, истошно вопя, мужчины кинулись бежать куда глаза глядят — как выяснилось, у каждого они глядели исключительно в своем направлении, — и, пожалуй, ничто на земле не смогло бы заставить двоих из них вернуться назад. Но Джес был сделан из другого теста.

Серым предрассветным утром двое студентов, бледные и изможденные кошмаром и сменившей его затем неослабевающей тревогой, отчего их сердца все еще никак не могли обрести нормального биения, встретились у здания медицинского колледжа.

— Ты видел?.. — спросил один.

— Боже Праведный, да... Что же нам делать?

Они обошли здание, подойдя к тыльной его стороне, а там увидели знакомую им лошадь, запряженную в легкий фургон; животное было привязано к столбу рядом со входом в секционную. Они машинально вошли внутрь помещения.

В полумраке на лавке сидел негр Джес. Он поднялся и широко осклабился: теперь им были видны лишь его глаза и белые зубы.

— Я жду, когда вы мне заплатите, — проговорил он.

На длинном столе лежало распростертое тело Генри Армстронга; голова его была испачкана кровью и глиной, оставшейся после нанесенного мощного удара лопатой.



НАСТОЯЩЕЕ ЧУДОВИЩЕ

I



оследний человек, который приехал в Хэрди-Гэрди, не вызвал к себе ни малейшего интереса. Его даже не окрестили каким-нибудь красноречивым прозвищем, которым в лагерях старателей так часто приветствуют новичков. Во всяком другом лагере уже одно это последнее обстоятельство обеспечило бы ему какую-нибудь кличку вроде «Беспрозованного» или «Непоминающего». Но не так случилось в Хэрди-Гэрди.

Его приезд не вызвал ни малейшей зыби любопытства на социальной поверхности Хэрди-Гэрди, ибо к общекалифорнийскому пренебрежению к биографии своих граждан это местечко присоединяло еще свое социальное равнодушие. Давно прошли те времена, когда кто-нибудь интересовался, кто приехал в Хэрди-Гэрди или вообще приехал ли кто-нибудь. Никто не жил теперь в Хэрди-Гэрди.

Два года назад лагерь мог похвастаться деятельным населением из двух или трех тысяч мужчин и не менее дюжины женщин. В течение нескольких недель люди упорно трудились, но золота не обнаружили. Они обнаружили только исключительную игривость характера того человека, который заманил их сюда своими побасенками о скрытых будто бы здесь богатых залежах золота. Материальной выгоды от этих трудов не было, таким образом, никакой, но из этого не следует, чтобы они дали трудившимся хотя бы нравственное удовлетворение. Уже на третий день существования лагеря пуля из револьвера одного общественно-настроенного гражданина навсегда избавила фантазера от каких-либо нареканий. Тем не менее его вымысел не был лишен некоторого фактического основания, и многие из старателей еще долго околачивались в Хэрди-Гэрди и его окрестностях. Но все это миновало, и теперь все давно уже разбежалось и разъехалось.

Старатели оставили немало следов своего пребывания. От того места, где Индейский ручей впадает в реку Сан-Хаун-Смит, вдоль обоих его берегов и вплоть до ущелья, из которого он вытекает, тянулся двойной ряд покинутых хижин, которые, казалось, сейчас упадут друг другу в объятия, чтобы вместе оплакивать свою заброшенность; почти такое же количество построек взгромоздилось с обеих сторон на откосы; казалось, что, достигнув командующих пунктов, они наклонились вперед, чтобы получше рассмотреть эту чувствительную сцену. Большая часть этих построек превратилась, словно от голода, в какие-то скелеты домов, на которых болтались неприглядные лохмотья чего-то, что могло показаться кожей, но в действительности было холстом. Маленькая долина ручья, изодранная и расковыренная киркой и лопатой, имела вид чрезвычайно неприятный; длинные извилистые полосы высыхающих шлюзных желобов отдыхали кое-где на вершинах остроконечных хребтов и неуклюже, словно на ходулях, переваливались вниз через нетесаные столбы. Все местечко представляло грубую, отталкивающую картину задержанного развития, которая в молодых странах заменяет величественную красоту развалин, создаваемую временем. Всюду, где оставался хоть клочок первосозданной почвы, появились обильные заросли сорной травы и терновника, и любопытствующий посетитель мог бы разыскать в их сырой, нездоровой чаще бесчисленные сувениры блестящего некогда лагеря — одиночный, потерявший свою пару сапог, покрытый зеленой плесенью и гниющими листьями, старую фетровую шляпу, бранные останки фланелевой рубашки, бесчеловечно изувеченные коробки из-под сардин и поразительное количество черных бутылок из-под рома, разброшенных повсюду с истинно великодушным беспристрастием.

II



словек, вновь открывший Хэрди-Гэрди, очевидно, не интересовался его археологией, и его усталый взгляд не сменился сентиментальным вздохом, когда он оглядел печальные следы потерянного труда и разбитых надежд, удручающее значение которых еще подчеркивалось иронической роскошью дешевой позолоты, наведенной на развалины местечка восходящим солнцем. Он только снял со спины своего усталого осла выюк со снаряжением старателя, который был немного больше самого осла, и, вынув из мешка топор, немедленно же направился по высохшему руслу Индейского ручья к вершине низкого песчаного холма.



Перешагнув через упавшую изгородь из кустарника и досок, он поднял одну доску, расколол ее на пять частей и заострил их с одного конца. Затем он принялся за поиски чего-то, постоянно нагибаясь к земле и что-то внимательно рассматривая. Наконец его терпеливое исследование, по-видимому, увенчалось успехом: он выпрямился вдруг во весь рост, сделал торжествующий жест, произнес слово: «Скэрри!» — и пошел дальше длинными, ровными шагами, отсчитывая каждый шаг; затем он остановился и вбил один из приготовленных им кольев в землю. После этого он внимательно огляделся, отсчитал на поразительно неровной почве еще несколько шагов и вколотил второй кол. Пройдя двойное расстояние под прямым углом к своему прежнему направлению, он вбил третий и, повторив всю процедуру, вколотил в землю четвертый, а затем и пятый кол; перед тем как вбить пятый кол, он расщепил его верхушку и всунул в щель старый конверт, испещренный какими-то знаками, сделанными карандашом. Иначе говоря, он сделал заявку на участок на склоне горы, согласно с местными законами Хэрди-Гэрди, и поставил обычные метки.

Необходимо объяснить, что одним из предместий Хэрди-Гэрди, — эта метрополия впоследствии сама стала его предместьем, — было кладбище. В первую же неделю существования местечка комитет граждан предусмотрительно постановил устроить кладбище. Следующий день был отмечен спором между двумя членами комитета по поводу наиболее подходящего места для этого учреждения; а на третий день кладбище было уже, так сказать, «почато» двойными похоронами.

По мере оскудения местечка кладбище разрасталось, и оно превратилось в густонаселенный пригород гораздо раньше, чем последний житель Хэрди-Гэрди, устоявший в борьбе с малярией и скорострельными револьверами, повернул своего выючного мула хвостом к Индейскому ручью. А теперь, когда город впал в старческий маразм, кладбище, хоть и пострадавшее слегка от времени и обстоятельств, — не говоря уже о шакалах — достаточно отвечало скромным потребностям своего населения. Оно занимало участок зем-

ли в добрых два акра, выбранный ввиду его непригодности для какой-либо другой эксплуатации; на нем росли два-три скелетообразных дерева (одно из них обладало толстым, выдававшимся вперед суком, на котором до сих пор еще красноречиво болталась полуистлевшая от сырости веревка), с полсотни песчаных холмиков, штук двадцать грубых надгробных досок, отличавшихся своеобразной орфографией, и воинственная колония кактусов. В общем, это «жилище Господне» отличалось совершенно исключительным запустением. И вот в самом «людном», если можно так выразиться, месте этого интересного учреждения, мистер Джеферсон Домэн и вбил заявочный столб и прикрепил к нему свою заявочную записку. Если, — написал он, — ему придется при производстве работ удалить кого-нибудь из мертвых, он обеспечит ему право на подобающее вторичное погребение.

III



истер Джеферсон Домэн был родом из Элизабеттауна, в штате Нью-Джерси, где шесть лет назад он оставил свое сердце на хранение златоудрой скромной особе по имени Мэри Мэттьюз — в залог того, что он вернется просить ее руки.

— Я знаю, что вы не вернетесь живым, что вам никогда ничего не удастся.

Таким заявлением мисс Мэттьюз иллюстрировала свое представление о том, что такое успех, и попутно свое умение поощрить человека.

— Если вы не вернетесь, — прибавила она, — я сама поеду к вам в Калифорнию. Я буду складывать монеты в мешочки по мере того, как вы будете выкапывать их из земли.

Это чисто женское представление о характере золотых залежей не встретило отклика в мозгу мужчины. Мистер Домэн решительно раскритиковал ее намерение, заглушив ее рыдания, закрыв ей рот рукой, засмеялся ей прямо в глаза, стирая ее слезы поцелуями, и с веселым кличем отправился в Калифорнию, чтоб работать для нее в течение долгих одиноких лет, с твердой волей, бодрой надеждой и стойкой верностью. Тем временем мисс Мэттьюз уступила монополию на свой скромный талант собирать монеты в мешки некоему игроку, мистеру Джо Сименсу из Нью-Йорка, который оценил это ее качество больше, чем ее гениальную способность потом вынимать деньги из мешков и наделять ими своих любовников. Но в конце концов он выразил свое неодобрение этой последней способности мисс Мэри решительным поступком,

который сразу обеспечил ему положение конторщика в тюремной прачечной в Синг-Синге, а ей — кличку «Молли Рваное Ухо».

Молли написала мистеру Домэну трогательное письмо с отречением; она вложила в письмо фотографию, из которой явствовало, что она уже не вправе больше делить мечту стать когда-нибудь миссис Домэн, и она так наглядно изобразила в этом письме свое падение с лошади, что солидному жеребцу, на котором мистер Домэн поехал в «Красную Собаку», чтобы получить это письмо, пришлось расплачиваться за вину какой-то неведомой лошади весь обратный путь в лагерь. Домэн истерзал ему шпорами все бока.

Это письмо не достигло своей цели: верность, которая была до сих пор для мистера Домэна вопросом любви и долга, стала теперь для него также и вопросом чести; фотография, изображавшая когда-то хорошенькое личико, печально изуродованное теперь ударом ножа, заняла прочное место в его сердце.

Узнав об этом, мисс Мэттьюз, правду говоря, выказала меньше удивления, чем следовало ожидать, принимая во внимание низкую оценку, которую она давала благородству мистера Домэна: об этом ведь свидетельствовал тон ее последнего письма. Вскоре после этого письма от нее стали реже, а потом и совсем прекратились.

Но у мистера Домэна был еще один корреспондент, мистер Барней Бри из Хэрди-Гэрди, проживавший прежде в «Красной Собаке». Этот джентльмен, хоть он и был заметной фигурой среди старателей, не принадлежал к их числу. Его познания в ремесле золотоискателей заключались главным образом в поразительном знакомстве с их жаргоном, который он обогащал от времени до времени собственными добавлениями. Это производило сильное впечатление на наивных пижонов и заставляло их проникнуться уважением к глубоким познаниям мистера Бри.

Когда он не царил в кружке почитателей из Сан-Франциско или с Востока, его можно было встретить за сравнительно скромным занятием: он подметал танцевальные залы и чистил в них плевательницы.

У Барнея были две страсти — любовь к Джеферсону Домэну, который когда-то оказал ему большую услугу, и любовь к виски, которое, несомненно, никаких услуг ему никогда не оказало. Он одним из первых, как только раздался клич, устремился в Хэрди-Гэрди, но не сделал там карьеры и постепенно опустился до положения могильщика. Это не было постоянной службой, но каждый раз, когда какое-нибудь маленькое недоразумение за карточным столом в клубе совпадало с его сравнительным отрезвлением после продолжительного запоя, Барней брал в свои дрожащие руки лопату.

В один прекрасный день мистер Домэн получил в «Красной Собаке» письмо с почтовым штемпелем «Хэрди, Калифорния» и, занятый другими делами, засунул его в щель в стене своей хижины, чтобы просмотреть его на досуге. Два года спустя письмо случайно сдвинулось с места, и он прочел его. Письмо заключалось в следующем:

«Хэрди, 6 июня.»

Друг Джеф, я наскочил на нее в костном огороде. Она слепая и вшивая. Я рою и сам буду могилой, пока ты не свистнешь.

Твой Барней.

Р. С. Я закупорил ее Скэрри».

Имея некоторое представление о жаргоне золотоискателей и о личной системе передачи мыслей, свойственной мистеру Бри, мистер Домэн сразу сообразил из этого оригинального письма, что Барней, исполняя обязанности могильщика, наткнулся на кварцевую жилу без разветвлений, очевидно, богатую самородками, и что он согласен во имя дружбы сделать мистера Домэна своим компаньоном и будет молчать об этом открытии, пока не получит от названного джентльмена ответа. Из постскриптума было совершенно ясно, что он скрыл сокровище, похоронив над ним бранные останки какой-то особы по имени Скэрри.

За два года, которые протекли между получением мистером Домэном этого письма и его открытием, произошли некоторые события, о которых мистер Домэн узнал в «Красной Собаке». Выяснилось, что мистер Бри прежде, чем принять эту меру предосторожности (закупорить свою находку телом неведомого или неведомой Скэрри), догадался все-таки извлечь из жилы малую толику золота: во всяком случае, как раз в это время он положил в Хэрди-Гэрди начало серии попок и кутежей, о которых до сих пор еще рассказывают легенды во всей области реки Сан-Хаун-Смит и почтительно вспоминают даже в таких далеких краях, как Скала Привидений и Одинокая Рука. Когда эта серия закончилась, несколько бывших граждан Хэрди-Гэрди, которым Барней оказал последнюю дружескую услугу на кладбище, потеснились и уделили ему уголок в своей среде, и он обрел среди них вечный покой.



IV

акончив свою заявку, то есть вбив по углам прямоугольника четыре столбика, мистер Домэн пошел назад к его центру и остановился на том месте, где его поиски среди могил вылились в торжествующее восклицание: «Скэрри!» Он снова нагнулся над доской, на которой было написано это имя, и, как бы для того, чтобы проверить показания своего зрения и слуха, провел по грубо вырезанным

буквам указательным пальцем. Затем, выпрямившись, он громко добавил к этой несложной надписи собственную устную эпитафию: «Она была настоящим чудовищем!»

Если бы мистера Домэна заставили подкрепить это свое утверждение доказательствами, что ввиду его оскорбительного характера, несомненно, следовало бы сделать, он оказался бы в затруднительном положении: никаких свидетелей у него не было, и ему пришлось бы сказать, что он опирается только на слухи.

В то время, когда Скэрри играла видную роль в золотоискательских лагерях и когда она, выражаясь словами редактора «Хэрди-Герольда», была на вершине своего могущества, мистер Домэн был в умалении и вел хлопотливое, бродяжническое существование одинокого старателя. Большую часть своего времени он проводил в горах то с одним, то с другим компаньоном. Его мнение о Скэрри составилось на основании восторженных рассказов этих случайных товарищей. Сам он не удостоился ни сомнительного удовольствия знакомства с ней, ни ее непрочных милостей. И когда по окончании ее безнравственной карьеры в Хэрди-Гэрди он прочел в случайном номере «Герольда» ее некролог (написанный местным юмористом в самом высоком стиле), Домэн уплатил улыбкой дань ее памяти и таланту ее историографа и по-рыцарски забыл о ней.

Стоя теперь у могилы этой горной Мессалины, он вспомнил главные этапы ее бурной карьеры так, как она воспевалась ему его собеседниками у лагерных костров.

«Она была настоящим чудовищем!» — повторил он, может быть бессознательно создавая себе оправдание, и погрузил свою кирку в ее могилу до самой рукоятки. В эту минуту ворон, молчаливо сидевший на ветке иссохшего дерева над его головой, важно открыл клюв и выразил свое мнение по этому вопросу одобрительным карканьем.

Преследуя открытую им золотоносную жилу с огромным рвением, мистер Барней Бри вырыл необычайно глубокую яму, и солнце успело зайти, прежде чем мистер Домэн, работавший с ленивым спокойствием человека, который играет наверняка и не боится, что соперник опротестует его заявку, добрался до гроба. Но тут он натолкнулся на затруднение, которого он не предвидел: гроб — плоский ящик из плохо сохранившихся досок красного дерева — не имел ручек и занимал все дно могилы. Единственное, что он мог сделать, — это удлинить яму настолько, чтоб иметь возможность встать в головах гроба и, подсунув под него свои сильные руки, поставить его на его узкий конец. И за это он и принялся.

Приближение ночи заставило его удвоить усилия. Ему не приходила и мысль о том, чтобы отложить сейчас свою работу и закончить ее на другое утро, при более благоприятных условиях. Лихорадочная алчность и магнетизм страха железной рукой приковывали его к его жуткой работе. Он

больше не прохлаждался: он работал со страшным рвением. С непокрытой головой, с рубашкой, открытой у ворота и обнажавшей грудь, по которой текли извилистые струи пота, этот смелый и безнаказанный золотоискатель и осквернитель могил работал с исполинской энергией, почти облагораживавшей его чудовищное намерение. Когда кайма заходящего солнца догорела на гряде холмов, и полная луна выплыла из тумана, застлавшего пурпурную равнину, он поставил наконец гроб стоймя, прислонив его к краю открытой могилы. Затем, когда он, стоя по шею в земле на противоположном конце ямы, взглянул на гроб, теперь ярко освещенный луной, он содрогнулся от внезапного страха, увидев на крышке черную человеческую голову — тень своей головы. Это простое и естественное явление взволновало его на минуту. Его пугал звук его собственного затрудненного дыхания, и он старался остановить его, но его напряженные легкие не подчинялись ему. Затем он начал с едва слышным и совсем не веселым смехом двигать головой из стороны в сторону, чтобы заставить тень повторять эти движения. Он почувствовал себя бодрее, доказав себе свою власть над собственной тенью. Он старался выиграть время, бессознательно надеясь отодвинуть грозящую катастрофу. Он чуял, что над ним нависли невидимые злые силы, и он просил у неизбежного отсрочки.

Теперь он постепенно заметил несколько необычайных обстоятельств. Поверхность гроба, к которой был прикован его взгляд, была не плоской: на ней поднимались два выступа, вертикальный и горизонтальный. Там, где они скрещивались, на самом широком месте, находилась заржавевшая металлическая пластинка, на которой унылым блеском отсвечивало сияние луны. Вдоль наружных краев гроба виднелись через большие промежутки ржавые головки гвоздей. Это хрупкое произведение столярного искусства было опущено в могилу вверх дном!

Может быть, это была одна из золотоискательских шуток — практическое осуществление шаловливого настроения, которое нашло себе литературное выражение в шутовском некрологе, вышедшем из-под пера великого юмориста Хэрди-Гэрди? Может быть, это имело какое-то особое значение, непонятное для непосвященных в местные традиции? Менее неприятной гипотезой было предположение, что перевернутое положение гроба объяснялось просто ошибкой мистера Барнея Бри. Может быть, совершая похоронный обряд без свидетелей (для сохранения в тайне своего открытия или из-за общественного равнодушия к покойнице), он сделал оплошность и впоследствии не мог или не стремился ее исправить?

Как бы то ни было, бедная Скэрри была, несомненно, опущена в землю лицом вниз.

Когда ужас соединяется с комизмом, впечатление получается кошмарное. Этот сильный духом и смелый человек, храбро работавший ночью среди могил, побеждая ужас тьмы и одиночества, был сражен нелепой неужи-

данностью. По телу его пробежала жуткая дрожь, он весь похолодел и передернул массивными плечами словно для того, чтоб сбросить с себя ледяную руку. Он почти не дышал, и разбушевавшаяся кровь разлилась горячим потоком под холодной кожей. Не окисляемая кислородом, она бросилась ему в голову, приливая к мозгу. Его физический организм изменил ему и перешел на сторону врага: даже его сердце восстало против него. Он не двигался: он не мог бы и крикнуть. Ему недоставало только гроба, чтобы стать мертвецом, — таким же мертвым, как мертвец, который стоял перед ним, отделенный от него только длинной открытой могилой и толщиной прогнившей доски.

Затем его чувства мало-помалу вернулись к нему: прилив ужаса, затопивший его сознание, начал отступать. Но, придя в себя, он стал относиться к предмету своего страха с какой-то странной беспечностью. Он видел луну, золотившую гроб, но не видел самого гроба. Подняв глаза и повернув голову, он с удивлением и любопытством заметил черные ветви мертвого дерева и попытался мысленно измерить длину веревки, которая качалась в его призрачной руке. Однообразный вой далеких шакалов показался ему чем-то слышанным много лет тому назад во сне. Сова неловко пролетела над ним на неслышных крыльях, и он попытался предсказать направление ее полета и когда она наткнется на скалу, вершина которой светилась на расстоянии мили. До его слуха дошли осторожные движения насекомого в зарослях кактуса. Он следил за всем с обостренной наблюдательностью, все его чувства обострились, но он не видел гроба. Так же, как если долго смотреть на солнце, оно сначала покажется черным и затем исчезнет, — так его душа, истощившая весь свой запас страха, уже не сознавала существования предмета ужаса. Убийца спрятал свой меч в ножны.

Во время этого затишья в борьбе он почуял слабый отвратительный запах. Он сначала подумал, что он исходит от гремучей змеи, и невольно взглянул себе под ноги. Они были почти невидимы во мраке могилы. Глухой рокочущий звук, словно предсмертное хрипение в горле человека, внезапно раздавался в самом небе, и минуту спустя огромная черная угловатая тень, словно видимое воплощение этого звука, упала, извиваясь, с верхушки призрачного дерева, поколыхалась секунду перед его лицом и яростно полетела дальше вдоль реки. Это был ворон. Этот инцидент вернул ему сознание окружающего, и его взгляд снова устремился на стоящий гроб, теперь до половины освещенный луной. Он видел мерцание металлической пластинки и старался, не двигаясь, разобрать надпись на ней. Затем он начал разглядывать, что скрывается за этой доской. Его творческое воображение нарисовало ему яркую картину. Доска стала прозрачной, и он увидел синеватый труп мертвой женщины, который стоял в одеянии покойницы и бессмысленно смотрел на него лишенными век глазами впадинами. Нижняя челюсть опустилась, обнажая десну. Он заметил пятнистый узор



на впалых щеках — признаки разложения. В силу таинственного процесса его мысль впервые за этот день обратилась к фотографии Мэри Мэттьюз. Он противопоставил ее прелесть блондинки отталкивающему лицу покойницы — то, что он любил больше всего на свете, — самому чудовищному на свете.

Убийца опять приблизился и, обнажив меч, приставил его к горлу жертвы.

Другими словами, человек начал сперва смутно, потом все яснее осознавать какое-то жуткое совпадение — связь, параллель между лицом на фотографии и именем на надгробной доске. Одно было изуродовано, другое говорило об изуродовании¹. Эта мысль завладела им и потрясла его. Она преобразила лицо, которое его воображение создало под крышкой гроба; контраст стал сходством, сходство превратилось в тождество... Вспоминая многочисленные описания внешности Скэрри, слышанные им у лагерных костров, он тщетно старался припомнить характер изуродования, благодаря которому женщина получила свою безобразную кличку, и то, чего не доставало его памяти, дополняло воображение. В безумной попытке вспомнить слышанные им обрывки истории этой женщины мускулы его рук мучительно напряглись, точно он старался поднять огромную тяжесть. Его тело извивалось и корчилось от этих усилий. Жилы на его шее натянулись как веревки, и его дыхание стало резким и прерывистым. Катастрофа не могла дольше откладываться, иначе муки ожидания предупредили бы конечный удар. Лицо, изуродованное шрамом, скрытое под крышкой гроба, убило бы его сквозь дерево.

Движение гроба успокоило его. Гроб придвинулся на один фут к его лицу, заметно увеличиваясь по мере приближения. Заржавленная металлическая пластинка с надписью, неразборчивой при лунном свете, блеснула ему прямо в глаза. Твердо решившись не уклоняться, он сделал попытку крепче прислониться плечами к краю могилы и чуть не упал назад. Он не находил поддержки; он наступал на врага, сжимая в руке тяжелый нож, который он вытащил из-за пояса. Гроб не шевельнулся, и он с улыбкой подумал, что врагу некуда уйти. Подняв нож, он изо всех сил ударил тяжелой рукояткой по металлической пластинке. Раздался громкий, звонкий удар, и прогнувшая крышка гроба с глухим треском распалась на куски и отвалилась, обрушившись у его ног. Живой человек и покойница стояли лицом к лицу — обезумевший кричащий мужчина и женщина, спокойная в своем молчании.

Она была настоящим чудовищем!

¹ «Скэрри» — обозначает по-английски: «Резанная» (*Прим. перев.*).

V



Несколько месяцев спустя компания туристов из Сан-Франциско проезжала мимо Хэрди-Гэрди, направляясь по новой дороге в Йосемитскую долину. Они остановились здесь пообедать и, пока шли приготовления, стали осматривать заброшенный лагерь. Один из участников поездки жил в Хэрди-Гэрди в дни его славы. Он даже был одним из его виднейших граждан и содержал самый популярный игорный притон в местечке. Теперь он был миллионером, занятым более крупными предприятиями, и считал, что эти давнишние удачи не стоят упоминания. Его большая жена, дама, известная в Сан-Франциско роскошью своих раутов и своей строгостью в отношении к социальному положению и прошлому своих гостей, участвовала в экспедиции. Во время прогулки среди заброшенных хижин покинутого лагеря мистер Порфер обратил внимание своей жены и друзей на мертвое дерево на низком холме за Индейским ручьем.

— Как я вам уже говорил, — сказал он, — мне случилось как-то захватить в этот лагерь несколько лет тому назад, и мне рассказывали, что на этом дереве были повешены блюстителями порядка в разное время не меньше пяти человек. Если я не ошибаюсь, на нем и до сих пор еще болтается веревка. Подойдем поближе и осмотрим это место.

Мистер Порфер забыл прибавить, что это, может быть, была та самая веревка, роковых объятий которой с трудом избежала его собственная шея; если бы он пробыл в Хэрди-Гэрди лишний час, петля захлестнула бы его.

Медленно продвигаясь вдоль речки в поисках удобной переправы, компания наткнулась на дочиста обглоданный скелет животного; мистер Порфер после тщательного осмотра заявил, что это осел. Главный отличительный признак осла — уши — исчезли, но звери и птицы пощадили большую часть несъедобной головы: крепкая уздечка из конского волоса тоже уцелела, так же, как и повод из того же материала, соединявший ее с колом, все еще плотно вбитым в землю. Деревянные и металлические предметы оборудования золотоискателя лежали поблизости. Были сделаны обычные замечания, циничные со стороны мужчин, сентиментальные со стороны дамы. Немного позже они уже стояли у дерева на кладбище, и мистер Порфер настолько поступился своим достоинством, что встал под полуистлевшей веревкой и набросил себе на шею петлю. Это, по-видимому, доставило ему некоторое удовольствие, но привело в ужас его жену: это представление подействовало ей на нервы.

Возглас одного из участников поездки собрал всех вокруг открытой могилы, на дне которой они увидели беспорядочную массу человеческих костей и остатки сломанного гроба. Волки и сарычи исполнили над всем остальным

последний печальный обряд. Видны были два черепа, и для того, чтобы объяснить себе это необычайное явление, один из молодых людей смело прыгнул в могилу и передал черепа другому. Он сделал это так быстро, что миссис Порфер не успела даже выразить свое резкое порицание такому возмутительному поступку; все же, хотя и с опозданием, она не преминула это сделать, и притом с большим чувством и в самых изысканных выражениях. Продолжая рыться среди печальных останков на дне могилы, молодой человек в следующую очередь передал наверх заржавленную надгробную дощечку с грубо вырезанной надписью. Мистер Порфер разобрал ее и прочел вслух, с довольно удачной попыткой вызвать драматический эффект, что казалось ему подходящим к случаю и его таланту оратора. На дощечке было написано:

МЕНУЭЛИТА МЭРФИ
Родилась в миссии Сан-Педро.
Скончалась в ХЭРДИ-ГЭРДИ
в возрасте 47 л.
Такими, как она, битком набит ад.

Из уважения к чувствам читателя и нервам миссис Порфер не будем касаться тяжелого впечатления, которое произвела на всех эта необычайная надпись; скажем лишь, что лицедейский и декламационный талант мистера Порфера никогда еще не встречал такого быстрого и подавляющего признания. Следующее, что попало под руку молодому человеку, орудовавшему в могиле, была длинная, запачканная глиной прядь черных волос, но это обыкновенное явление не привлекло особого внимания. Вдруг с кратким возгласом и возбужденным жестом молодой человек вытащил из земли кусок сероватого камня и, быстро осмотрев его, передал его мистеру Порферу. Камень загорелся на солнце желтым блеском и оказался испещренным сверкающими искрами. Мистер Порфер схватил его, наклонился над ним на одну минуту и бросил его в сторону с простым замечанием:

— Простой колчедан — золото для дураков.

Молодой человек, занятый раскопками, по-видимому, смутился.

Тем временем миссис Порфер, будучи не в силах дольше смотреть на эту неприятную процедуру, вернулась к дереву и села на его вылезшие из земли корневища. Поправляя выбившуюся прядь своих золотых волос, она заметила нечто, что показалось ей — и действительно было — остатками старого пиджака. Оглянувшись кругом, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за этим поступком, недостойным леди, она просунула руку, унизанную кольцами, в карман пиджака и вытащила из него заплесневевший бумажник. В нем находились:

Пачка писем со штемпелем Элизабеттауна, штат Нью-Джерси.

Кольцо белокурых волос, перевязанное лентой.

Фотография красивой девушки.

Фотография ее же, но со странно обезображенным лицом.

На обороте фотографии было написано: «Джеферсон Домэн».

Несколько минут спустя группа встревоженных джентльменов окружила миссис Порфер; она сидела под деревом неподвижно, опустив голову и сжимая в руке измятую фотографию. Ее муж приподнял ей голову и увидел мертвенно-бледное лицо, на котором розовел лишь длинный, обезображивающий его шрам, хорошо знакомый всем ее друзьям, ибо его не могло скрыть никакое искусство косметики; теперь он выступал на ее бледном лице, как клеймо проклятия. Мэри Мэттьюз Порфер возымела несчастье скончаться.



НЕИЗВЕСТНЫЙ



н появился из мрака, полуосвещенный угасающим костром, и присел на камень.

— Вы не первые в этих местах, — бесстрастно заметил он.

Никто не возражал: неизвестный не принадлежал к нашему отряду и оказался в пустыне явно раньше нас. Несомненно и то, что где-то рядом находились его компаньоны. В одиночку в эти края не попадешь. За ту неделю, что мы провели в пустыне, из живого мы встречали только гремучих змей и рогатых лягушек. Аризона не спешила открывать свои тайны. Неизвестный явно не мог в одиночку разгадывать их. Без оружия, продуктов, вьючных животных и, разумеется, без компаньонов он не мог пуститься в столь опасное предприятие. Скорее всего друзья незнакомца были такими же любителями приключений, как и мы: его слова частично подтверждали это.

Увидя в нем конкурента, кое-кто из моих людей потянулся к оружию. Такая мера, если учесть время и место, не была вовсе беспочвенной. Но неизвестный не обратил на угрожающее движение ни малейшего внимания и продолжал тем же бесцветным ровным голосом:

— Тридцать лет назад Рамон Галлегас, Уильям Шоу, Джордж У. Кент и Берри Дэвис, все из Тусена¹, перешли горы Санта-Каталина и двинулись дальше на запад. По пути мы намыли немного золотишка и пробирались к реке Хиле в Биг-Бенде, чтобы передохнуть и оставить малую толику его в поселке. У нас было хорошее снаряжение, но не было проводника, — только мы четверо: Рамон Галлегас, Уильям Шоу, Джордж У. Кент и Берри Дэвис.

Он повторял имена медленно и раздельно, будто желал запечатлеть их навечно в памяти пристально глядевших на него слушателей. Наши опасения

¹ Тусен — город в штате Аризона, США. Действие рассказа происходит на юго-западе Аризоны, на границе с Мексикой (*Прим. перев.*).



по поводу его приятелей, скрывавшихся за черной стеной окружающей нас тьмы, постепенно рассеивались: в поведении самозванного историка ничто особенно не указывало на враждебность, скорее, он походил на безобидного лунатика. Мы уже были не новички в здешних краях и знали, что замкнутая жизнь многих обитателей равнин часто способствовала появлению некоторых странностей в их характере и поведении, иногда граничивших с повреждением рассудка. Человек подобен дереву: окруженное друзьями-деревьями, оно тянется ввысь сообразно своим родовым и индивидуальным особенностям; напротив, одиноко стоящее дерево незащищено перед слепой игрой природных стихий, ломающих и деформирующих его. Все эти мысли проносились у меня в голове. Я смотрел на незнакомца из-под низко надвинутой шляпы, защищавшей глаза от пламени костра, и думал: «Парень чокнутый, вне всяких сомнений, но что он делает здесь, в сердце пустыни?»

Собираясь изложить эту историю, я, естественно, пытался припомнить и описать внешность незнакомца. К сожалению, из моей затеи ничего не вышло. Странно, но среди нас впоследствии не нашлось даже двух человек, у которых совпали бы воспоминания об облике нашего гостя. А когда я пытался сформулировать собственные впечатления, они как бы ускользали от меня. Любой человек может что-то рассказать: элементарная способность к словесному изложению уже заложена в представителях человеческого рода. Настоящий же описательный талант даруется свыше.

В абсолютной тишине незнакомец продолжал: — Тогда эти места мало походили на нынешние. Земли между Хилой и заливом¹ были еще дикими. Местами здесь водилась дичь, и у немногочисленных источников росло достаточно травы, чтобы наши лошади не голодали. Мы верили в удачу, избегали индейцев и надеялись быстро достичь цели. Но через неделю планы экспедиции изменились — нас уже волновало не золото, а вопрос, как сберечь собственную жизнь. Мы зашли слишком далеко, чтобы возвращаться назад, и тяготы, ожидавшие нас впереди, уж никак не могли сравниться с перенесенными ранее испытаниями. Словом, мы продвигались вперед, главным образом ночью, чтобы не столкнуться с индейцами и избежать нестерпимой жары, а днем тщательно скрывались. Временами, опустошив все запасы мяса и фляги с водой, мы целыми днями оставались без еды и питья. Подземный источник или озерцо на дне высохшего речного русла восстанавливали наши силы и волю ровно настолько, чтобы подстрелить кого-то из хищников, забредших на водопой. Иногда это был медведь, а то и антилопа, койот, пума — что Бог пошлет. В пищу шло все.

Однажды утром, когда мы огибали скалистую гряду в поисках удобного прохода, нас атаковала банда апачей², которые загнали нас в узкое ущелье совсем неподалеку отсюда. Зная, что на каждого из нас четверых у них приходится по десять воинов, индейцы отбросили свои обычные трусливые уловки

¹ Залив — имеется в виду Калифорнийский залив (*Прим. перев.*).

² Апачи — одно из североамериканских индейских племен (*Прим. перев.*).

и галопом ринулись на нас, вопя и стреляя на ходу. Спротивляться было бессмысленно. Мы погнали измученных лошадей в ущелье, пока тропинка не стала совсем узкой, потом спешились и, бросив все снаряжение, кинулись в заросли одного из склонов ущелья. Мы оставили у себя только ружья — мы четверо: Рамон Галлегас, Уильям Шоу, Джордж У. Кент и Берри Дэвис.

— Все те же лица, — прозвучал голос одного из наших записных остряков. Он был родом с Востока, и правила приличного поведения в обществе были ему незнакомы. Недовольный жест капитана утихомирил его, и незнакомец продолжил свой рассказ:

— Туземцы также спешились и перекрыли проход в ущелье, отрезав нам, таким образом, путь к отступлению и прижав нас к обрыву. В довершение несчастий заросли кустарника оказались не слишком велики — стоило нам появиться на открытом месте, как на нас обрушился огонь десятка стволов. Но апачи в спешке стреляли плохо, и по Воле Божией никто из нас не пострадал. В двадцати ярдах выше по склону начинались скалы, и в одной из них, прямо перед собой, мы обнаружили узкую дыру. Забравшись туда, мы очутились в пещере размером с обычную комнату. Некоторое время мы могли чувствовать себя в безопасности: даже в одиночку, имея достаточный запас патронов, здесь можно было выдержать осаду апачей всего мира.

Но против голода и жажды мы были беззащитны. У нас еще хватало мужества, но все надежды уже испарились.

Ни одного индейца мы потом уже не видели, но по дыму и отблеску костров в ущелье догадывались, что они день и ночь с взведенными ружьями караулят нас за кустами. Пытаясь выбраться, ни один из нас не сделал бы и трех шагов на открытом пространстве. Мы держались три дня, по очереди сменяя друг друга на на-



блюдательном посту, пока наши страдания не стали невыносимыми. И тогда, на утро четвертого дня, Рамон Галлегас сказал:

— Сеньоры, я не очень хорошо верить Милостивый Бог и чем Его ублажить... Я жить без религии и не узнать ее от вас. Пардон, сеньоры, если я сделать вам шок, но по мне игра с апачами зайти слишком далеко.

Он опустил на каменный пол пещеры и приставил кольт к виску.

— Матерь Божия, — сказал он, — прими душу Рамона Галлегаса.

Так мы остались втроем — Уильям Шоу, Джордж У. Кент и Берри Дэвис.

Я был главным, и мне пришлось говорить:

— Он был мужественным человеком. Он знал, когда и как умереть. Чертовски глупо свихнуться от жажды и быть подстреленным апачами, а то и живо лишиться скальпа — все это отдает плохим вкусом. Предлагаю присоединиться к Рамону Галлегасу.

— Согласен, — сказал Уильям Шоу.

— Согласен, — подтвердил Джордж У. Кент.

Я сложил руки на груди Рамона Галлегаса и накрыл его лицо платком. Тогда Уильям Шоу сказал:

— Я был бы не против побыть в таком виде хотя бы недолгое время.

Джордж У. Кент высказал аналогичное пожелание.

— Так и случится, — заметил я. — Краснорожие дьяволы будут выжидать, по крайней мере, неделю. Уильям Шоу и Джордж У. Кент, подойдите сюда и опуститесь на колени. — Я встал перед ними.

— Всемогущий Бог и Отец Наш, — начал я.

— Всемогущий Бог и Отец Наш, — повторил Уильям Шоу.

— Всемогущий Бог и Отец Наш, — повторил Джордж У. Кент.

— Прости нам грехи наши, — сказал я.

— Прости нам грехи наши, — отозвались они.

— И прими души наши.

— И прими души наши.

— Аминь!

— Аминь!

Я уложил их тела рядом с телом Рамона Галлегаса и накрыл лица платками.

В этот момент с противоположной от меня стороны костра послышался легкий шум. Один из нашей компании вскочил на ноги с кольтом в руке.

— А ты! — заорал он. — Ты посмел сбежать? Остаться в живых? Трусливый пес, я отправляю тебя вслед за ними, будь я проклят!

Но капитан с быстротой пантеры метнулся к нему, перехватив его руку:

— Спокойно, Сэм Янци, спокойно!

Мы все вскочили на ноги, за исключением незнакомца, оставшегося по-прежнему недвижимым и бесстрастным. Кто-то схватил Янци за другую руку.

— Капитан, — сказал я, — здесь что-то не так. Парень или псих, или он лжет — откровенно и неприкрыто лжет, и Янци нет никакой нужды его уби-

вать. Если он входил в тот отряд, их должно было быть пятеро, один из которых, по-видимому он сам, не назван.

— Да, — отозвался капитан, отпустив Сэма Янци, который уселся на свое место, — в этом деле есть что-то... необычное. Несколько лет назад у входа в пещеру были найдены четыре трупа белых людей, оскальпированных и изуродованных до неузнаваемости. Там их и похоронили. Я видел могилы, а завтра и вы их увидите.

Незнакомец поднялся, выпрямившись в свете угасающего костра, о котором мы и забыли, с затаенным дыханием слушая рассказ.

— Нас было четверо, — сказал он, — Рамон Галлегас, Уильям Шоу, Джордж У. Кент и Берри Дэвис.

И огласив в очередной раз траурный список, он шагнул в темноту. Больше мы его не видели.

В этот момент к костру с ружьем с руках подбежал один из парней, стоявший на карауле. Он был чем-то встревожен.

— Капитан! — воскликнул он. — Уже полчаса трое каких-то людей торчат там, на холме, — и он показал рукой в направлении, куда ушел незнакомец. — Я ясно видел их при свете луны. Хотя они без ружей, я, на всякий случай, держал их на прицеле. Но они не двигались. Проклятье, они действуют мне на нервы!

— Возвращайся на пост и оставайся до их следующего появления, — распорядился капитан, — а остальные — спать, или я вас всех ткну носом в костер!

Часовой, чертыхаясь, отправился на пост. Когда мы стали укладываться, неугомонный Янци спросил:

— Простите, капитан, но, тысяча чертей, кто эти трое, по вашему мнению?

— Рамон Галлегас, Уильям Шоу и Джордж У. Кент.

— А как же быть с Берри Дэвисом? Жаль, что я его не пристрелил.

— Совершенно необязательно. Более мертвым его уже не сделаешь. Иди спать.



СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ ПРАВОЙ НОГИ

I



ешительно всем было известно, что в заброшенном Ментоновском доме бродит привидение. Среди соседних фермеров и даже среди обитателей Маршалла, городка, расположенного на расстоянии мили, никто из здравомыслящих людей даже не сомневался в этом; правда, было несколько чудаков, проявлявших недоверие, но на то это и были чудаки, сделавшие скептицизм своей специальностью.

Доказательства в пользу того, что в бывшем доме Ментона бродит привидение, имелись двоякого рода: во-первых, это были показания беспристрастных свидетелей, которые видели привидение собственными глазами, а во-вторых, наглядным доказательством служил самый дом. Показания очевидцев могли еще быть оспариваемы различными доводами, которые зловредные умы умеют приводить в спорах с умами простыми и открытыми; но факты, бросающиеся в глаза всем, не могут не считаться основательными и убедительными. Во-первых, Ментоновский дом пустовал уже более десяти лет и медленно разрушался вместе со всеми своими пристройками. Отрицать этот факт не могли даже скептики. Ментоновский дом был расположен недалеко от самого пустынного места дороги из Маршалла в Херристон, на вырубке, где раньше велось фермерское хозяйство и где теперь еще уродливо торчат куски гниющего забора и растет, покрывая каменистую, бесплодную, давно не тронутую плугом почву, колючий кустарник. Самый дом был в сравнительно приличном состоянии, хотя порядком отсырел и сильно нуждался в услугах стекольщика; последнее обстоятельство объясняется тем, что младшие представители мужского населения этой местности имели особый способ выразить свое неодобрение жилищам, лишенным жильцов. Дом был двухэтажный, квадратный; в его фасаде была пробита единственная дверь, а по обеим сторонам

ее были два окна, доверху заколоченные досками. Соответствующие окна над ними во втором этаже не были защищены и открывали доступ в комнаты верхнего этажа свету и дождю. Вокруг дома все заросло сорной травой; несколько тенистых деревьев, добитых ветром и погнувшихся в одну сторону, имели такой вид, будто они собираются убежать всей компанией и ждут только удобного случая. Короче говоря, как это и выразил местный остряк на столбцах маршаллской газеты «Вперед», «предположение, что в Ментоновском доме пошаливают духи, является логическим выводом из его внешнего вида».

Тот факт, что в этом самом доме лет десять назад мистер Ментон счел однажды нужным подняться ночью с постели, перерезать горло своей жене и затем убежать в другую часть графства, несомненно, содействовал распространению мнения, что данное место необычайно приспособлено для сверхъестественных явлений.

Однажды летним вечером к этому дому подъехало в экипаже четверо мужчин. Трое из них быстро слезли, и тот, который правил, привязал лошадей к единственному столбу, сохранившемуся от того, что было некогда забором. Четвертый остался в экипаже.

— Идем, — сказал ему один из его спутников, подходя к нему, в то время как остальные направились к дому. — Это и есть то самое место.

Человек, к которому обратились, был бледен как смерть и дрожал.

— Черт возьми! — резко сказал он. — Это ловушка и мне кажется, что вы в ней участвуете.

— Очень возможно, — сказал другой, смотря ему прямо в лицо и говоря слегка презрительным тоном. — Но не забывайте, что выбор места был предоставлен, с вашего согласия, противной стороной. Конечно, если вы боитесь привидений...

— Я ничего не боюсь, — прервал его человек в экипаже и, пробормотав проклятие, соскочил на землю.

Они догнали остальных у двери, которую один человек уже открыл, не без труда преодолев сопротивление заржавленных замка и петель. Все вошли. Внутри было темно, но человек, открывший дверь, достал из кармана свечу и спички и зажег свет. Затем он открыл дверь направо по коридору, где они стояли. Перед ними открылась тускло освещенная, большая квадратная комната. Пол ее был покрыт густым ковром пыли, который заглушал их шаги. Паутина, висевшая на углах стен и спускавшаяся с потолка, словно обрывки пожелтевшего кружева, волнообразно задвигалась в потревоженном воздухе. В комнате было два окна, но из них можно было видеть только шероховатую внутреннюю поверхность досок, которыми они были забиты, на расстоянии нескольких дюймов от стекла. В комнате не было ни печи, ни мебели — ничего. Паутина, пыль и четверо мужчин были в ней единственными предметами, не составлявшими органической части постройки. Люди казались довольно

странными при желтом свете свечи. Тот, который так неохотно слез с экипажа, особенно поражал; можно было бы даже сказать, что он производил сенсацию. Это был человек средних лет, массивного сложения, с могучей грудью и широкими плечами.

При взгляде на его фигуру можно было сказать, что он обладал исполинской силой, а лицо его говорило за то, что он и не постесняется воспользоваться ею. Он был гладко выбрит, а голова его была покрыта коротко остриженными седыми волосами. Низкий лоб его был испещрен морщинами, которые над глазами и носом становились вертикальными. Густые черные брови его следовали тому же закону и не встречались только потому, что у точки соприкосновения внезапно поднимались вверх. Под ними лежали глубоко запавшие, слишком маленькие глаза неопределенного цвета, горевшие мрачным огнем. В их выражении было что-то отталкивающее, и это впечатление отнюдь не смягчалось жестоким ртом и широкой челюстью. Нос у него был ничего себе для носа! Ведь от носов ничего особенного и ожидать нельзя. Все жуткое в лице этого человека подчеркивалось его неестественной бледностью — он казался совсем бескровным.

Внешность остальных мужчин была довольно обиденной: они принадлежали к тому разряду людей, которых встречаешь каждый день и сейчас же забываешь. Все они были моложе того человека; между исполином и старшим из остальных, стоявшим в стороне, по-видимому, не было симпатии. Они старались не смотреть друг на друга.

— Джентльмены, — сказал человек, державший свечу и ключи, — мне кажется, что все в порядке. Вы готовы, мистер Россер?

Человек, стоявший в стороне от общей группы, поклонился с улыбкой.

— А вы, мистер Гроссмит?

Гигант поклонился с гримасой.

— Будьте любезны, джентльмены, снять ваше верхнее платье.

Россер и Гроссмит быстро сняли с себя шляпы, пиджаки, жилеты и галстуки, и все эти вещи были брошены за дверь, в коридор. Человек со свечкой кивнул головой, и четвертый спутник, тот, который уговаривал мистера Гроссмита выйти из экипажа, вынул из кармана своего пальто пару длинных смертоносных ковбойских ножей и вытащил их из ножен.

— Они совершенно одинаковы, — сказал он, вручая по ножу обоим главным персонажам. Теперь и самый тупой наблюдатель, несомненно, понял бы цель этого сборища. Это была дуэль не на жизнь, а на смерть.

Каждый из дуэлянтов взял нож, внимательно осмотрел его при свете огарка и испробовал твердость лезвия и рукоятки о свое согнутое колено.

После этого они были подвергнуты обыску, причем каждого обыскивал секундант противника.

— Если вы ничего не имеете против, мистер Гроссмит, — сказал человек, державший свечу, — благоволите стать в тот угол.

Он указал на угол комнаты, наиболее отдаленный от двери. Мистер Гроссмит направился туда, причем его секундант простился с ним далеко не дружеским рукопожатием.

В углу, ближайшем от двери, стал мистер Россер; его секундант, посоветовавшись с ним шепотом, оставил его и присоединился к секунданту его противника у двери. В этот момент свеча вдруг погасла, и все потонуло в глубоком мраке.

Кто потушил свечу? Может быть, сквозняк из открытой двери? Как бы то ни было, эффект получился потрясающий!

— Джентльмены, — произнес голос, прозвучавший при изменившихся условиях до странности непривычно. — Джентльмены, не двигайтесь, пока вы не услышите, как захлопнулась парадная дверь.

Послышался звук шагов; захлопнулась внутренняя дверь; наконец захлопнулась дверь на улицу; при этом раздался треск, от которого задрожало все здание.

Несколько минут спустя запоздавший работник одной из ферм встретил экипаж, который бешено мчался по направлению к Маршаллу. Он рассказывал, что между двумя людьми, сидевшими на переднем сиденье, стоял третий человек, опустивший руки на согбенные плечи двух других, которые, по-видимому, тщетно старались вырваться из этих тисков. Этот третий человек, в отличие от других, был одет во все белое и, наверно, вскопчил экипаж, когда он проезжал мимо заколдованного дома. Паренек был известен в округе своим опытом в отношении сверхъестественных явлений, и его рассказ возымел ценность заключения эксперта. Эта история вскоре появилась в газете «Вперед», с некоторыми литературными прикрасами и с примечанием, что упомянутым в ней джентльменам предоставляется право использовать столбцы газеты для своей версии об этом ночном приключении. Но никто воспользоваться этой привилегией не пожелал.

II



обытия, которые привели к этой «дуэли в темноте», были довольно несложны. Однажды вечером трое молодых людей сидели в тихом уголке на веранде гостиницы в Маршалле, курили и обсуждали вопросы, которыми, естественно, должны были интересоваться трое образованных молодых провинциалов-южан. Это были Кинг, Санчер и Россер. Недалеко от них, прислушиваясь к их беседе, но не принимая в ней участия, сидел четвертый человек. Молодые люди были с ним незнакомы. Они зна-

ли только, что он приехал уже под вечер в дилижансе и записался в книге для приезжающих под именем Роберта Гроссмита. Никто не видел, чтобы он говорил с кем-нибудь, кроме конторщика гостиницы.

Незнакомец, по-видимому, питал чрезвычайное пристрастие к собственному обществу или, как выразился о нем сотрудник газеты «Вперед», был «чрезвычайно привержен к дурной компании». Но следует сказать в пользу незнакомца, что искомый сотрудник отличался чересчур общительным характером, чтоб правильно судить о человеке, одаренном противоположным свойством; кроме того, незнакомец отчасти задел его, отказавшись дать ему «интервью».

— Я ненавижу какое бы то ни было уродство в женщине, — сказал Кинг, — безразлично, прирожденное ли оно или благоприобретенное. Я убежден, что каждый физический недостаток связан с соответствующим умственным или моральным дефектом.

— Из этого следует, — сказал серьезным тоном Россер, — что дама, страдающая отсутствием носа, должна была бы убедиться, что стать миссис Кинг было бы для нее нелегкой задачей.

— Вы можете шутить сколько угодно, — последовал ответ Кинга, — но, серьезно, я когда-то отказался от брака с очаровательной девушкой, потому что я случайно узнал, что ей ампутировали палец на ноге. Я поступил зверски — не спорю, — но, если б я женился на ней, я был бы и сам несчастным, и сделал бы такой же несчастной и ее.

— Что ж, — сказал, усмехнувшись, Санчер, — выйдя замуж за джентльмена с более либеральными взглядами, она отделалась только перерезанным горлом.

— А! Так вы знаете, кого я имел в виду? Совершенно верно! Она потом вышла замуж за Ментона... Но я не очень-то уверен в широте его взглядов. Я допускаю, что он, может быть, именно потому и перерезал ей горло, что сделал это открытие: узнал, что ей не хватает этого лучшего украшения женщины — среднего пальца правой ноги.

— Посмотрите-ка на этого типа, — сказал тихим голосом Россер, пристально смотря на незнакомца.

Неизвестный джентльмен, по-видимому, жадно прислушивался к разговору.

— Черт знает, какое нахальство! — прошептал Кинг. — Что нам делать?

— Нет ничего более простого, — ответил Россер, вставая. — Сэр, — продолжал он, обращаясь к незнакомцу, — я думаю, что вам не мешало бы отодвинуть ваш стул на противоположный конец веранды. Общество джентльменов, вероятно, для вас дело непривычное.

Незнакомец вскочил и направился к ним с сжатыми кулаками; лицо его побледнело от гнева. Все встали. Санчер продвинулся между противниками.

— Вы поступили необдуманно и несправедливо, — сказал он Россеру. — Этот джентльмен ничем не заслужил такого обращения.

Но Россер не хотел взять свои слова обратно, и, согласно обычаям Юга и эпохи, эта ссора могла иметь только один исход.

— Я требую удовлетворения, — сказал незнакомец, несколько успокоившись. — У меня здесь совсем нет знакомых. Может быть, вы, сэр, — прибавил он с поклоном в сторону Санчера, — любезно согласитесь быть моим представителем в этом деле?

Санчер, надо признаться, принял на себя предложенные ему обязанности довольно неохотно, так как ни внешность, ни манеры незнакомца не внушали ему никакой симпатии.

Кинг, который в течение всей этой сцены не спускал глаз с незнакомца и не проронил ни слова, кивком головы согласился действовать от имени Россера, и в результате, когда главные участники инцидента удалились, секунданты устроили совещание и назначили дуэль на следующий вечер.

Условия, которые они выработали, нам уже известны: дуэль на ножах в темной комнате. Такой род поединков был в те времена довольно обычным явлением в юго-западных штатах. Мы увидим, какой тонкий слой «рыцарства» покрывал основную грубость «кодекса чести», разрешавшего подобные поединки.



III

В блеске летнего полдня старый Ментоновский дом изменял своим традициям. Он был на земле и земным. Солнце ласкало его горячо и нежно, очевидно, и не подозревая о его дурной репутации. Зелень, покрывавшая все пространство перед его фасадом, казалось, росла не в беспорядке, но в естественном, радостном изобилии и сорные травы расцветали, как цветы. Перегруженные очаровательной светотенью и населенные птицами с приятными голосами, заброшенные тенистые деревья уже не старались убеждать, но благоговейно склонялись под своим грузом солнца и песен. Даже лишённые стекол окна в верхнем этаже приобрели спокойное и довольное выражение благодаря свету внутри дома. Горячие лучи плясали по каменистым полам с живым трепетом, несовместимым с серьезностью, которая является неотъемлемым атрибутом «сверхъестественного».

Вот в каком виде представился пустующий дом шерифу Адамсу и двум другим мужчинам, которые приехали из Маршалла посмотреть на него. Один из этих мужчин был мистер Кинг, помощник шерифа, другой, по фамилии Брюэр, был братом покойной миссис Ментон. В силу закона штата по отно-

шению к имуществу, покинутому владельцем, местопребывание которого не может быть установлено, шериф являлся законным охранителем Ментоновской фермы со всеми принадлежащими к ней угодьями.

Сейчас он приехал по приказу суда, в который мистер Брюэр подал заявление о введении его в права наследства после покойной сестры. По случайному совпадению это посещение пришлось как раз на следующий день после той ночи, когда помощник шерифа Кинг отпер дверь этого дома для другой и совершенно непохожей цели.

Теперь он явился сюда не по собственному желанию: ему было приказано сопровождать своего начальника, и в ту минуту он не нашел ничего лучшего, как симулировать полную готовность. Он, собственно, и так собирался ехать сюда, но в совсем другом обществе.

Небрежно открыв входную дверь, которая, к его удивлению, оказалась незапертой, шериф с изумлением увидел на полу коридора беспорядочную кучу одежды.

После осмотра оказалось, что она состояла из двух шляп и такого же количества пиджаков, жилетов и галстуков; все это было новое и в полной сохранности, если не считать, что вещи были запачканы пылью, в которой они валялись. Мистер Брюэр был удивлен не менее шерифа, а мистер Кинг... Но не будем говорить о чувствах мистера Кинга.

Шериф, сильно заинтересованный оборотом, который приняло дело, отпер и распахнул дверь в комнату направо, и все трое вошли.

Комната была, по-видимому, пуста... Но нет! Когда их глаза привыкли к тусклому свету, они заметили в дальнем углу стены очертания чего-то лежащего на полу.

Это была человеческая фигура — мужчина, скорчившийся и забившийся в угол. Что-то в его позе заставило вошедших остановиться, едва они переступили через порог.

Фигура выступала все яснее. Человек стоял, опустившись на одно колено и прислонившись спиной к углу; голова его ушла в плечи почти до ушей; он закрыл лицо руками, ладонями наружу, причем пальцы его были растопырены и скрючены, как когти; бледное лицо, откинутае на судорожно напряженной шее, выражало непередаваемый ужас; рот был полуоткрыт, глаза вылезали из орбит. Он был мертв. Кроме ножа, очевидно выпавшего из его руки, и валявшегося около него на полу, в комнате не было ни одного предмета.

В густой пыли, покрывавшей пол, виднелись беспорядочные следы шагов около двери и вдоль примыкающей к ней стены. Вдоль одной из смежных стен, мимо заколоченных окон, также тянулся след, который оставил сам человек, пробираясь в угол.

Шериф и его спутники, направляясь к трупу, инстинктивно пошли по тем же следам. Шериф дотронулся до одной из откинутых рук мертвеца: она оказалась твердой, как железо, и, когда шериф легонько потянул ее, все тело по-



далось вперед, не изменив положения своих частей. Брюэр, бледный от ужаса, упорно вглядывался в искаженное лицо.

— Боже милостивый! — неожиданно вскрикнул он. — Это Ментон!

— Вы правы, — сказал Кинг, стараясь казаться спокойным. — Я знал Ментона. Он прежде носил бороду и длинные волосы, но это он.

Он мог бы прибавить: «Я узнал его, когда он вызвал Россера на дуэль. Я сказал Россеру и Санчеру, кто он, прежде чем мы вовлекли его в эту чудовищную западню. Когда Россер ушел из этой темной комнаты вслед за нами, забыв от волнения свою брошенную в коридоре одежду, и уехал с нами в одной рубашке, — мы в течение всей этой истории знали, что имеем дело с Ментоном — убийцей и трусом!»

Но мистер Кинг не сказал ничего подобного. Он только напрягал все свои умственные способности, чтоб проникнуть в тайну смерти этого человека.

Было совершенно ясно, что Ментон так и не двинулся из угла, указанного ему секундантами; его поза не была ни позой нападения, ни позой защиты; он выронил свое оружие и, очевидно, умер только от страха перед чем-то, что он увидел. Может быть, он увидел, этот трус, женщину с недостающим средним пальцем на правой ноге.



ПРИ ЧИКАМАУГА



олнечный осенний день склонялся к вечеру. Ребенок вышел из своего убогого жилища в поле и, никем незамеченный, дошел до леса. Он был упоен совершенно новым для него чувством свободы, отсутствия надзора. Он был счастлив. Перед ним открылась дверь к приключениям и самостоятельным исследованиям. Ибо дух, живший в этом мальчике и в течение тысячелетий одухотворявший его предков, был воспитан для великих дел — для открытий и побед. Его раса от самой колыбели с боем отстаивала свое существование, пробила себе путь через два материка и, переправившись через океан, проникла в глубь третьего.

Это был мальчик лет шести, сын бедного фермера. Его отец в юности был солдатом; он сражался с нагими дикарями. Но воинственный дух не угас в фермере за время его мирной жизни. Раз зажженный, воинственный дух уже никогда не гаснет. Он любил книги о войне и батальные картины. А мальчик был уже настолько смыслен, что сумел сделать себе из планки деревянный меч.

Этим оружием он и размахивал сейчас с храбрым видом, как и подобает потомку героической расы; останавливаясь время от времени на освещенных солнцем полянках, он принимал напыщенно-воинственные позы, виденные им в книжках с картинками. Поощренный легкостью, с которой он побеждал невидимых врагов, пытавшихся препятствовать его продвижению вперед, в лес, он совершил общую многим полководцам ошибку: он поддался азарту преследования и зарвался слишком далеко от своей базы. Он пришел в себя, когда очутился на берегу широкого, но не глубокого ручья и увидел, что его быстрые воды преграждают ему путь к преследованию врага, очевидно перебравшегося через него с непостижимой легкостью. Но это не обескуражило юного воителя; дух его предков, переплывших океан, жил в этой маленькой груди, непобедимый и неукротимый. Он увидел в одном месте на дне ручья

лежавшие довольно близко один от другого камни; прыгая по ним, он перепрыгнул на другой берег и, размахивая своим мечом, пустился догонять воображаемого трусливого врага.

Теперь, когда сражение было уже им окончательно выиграно, благоразумие требовало, чтобы он вернулся к маме... то бишь к базе своих военных операций. Увы! Подобно многим знаменитым полководцам и даже величайшему из них, он не смог «ни обуздать свой боевой пыл», ни понять, что «подвергнутая грандиозному искушению судьба покинет и самого великого героя».

В нескольких шагах от берега он встретился вдруг лицом к лицу с новым и более страшным врагом: на тропинке, по которой он шел, сидел на задних лапках заяц; он грозно сидел прямо поперек тропинки, вытянув кверху длинные уши и свесив передние лапки.

С криком испуга мальчик повернул назад и побежал; он бежал, не разбирая направления, призывая на помощь маму, плача и спотыкаясь; терновник беспощадно рвал его нежную кожу, маленькое сердце его усиленно билось от страха; он бежал задыхаясь, ничего не видя от слез, застилавших ему глаза.

Больше часа блуждал он, заплетающимися ногами, в густом кустарнике, пока наконец не улегся, обессиленный, в узком пространстве между двумя огромными камнями, в нескольких шагах от ручья. Он все еще сжимал в руке свой игрушечный меч — теперь уже не оружие, а верного товарища. Он плакал, обливаясь слезами, пока не уснул.

Лесные птицы весело распевали над его головой; белки, распуская пушистые хвосты, прыгали с лаем с дерева на дерево, без сожаления сдирая с них кору, а где-то вдали раздавались странные заглушенные громы, словно это дятлы били в барабаны, празднуя победу природы над дитятей ее извечных паразитов. А за лесом, на маленькой ферме, где белые и негры, полные беспокойства, спешно обыскивали поля и живые изгороди, сердце матери обливалось кровью за пропавшего ребенка.

Часы шли. Ребенок проснулся и встал на ноги. Вечерняя сырость пронизывала его до костей, и надвигающийся мрак наполнял его сердце страхом. Но он отдохнул и теперь не плакал больше. Повинуясь слепому инстинкту, побуждавшему его действовать, он начал пробираться — сквозь окруживший его густой чащей кустарник и вышел на более открытое место; справа от него был ручей, слева — пологий холм, поросший редкими деревьями; все тонуло в вечерних сумерках. Легкий туман, как призрак, поднимался над водой. Туман испугал мальчика; вместо того, чтобы перейти опять через ручей и пойти обратно по тому направлению, откуда он пришел, мальчик повернулся к ручью спиной и пошел вперед, к темному обволакивающему лесу.

Вдруг он увидел перед собой какое-то странное, движущееся существо; это могло быть какое-нибудь большое животное — собака или свинья; возможно, что это был медведь. Мальчик видывал медведей на картинках, но не знал о них ничего дурного; он был даже не прочь познакомиться с Мишкой

поближе. Но что-то в очертаниях или движениях странного существа — какая-то жуткая неуклюжесть — подсказала ему, что это не медведь, и любопытство у него сменилось страхом.

Он остановился; но по мере того как странное существо приближалось, мужество возвращалось к мальчику. Он убедился, что у странного животного не было во всяком случае этих длинных и так грозно вытянутых ушей, как у зайца. Быть может, мальчик бессознательно почуял в раскачивающейся, неловкой походке существа что-то знакомое. Прежде чем существо приблизилось к нему настолько, чтобы разрешить его сомнения, он увидел, что следом за ним идет второе, третье — целый ряд таких же существ. Они были и справа, и слева; все открытое пространство полянки казалось живым от множества копошащихся тел, и все они двигались по направлению к ручью.

Да, это были люди! Но они ползли на руках и коленях. Одни перебирали руками, волоча за собой ноги, другие передвигались на коленях, и руки их висели неподвижно по бокам. Некоторые из них пробовали подняться, но при каждой попытке падали. Все их движения были неестественны, и каждый двигался по-своему, а общее у них было только то, что все они продвигались, шаг за шагом, в одном и том же направлении. По одиночке, парами или маленькими группами — они двигались в густых сумерках; иногда они останавливались, и в это время другие медленно выползали вперед; потом возобновляли свое движение и остановившиеся. Их были десятки, сотни, и они покрывали собой все пространство, которое только можно было охватить глазом сквозь сгущавшийся мрак. Темный лес, видневшийся за ними, казалось, таил их в себе в несметном количестве. Самая земля около ручья, казалось, шевелилась.

Один из тех, которые остановились, больше не двинулся. Он лежал недвижимый. Некоторые, остановившись, делали странные жесты руками, поднимая и опуская их, или хватались за головы или поднимали ладони кверху, как люди в церкви иногда, во время общей молитвы.

Но не все это заметил ребенок; подметить все это мог бы только более опытный наблюдатель; мальчик видел только, что это были взрослые мужчины, но ползли они, как маленькие дети. Так как это были люди, то их нечего было бояться, хотя некоторые из них были одеты в какие-то странные невиданные им раньше костюмы. Теперь мальчик свободно расхаживал среди них, с детским любопытством заглядывая им в лица.

Лица их были поразительно бледны, а у многих они были покрыты красными полосами и пятнами. Это, в связи с их причудливыми позами и смешными движениями, напомнило ему клоуна с размалеванной физиономией, которого он видел прошлым летом в цирке. Он засмеялся, глядя на них. А они все ползли и ползли, эти искалеченные, окровавленные люди, безучастные, как и он, к трагическому контрасту между его смехом и их собственной мрачной серьезностью.

Для него это было забавное зрелище. Взрослые на ферме его отца нередко ползали на руках и на коленях, чтобы позабавить его, и катали его на себе, изображая лошадей.

Мальчик подошел к одному такому ползущему существу со спины и ловким движением оседлал его. Человек упал навзничь, потом поднялся, злобно сбросил мальчугана на землю, как это сделал бы жеребенок-двухлеток, и повернул к нему свое лицо; на этом лице не было нижней челюсти, и между верхними зубами и горлом зияла огромная красная дыра, из краев которой висели куски мяса и торчали обломки костей; неестественно выдавшийся нос, отсутствие подбородка и злые глаза придавали человеку вид хищной птицы, которая окрасила себе горло и грудь кровью своей жертвы.

Человек поднялся на колени; ребенок встал на ноги. Человек погрозил мальчику кулаком; ребенок, наконец, испугавшись, подбежал к ближайшему дереву и спрятался за него. Теперь его положение представилось ему более серьезным. А ползучая масса тащилась, медленно и с трудом передвигаясь, как в какой-то отвратительной пантомиме; она скатывалась с откоса к ручью, как стая больших черных жуков, без единого звука, — в глубоком, абсолютном молчании.

И вдруг вся эта кошмарная картина ярко осветилась. За стеной деревьев, которыми порос тот берег ручья, вспыхнул какой-то странно-красный свет, и стволы и ветки деревьев обрисовались на его фоне черным кружевом. Свет озарил ползунов, и от них пошли чудовищные тени, повторявшие в карикатурном виде их движения на освещенной траве. Свет упал на их лица, подкрасил их бледность и сделал еще темнее красные пятна, которыми они были испещрены. Свет заискрился на пуговицах и других металлических частях их одежды. Ребенок инстинктивно повернулся в сторону все разгоравшегося огня и стал спускаться с откоса вместе со своими ужасными спутниками.

Через несколько минут он прошел сквозь всю толпу (это был не бог вест какой подвиг, если принять во внимание, что он шел, а они ползли) и очутился во главе их. Он все еще продолжал держать в руке свой деревянный меч. Теперь он с важностью принял на себя предводительство этим войском, приспосабливая свои шаги к темпу его движений, и оборачиваясь от времени до времени, как бы для того, чтобы убедиться, что его войско не отстает от него. Можно сказать, что никогда еще не было ни такого предводителя, ни такого войска.

На небольшом пространстве, суживавшемся по мере приближения этого ужасного шествия к ручью, валялись, тут и там, различные предметы, которые не вызывали в уме предводителя ровно никаких ассоциаций и ни на что не наводили его мысль. Здесь какое-то одеяло, туго скатанное в трубку, сложенное пополам и связанное на концах ремешком, там — тяжелый ранец, тут — сломанное ружье, словом, такие вещи, которые находят на пути отступающих войск, и которые равносильны «следу», который оставляет удирающий от охотников зверь.



Болотистый берег ручья был истоптан ногами людей и лошадиными копытами, и земля около ручья превратилась в грязь. Более опытный наблюдатель заметил бы, что следы людей шли по двум направлениям и что войска прошли здесь дважды — сначала наступая, потом отступая. Несколько часов назад эти искалеченные полумертвые люди вместе со своими, более счастливыми и теперь далекими товарищами, вошли в лес; их было тогда несколько тысяч. Победоносные батальоны, разбившись на отдельные кучки, прошли мимо мальчика с обеих сторон — чуть не наступая на него, — в то время, когда он спал. Шум их шагов и бряцание их оружия не разбудили его. На расстоянии, может быть, брошенного камня от того места, где он спал, произошло сражение: но он не слышал ни ружейной трескотни, ни грохота пушек, ни громовой команды начальников. Он проспал все это, сжимая свой маленький деревянный меч, столь же безучастный к величию борьбы, как и воин, навсегда опочивший на поле сражения.

Огонь, сверкавший за стеной леса, на том берегу ручья, залил теперь светом, отражаясь от полога собственного дыма, всю местность. Извилистую линию тумана он превратил в золотые пары. Вода сверкала красными бликами; красными были и камни, торчавшие из воды. Но это была кровь, которой запятнали их менее тяжело раненые, пробираясь через них.

Мальчик теперь быстро перепрыгивал с камня на камень. Он спешил на пожар. Перебравшись на тот берег ручья, он обернулся, чтобы посмотреть на свое войско. Авангард его добрался до берега. Те, которые были посильнее, дотянулись до самого края берега и погрузили свои лица в воду. Три или четыре из них лежали без движения, опустив в воду всю голову. Казалось, что у них вовсе нет голов. Глаза ребенка загорелись при виде этого восторгом: уж больно это было смешно! Когда эти люди утолили свою жажду, у них не хватило сил ни на то, чтобы отодвинуться от воды, ни на то, чтобы удержать голову над ее поверхностью, и они захлебнулись. Позади них, на полянке, предводитель видел столько же бесформенных фигур, как и раньше; но теперь далеко не все из них шевелились. Он замахал им своей фуражкой, чтобы подбодрить их, и с улыбкой указал им своим мечом в сторону путеводного огня — это был огненный столп для этого необычайного исхода.

Полный доверия к преданности своих последователей, он углубился в лес, легко пересек его благодаря иллюминации, перелез через забор, перебежал через поле, оглядываясь и играя со своей тенью, и так добрался до пылающих развалин строения.

Здесь было полное запустение. На всем пространстве, освещенном огнем, не было ни одной живой души. Но ребенок не обратил на это внимания; зрелище было интересное, и он весело пустился в пляс, подражая движениям колеблющихся языков пламени. Он стал бегать и собирать топливо; но все, что он находил, было слишком тяжело для того, чтобы можно было бросить в огонь издали, а подойти к огню поближе, не обжигаясь, было невозможно.

В отчаянии, он швырнул в огонь свой меч. Это была сдача перед более могучими, чем он сам, силами природы. Его военная карьера закончилась.

Когда он повернулся в другую сторону, взгляд его упал на уцелевшие строения, имевшие до странности знакомые очертания; как будто он когда-то видел их во сне. Он стоял, с удивлением глядя на них, и вдруг вся ферма вместе с прилегающим к ней лесом, внезапно будто повернулась на каком-то стержне. Весь его маленький мирок перевернулся; точки компаса переместились. Он узнал в пылающем строении свой собственный дом!

С минуту он стоял, остолбенев от этого открытия; потом он побежал, спотыкаясь, вокруг развалин. На полдороге, отчетливо видимая при ярком свете пламени, лежала мертвая женщина, — белое лицо ее было поднято вверх, в раскинутых руках ее были зажаты пучки травы, платье было разорвано, длинные черные волосы спутаны и покрыты запекшейся кровью. Большая часть лба у трупа была оторвана, и сквозь зазубренные по краям отверстия проступал мозг и тек по лбу — покрытая пеной серая масса с пучками ярко-красных пузырьков... Работа снаряда.

Ребенок шевелил руками, делая дикие, неуверенные движения. Он выпускал какие-то непередаваемые нечленораздельные звуки — нечто среднее между болтовней обезьяны и куддыканьем индюка — страшные, бездушные, бессмысленные звуки, — язык дьявола. Ребенок стал глухонемым.

Он стоял неподвижно, с трясущимися губами, глядя на разрушение.



ДОБЕЙ МЕНЯ!



ой был упорный и продолжительный; в этом удостоверяли все чувства. Самый воздух был насыщен вкусом боя. Теперь все было кончено; оставалось только оказать помощь раненым и похоронить мертвых — «почиститься немного», — как выразился юморист санитарной команды. «Чистка» требовалась большая. В лесу, насколько мог видеть глаз, среди расщепленных деревьев, лежали искалеченные и мертвые люди и лошади. Среди них двигались санитары с носилками, подбирая и унося тех, которые проявляли признаки жизни. Большинство раненых успело умереть от потери крови, пока пушки решали вопрос о том, кому надлежит оказать им помощь. Правило войны таково, что раненые должны ждать; самый лучший способ позаботиться о своих раненых — это выиграть сражение. Надо признаться, что победа «его стороны» большая подмога для человека, нуждающегося в носилках, но многие не доживают до того момента, когда им можно было бы воспользоваться этими плодами побед.

Мертвых укладывали штук по двенадцати, по двадцати, и они так лежали бок о бок, рядами, пока рыли рвы, которые должны были принять их. Тех, кого находили далеко от этих братских могил, хоронили там, где они лежали. Об установлении личностей убитых особенно не заботились; впрочем, санитарным отрядам в большинстве случаев приказывали убирать ту же самую полосу, которую они помогали сжать, и поэтому имена победоносных мертвецов бывали известны и внесены в списки, ну, а павшие враги должны были довольствоваться уже и тем, что их подсчитывали. Зато это удовольствие выпадало на их долю в избытке: многих из них засчитывали по несколько раз, и общий итог в официальном рапорте победителя всегда несколько уклонялся от действительности в сторону чаемого.

На небольшом расстоянии от места, где один из санитарных отрядов устроил свой «бивуак мертвых», стоял, прислонившись к дереву, человек в форме федерального офицера. Поза его от ступней ног до шеи выражала усталость и желание отдыха; но ум его, очевидно, не находился в покое, так как он то и дело беспокойно вертел головой по сторонам. Он, по-видимому, не мог решить, в каком направлении ему пойти. Косые лучи заходящего солнца бросали уже красноватые блики сквозь просветы между деревьями, и усталые солдаты кончали свою дневную тяжелую работу. Девять человек из десяти, которых вы встретите после сражения, спрашивают, как пройти к той или другой части, — как будто кто-нибудь может это знать! Без сомнения, этот офицер отбился от своей части.

Однако, когда последняя санитарная команда ушла, он двинулся прямо через лес к пылающему закату, окрашивавшему его лицо, как кровью. Уверенность, с которой он шагал теперь, показывала, что он идет по знакомым местам; он вернул себе самообладание. Он не обращал никакого внимания на мертвые тела, лежавшие по обеим сторонам дороги. Случайный тихий стон какого-нибудь тяжелораненого, до которого не успели добраться санитары и которому предстояло провести безотрадную ночь под звездным небом, также не привлекал его внимания. Что мог, в самом деле, сделать для него этот офицер? Он не был врачом, и у него даже не было с собой фляги с водой.

У устья неглубокого оврага, — скорее простой ложбинки, — лежала небольшая кучка тел. Офицер увидел ее и, поспешно свернув с дороги, быстро подошел к кучке. Пристально всматриваясь в каждого мертвеца, он наконец остановился над одним, который лежал несколько в стороне, около группы низкорослых деревьев. Он внимательно посмотрел на него. Тот, казалось, пошевелился. Офицер наклонился и положил руку на лицо мертвецу. Тот застонал.

Офицер был капитан Даунинг Медуэл, Массачусетского пехотного полка, храбрый и развитой солдат и великодушный человек.

В полку служили два брата Халькро — Каффель и Крид. Каффель Халькро был сержантом в роте капитана Медуэла, и оба они, сержант и капитан, были закадычными друзьями. Они всегда были вместе, насколько это позволяли различие их обязанностей и требования военной дисциплины, потому что они вместе выросли и с детства питали друг к другу сердечную привязанность. Каффель Халькро был по природе человеком невоинственным, но мысль о необходимости расстаться со своим другом была ему так тяжела, что он записался в роту, в которой Медуэл был младшим лейтенантом. Оба дважды получили повышение, но между самым высшим унтер-офицерским и низшим офицерским чином — глубокая социальная пропасть, и друзьям стоило немало труда явно поддерживать между собой старые отношения.

Крид Халькро, брат Каффеля, был майором; это был мрачный циник, и между ним и капитаном Медуэлом всегда существовала какая-то органическая антипатия; благодаря обстоятельствам, она перешла теперь в актив-

ную вражду. Если бы их не сдерживали общие их чувства к Каффелю, каждый из этих двух патриотов постарался бы лишиться свою страну услуг другого.

В это утро, в самом начале боя, полк занимал передовые позиции на расстоянии мили от главных сил армии. Он был атакован и окружен в лесу, но упрямо удерживал свою позицию. Во время перерыва в бою майор Халькро подъехал к капитану Медуэлу. После формальных приветствий, майор сказал:

— Капитан, полковник приказал вам занять с вашей ротой позицию у начала этого оврага и держаться там, пока вас не отзовут. Едва ли мне нужно объяснять вам, насколько это продвижение опасно. Если вы пожелаете, вы можете, я думаю, передать командование вашему старшему лейтенанту. Я не уполномочен узаконить эту замену; это только мое предложение вам, делаемое мной неофициально.

Капитан Медуэл, выслушав это смертельное оскорбление, холодно ответил:

— Сэр, я приглашаю вас сопровождать мой отряд. Конный офицер явится хорошей мишенью, а я уже давно держусь того мнения, что было бы лучше, если бы вы отправились на тот свет.

Находчивость процветала в военных кругах еще и в 1862 г.

Через полчаса рота капитана Медуэла снялась со своей позиции у оврага, потеряв одну треть своего состава. Среди павших был сержант Халькро. Полк вскоре после этого был вынужден отойти назад к главным силам армии и к концу боя находился за несколько миль от оврага.

Теперь капитан стоял возле своего павшего подчиненного и друга.

Сержант Халькро был смертельно ранен. Одежда его была в беспорядке; по-видимому, ее ожесточенно сдирали с него, стараясь обнажить живот. Несколько пуговиц с его мундира были оторваны и лежали на земле возле него, а кругом были разбросаны клочья одежды. Кожаный пояс был растегнут и, по-видимому, был вытащен из-под раненого, когда он лежал. Крови было немного. На виду была одна рваная рана на животе. Она была засорена землей и сухими листьями. Из нее торчал рваный конец узкой кишки. За все время войны капитану Медуэлу не приходилось еще видеть подобной раны. Он не мог ни догадаться, каким образом она была нанесена, ни объяснить себе эти загадочные подробности: странно разорванную одежду, растегнутый и вытащенный из-под раненого пояс, грязь в ране, запачканное белое тело вокруг нее.

Он стал на колени и рассмотрел все внимательнее. Поднявшись опять на ноги, он стал оглядываться по сторонам, как бы отыскивая виновника. Шагах в пятидесяти, на гребне низкого, покрытого редкой растительностью холма, он увидел довольно много темных фигур, двигавшихся среди мертвецов. Это было стадо свиней. Одна свинья стояла задом к нему; приподнятые лопатки ее остро выдавались; передние ноги ее стояли на человеческом теле, ее низко наклоненной головы не было видно. Щетинистая спина казалась черной на фоне красного заката. Капитан Медуэл отвел глаза от животного и опять устремил их на то, что было когда-то его другом.

Человек, который был так чудовищно изуродован, был жив. От времени до времени он шевелился; при каждом вздохе он стонал. Пустым взглядом смотрел он на своего друга и вскрикивал при каждом его прикосновении. В мучительной агонии он разрывал землю, на которой лежал; его сжатые кулаки были полны листьями, землей и ветками. Он уже не в силах был проносить членораздельные звуки; невозможно было узнать, чувствовал ли он что-нибудь, кроме боли. Лицо его выражало ожидание, глаза его были полны мольбой. О чем?

В значении его взгляда нельзя было ошибиться; капитан слишком часто видел этот взгляд в глазах людей, которые еще были в силах выразить свое желание словами; это была мольба о смерти.

Сознательно или бессознательно, этот корчившийся в муках осколок человечества, это воплощение живой боли, этот скромный, чуждый героизма Прометей молил всех, все, обращался ко всему, что не «я», с единой просьбой — чтобы ему дали испить из чаши забвения. К земле и к небу, к деревьям и человеку, — ко всему, что облакалось в форму в его ощущении или в его сознании, — обращалось это воплощенное страдание с молчаливой мольбой.

О чем же на самом деле была эта мольба? Об услуге, которую мы оказываем даже низшим бессловесным существам, не умеющим просить, и в которой мы отказываем несчастным представителям своей породы: о блаженном освобождении, об акте высшего сострадания, о спасительном убийстве.

Капитан Медуэл назвал своего друга по имени. Он повторил его несколько раз, пока спазмы не сдавили ему горло. Слезы хлынули на бескровное лицо раненого и затуманили глаза ему самому. Он не видел ничего кроме окровавленного ворочающегося тела, только стоны были теперь более явственны и прерывались резкими выкриками через более короткие промежутки. Капитан повернулся, провел рукой по лбу и быстро пошел от этого места. Свиньи, увидев его, подняли свои окровавленные морды, с секунду смотрели на него подозрительно, потом с угрюмым недовольным хрюканьем убежали и исчезли из глаз. Лошадь, с раздробленной снарядом передней ногой, подняла голову с земли и жалобно заржала. Медуэл сделал шаг вперед, вынул револьвер и выстрелил несчастному животному в голову между глаз; он внимательно следил за его борьбой со смертью, которая, вопреки его ожиданиям, оказалась упорной и длительной; но, наконец, животное успокоилось. Напряженные мускулы его губ открыли зубы, оскаленные в ужасной гримасе, и обвисли; острый четкий профиль приобрел выражение глубокого мира и покоя.

Яркая полоса заката, тянувшаяся вдоль гребня дальнего холма почти догорела. Стволы деревьев стали нежно-серыми; на верхушках их уселись тени, похожие на больших черных птиц. Наступала ночь, а капитана Медуэла отделяло от лагеря несколько миль жуткого леса. А он все стоял около мертвой лошади, совершенно безучастный, казалось, к окружающему. Глаза его были опущены к земле; левая рука бесцельно повисла, правая продолжала держать ре-

вольвер. Вдруг он поднял голову, повернул лицо в сторону умирающего друга и быстро направился обратно к нему. Он стал на одно колено, взвел курок, приставил дуло револьвера ко лбу умирающего, отвел глаза в сторону и спустил курок. Выстрела не последовало. Он истратил последний патрон на лошадь. Страдалец застонал, и губы его конвульсивно зашевелились. Показавшаяся на них пена была окрашена кровью.

Капитан Медуэл поднялся на ноги и вынул из ножен саблю. Пальцами левой руки он провел по ней от рукоятки до конца лезвия. Некоторое время он держал ее прямо перед собой, как бы для того, чтобы испытать свои нервы. Не видно было, чтобы клинок дрожал; бледные отблески света отражались в них спокойно и ровно. Он наклонился, левой рукой отвел в сторону рубашку умирающего, поднялся и установил кончик лезвия прямо против его сердца. На этот раз он не отвел глаз. Сжимая рукоятку обеими руками, он вонзил саблю, надавив на нее изо всей силы и навалившись на нее всем своим весом. Клинок погрузился в тело, пронзил его и вонзился в землю.

Капитан Медуэл чуть не упал, надавливая изо всех сил. Умирающий поднял колени и в то же время, подняв правую руку, так крепко ухватился за сталь, что суставы его пальцев заметно побелели. В яром, но тщетном усилии вытаскать клинок он расширил рану; кровь хлынула ручьем, стекая извилистыми струями по разорванному платью. В этот момент три человека молча появились из-за группы молодых деревьев, скрывавших их приближение. Двое из них были санитары с носилками.

Третий был майор Крид Халькро.





ПАРКЕР АДДЕРСОН, ФИЛОСОФ



оеннопленный, как ваше имя?

— Так как завтра с рассветом я все равно утрачу его, едва ли стоит его скрывать: Паркер Аддерсон.

— Ваш чин?

— Скромный. Офицеры слишком драгоценный материал, чтобы подвергать их опасностям шпионского ремесла. Я сержант.

— Какого полка?

— Вы должны извинить меня; если я вам отвечу,

это даст вам, насколько я понимаю, возможность узнать, какие силы находятся против вас. А ведь я пробрался на ваши позиции, чтобы получить эти сведения, а не для того, чтобы сообщить их.

— Вы не лишены остроумия.

— Если у вас хватит терпения подождать, то завтра утром вы найдете меня тупым.

— Откуда вы знаете, что вы должны умереть завтра утром?

— Таков уж обычай у шпионов, пойманных ночью. Это одна из приятных сторон этой профессии.

Генерал до такой степени забыл о своем достоинстве южанина, о своем высоком чине и своей громкой славе, что даже улыбнулся. Но никто из людей, находящихся в его власти и не пользующихся его расположением, не истолковал бы эту улыбку в свою пользу. Эта улыбка не была ни искренней, ни заразной, и она не вызвала реплики ни у пойманного шпиона, который вызвал ее своими бойкими речами, ни у конвойного, который привел его в палатку и теперь стоял в стороне, рассматривая своего пленника при желтом свете свечи. Улыбаться не входило в обязанности этого воина; да он и был командирован сюда для другой цели. Разговор возобновился. Фактически это был допрос.

— Значит, вы сознаетесь, что вы шпион? Что вы проникли в наш лагерь переодетым — вот, на вас форма нижнего чина армии конфедерации — чтобы получить сведения о количестве и расположении моих войск?

— Главным образом, об их количестве. Их расположение было мне известно заранее. Они расположены к отступлению.

Генерал опять просиял; конвойный, сильнее почувствовав свою ответственность, принял еще более суровый вид и еще больше выпрямился.

Вертя свою мягкую серую шляпу вокруг указательного пальца, шпион обводил ленивым взглядом окружавшую его обстановку. Она отличалась простотой. Палатка была самой обыкновенной палаткой, с прямыми стенами, и освещалась одинокой сальной свечей, вставленной в гнездо штыка, воткнутого острием в простой сосновый стол; за этим столом и сидел генерал; теперь он что-то писал, с совершенно деловым видом, и казалось, что он забыл и думать о своем невольном госте. Земляной пол покрывал старый ковер из тряпок; старый чемодан, еще один стул и сверток одеял дополняли убранство палатки.

В армии генерала Клаверинга свойственные конфедератам простота и отсутствие «пышности и всяких околичностей» достигали крайних пределов. На большом гвозде, вбитом в столб, висели на кожаном поясе длинная сабля, револьвер в кобуре и, как это ни странно, ковбойский нож. Генерал обычно говорил об этом невоенном оружии, как о приятном воспоминании о мирных днях, когда он был штатским.

Ночь была бурная. Дождь проливался на холст палатки целыми каскадами, с тупым звуком, похожим на барабанную дробь, столь знакомым обитателям палаток. Когда порывы ветра налетали на нее, хрупкое сооружение шаталось, валилось на бок и натягивало поддерживавшие ее шесты и канаты.

Генерал кончил писать, сложил бумагу пополам и сказал солдату, караулившему Аддерсона:

— Слушай, Тасман! Ты снесешь это старшему адъютанту, а потом вернешься.

— А как быть с пленником, генерал? — спросил солдат, вскинув глаза на несчастного.

— Делай, что приказывают, — ответил коротко генерал.

Солдат взял записку и шмыгнул из палатки. Генерал Клаверинг повернул свое красивое, чисто выбритое лицо к шпиону, посмотрел ему довольно добродушно в глаза и сказал:

— Скверная ночь, любезный.

— Для меня, да.

— Вы догадались, что я написал?

— Вероятно, что-нибудь достойное прочтения. И — может быть, это с моей стороны тщеславно, — но я осмеливаюсь предполагать, что в вашей бумаге упоминается и обо мне.

— Да; это набросок приказа, который должен быть прочитан войскам во время зари и в котором говорится о вашей казни. А также несколько указаний начальнику экзекуционного отряда о том, как обставить эту церемонию.

— Я надеюсь, генерал, что этот спектакль будет организован как следует; я ведь намерен сам присутствовать на нем.

— Нет ли у вас каких-нибудь личных желаний по этому поводу? Может быть, вы желаете видеть священника?

— Зачем? Мне ведь и так обеспечен продолжительный покой. Зачем же доставлять ему краткое беспокойство?

— Но, послушайте! Неужели вы собираетесь встретить смерть только острогами? Разве вы не знаете, что смерть не шутка?

— Как я могу это знать? Я никогда еще за всю мою жизнь не умирал. Я, правда, слышал, что смерть не шутка, но не от тех, кто ее испытал.

С минуту генерал молчал; этот человек интересовал, пожалуй, даже забавлял его; он никогда еще не сталкивался с такими типами.

— Смерть, — сказал он после паузы, — во всяком случае — утрата: утрата того счастья, которым уже обладаешь, и возможности добиться еще большего.

— Утрату, которую мы никогда не осознаем, можно перенести хладнокровно, и нечего нервничать в ожидании такой утраты. Вы могли подметить, генерал, что из всех мертвецов, которыми вы с таким профессиональным удовольствием усеяли ваш путь, ни один не выразил неудовольствия по поводу своей смерти.

— Если даже в состоянии смерти нет ничего неприятного, во всяком случае переход в это состояние — расставание с жизнью — по-моему несомненно сопряжено с некоторыми неприятными ощущениями... по крайней мере для тех, кто не утратил еще способности чувствовать.

— Боль неприятна, без сомнения. Я всегда переносил ее с большим или меньшим неудовольствием. Но тот, кто долго живет, больше и подвергается страданиям. То, что вы называете расставанием с жизнью, есть просто последнее страдание — потому что никакого расставания с жизнью в сущности не существует. Предположим, для иллюстрации, что я делаю сейчас попытку бежать. Вы вытаскиваете револьвер, который вы учтиво скрываете в кармане, и...

Генерал вспыхнул, как девушка, потом тихо засмеялся, обнажив сверкающие белизной зубы, и слегка наклонил красивую голову, но ничего не сказал. Шпион продолжал:

— ...нажимаете курок. Что же дальше? В мой желудок попадает нечто такое, чего я не глотал. Я падаю, но я не мертв. После агонии, продолжающейся, допустим, с полчаса, я мертв. Но в каждый данный момент этого получаса я буду либо живым, либо мертвым: никакого переходного состояния — расставания с жизнью или умирания — просто нет и не существует. Когда меня завтра утром будут вешать, произойдет то же самое; пока я буду в сознании, я

буду жив; когда я умру, я буду без сознания. Природа, по-видимому, устроила все это в моих интересах — я и сам не придумал бы лучше. Это так просто, — пленник улыбнулся, — это так просто. Иной раз прямо кажется, что не стоит и быть повешенным.

Когда он кончил, наступило долгое молчание.

Генерал сидел, безучастно глядя пленнику в лицо, но, видимо, не слушая его. Словно глаза его сторожили пленного, в то время как ум его был занят чем-то совершенно другим.

Но вдруг он глубоко вздохнул, вздрогнул, как бы пробудившись после какого-то страшного сна, и чуть слышно пробормотал:

— Смерть ужасна!

— Она была ужасна для наших диких предков, — серьезно сказал пленный, — потому что у них не было достаточно развития, чтобы разъединить идею сознания от идеи физических форм, в которых оно себя проявляет; даже низший интеллект, какой мы наблюдаем, например, у обезьяны, не в состоянии себе представить дом без обитателей и при виде разрушенной хижины воображает, что там должен находиться ее страдающий обитатель. Смерть ужасна для нас потому, что мы унаследовали склонность так думать и конструируем для того, чтобы объяснить себе смерть, какие-то дикие и фантастические потусторонние миры. Так, названия местностей способствуют созданию объясняющих эти названия легенд; так, неразумные действия вызывают необходимость в создании философии, оправдывающей их. Вы можете повесить меня, генерал, но этим и кончается ваша власть творить зло; вы не можете приговорить меня к будущей жизни.

Генерал, казалось, не слушал; речи шпиона только направляли его мысли в непривычное русло, но, раз очутившись там, они текли уже своим путем и вели к иным, независимым от слов пленника выводам. Буря стихла, и торжественная тишина ночи передалась и генералу, придав его размышлениям мрачный оттенок мистического страха.

— Я не хотел бы умереть, — сказал он, — сегодня ночью во всяком случае.

Он был прерван — если только он и на самом деле намеревался продолжать — приходом офицера своего штаба, капитана Гастерлинка, заведывавшего полицейской частью. Он пришел в себя; задумчивое выражение исчезло с его лица.

— Капитан, — сказал он, ответив на приветствие офицера, — этот человек — шпион-янки, взятый в плен на нашем фронте. При нем нашли компрометирующие бумаги. Он сознался. Какая погода?

— Буря стихла, сэр, и светит луна.

— Хорошо. Назначьте команду, отведите его на площадку для смотров и расстреляйте его.

Резкий крик вырвался из уст шпиона. Он бросился вперед, вытянул шею, вытаращил глаза, сжал руки.

— Как же это? — воскликнул он хриплым голосом, с трудом выговаривая слова: — Вы ошиблись! Вы забыли! Вы не должны казнить меня раньше утра.

— Я ничего не говорил про утро, — холодно ответил генерал. — Это было ваше собственное предположение. Вы умрете сейчас.

— Но генерал... я прошу... я умоляю вас вспомнить: ведь меня нужно повесить! Чтобы соорудить виселицу, понадобится некоторое время... часа два... Ну, час. Шпионов вешают: я имею на это право по законам военного времени. Ради бога, генерал, подумайте, какое короткое...

— Капитан, исполняйте мое приказание.

Офицер обнажил шпагу и, взглянув на пленного, молча указал ему на выход из палатки. Пленный, смертельно бледный, колебался; офицер схватил его за шиворот и тихонько подтолкнул его вперед. Когда они приблизились к столбу, поддерживавшему палатку, пленный в бешенстве подскочил к нему и с кошачьей ловкостью ухватился за ручку ковбойского ножа; в один миг он вытащил нож из ножен и, оттолкнув в сторону капитана, с яростью безумного бросился на генерала; он повалил его на землю и навалился на него всем телом. Стол опрокинулся, свеча потухла, и они начали бороться вслепую в темноте. Капитан бросился выручать генерала, споткнулся и сам упал на дерущихся. Из беспорядочной кучки барахтающихся тел неслись проклятия и бессвязные крики гнева и боли, и борьба продолжалась под покрывшим людей словно одеялом полотном палатки. В это время вернулся, исполнив данное ему поручение, Тасман. Смутно догадываясь, в чем дело, он бросил свое ружье и, ухватившись наудачу за первый попавшийся ему развевающийся кусок холста, напрасно старался стащить палатку с барахтающихся под ней людей. Часовой, ходивший взад и вперед снаружи, не смея покинуть свой пост, хотя бы само небо упало на землю, выстрелил. Этот выстрел взбудоражил весь лагерь; барабаны забили тревогу, а горнисты заиграли сбор, выгоняя на мутный свет толпы полуодетых людей; они одевались на ходу и строились под отрывистую команду офицеров. Это было необходимо; стоя в рядах, солдаты были на виду. В то же время офицеры штаба генерала и его охрана подняли палатку и, разняв задыхающихся, окровавленных участников этой странной схватки, прекратили сумятицу.

Бездыханным был только один капитан: ручка ковбойского ножа торчала у него из горла, и рука, нанеся этот удар, не в силах была вытащить застрявший кривой нож обратно. В руке мертвеца был его кинжал, зажатый так крепко, что по этому можно было судить о его громадной силе. Клинок кинжала был покрыт кровью до самой рукоятки.

Когда генерала подняли и поставили на ноги, он снова со стоном упал и лишился сознания. Кроме ушибов, у него были две колотые раны — одна в бедро, другая в плечо.

Шпион пострадал меньше всех. Не считая сломанной правой руки, полученные им повреждения были такого рода, какие можно получить в обык-



новенной драке, без участия оружия. Но он был как помешанный, и едва ли понимал, что случилось. Он отшатнулся от людей, державших его, припал к земле и бормотал какие-то бессвязные слова. Его лицо, распухшее от ударов и покрытое пятнами крови, было смертельно бледно под всклокоченными волосами.

— Он не сумасшедший, — сказал доктор, когда ему задали вопрос. — Он просто обезумел от страха. Кто он?

Рядовой Тасман начал объяснять. Это было событием в его жизни; он не упустил ничего, что могло бы так или иначе подчеркнуть, какую важную роль играл во всех этих событиях он сам. Когда он кончил свой рассказ и готов был начать его сначала, никто уже не обращал на него никакого внимания.

Генерал тем временем пришел в себя. Он приподнялся на локте, осмотрелся и, видя, что шпион сидит на земле, скорчившись, под охраной двух солдат, сказал просто:

— Уведите этого человека на площадку для смотров и расстреляйте его.

— Генерал, должно быть, бредит, — сказал офицер, стоявший около него.

— Он не бредит, — сказал старший адъютант. — У меня есть записка от него об этом деле; он отдал такое же приказание Гастерлинку — прибавил он, указав на мертвого капитана, — и, ей-ей, оно будет исполнено.

Десять минут спустя сержант федеральной армии Паркер Аддерсон, философ и остряк, был расстрелян двумя десятками солдат. Он стоял на коленях при свете месяца и в бессвязных словах вымаливал себе пощаду. Когда залп прозвучал в свежем воздухе зимней ночи, генерал Клаверинг, лежавший белый и спокойный в красноватом свете лагерного костра, открыл свои голубые глаза, обвел довольным взглядом стоявших около него и сказал:

— Как тихо!

Доктор многозначительно взглянул на старшего адъютанта. Глаза генерала медленно закрылись, и так он лежал несколько минут; потом лицо его осветилось невыразимо кроткой улыбкой, и он сказал слабым голосом:

— Я думаю, это смерть, — и тихо скончался.



ЖАРКАЯ СХВАТКА



сенней ночью 1861 г. в чаще леса в Западной Виргинии сидел одинокий человек. Эта местность была тогда одной из самых диких на континенте, да и осталась такой и теперь. Несмотря на это, недостатка в людях под рукой там сейчас не было; за две мили от того места, где сидел человек, располагалась лагерь молчаливая теперь бригада северян. Где-то — может быть, совсем близко — находился и неприятель, но в каком количестве — неизвестно. Эта неизвестность относительно численности неприятеля и точного местоположения его и привела одинокого человека в лесные дебри. Это был молодой офицер федеральной пехоты, и обязанность его состояла теперь в том, чтобы застраховать своих спящих в лагере товарищей от всякого сюрприза. С ним была команда разведчиков. Как только настала ночь, он расставил своих людей по неправильной линии, соответственно неровностям почвы, на несколько сот шагов от того места, где он теперь сидел. Эта линия шла через лес, среди скал и лавровых зарослей, причем люди были расставлены на расстоянии пятнадцати-двадцати шагов друг от друга; все они были хорошо скрыты, и им был дан приказ соблюдать тишину и не спать. Через четыре часа, если ничего не случится, их сменит часть из резерва, отдыхающая сейчас неподалеку, под командой капитана. Прежде чем расставить своих людей, молодой офицер указал двоим сержантам место, где его можно будет найти в случае, если он понадобится для каких-нибудь распоряжений или если потребуется его присутствие на передовой линии.

Это было довольно спокойное место; старая лесная дорога расходилась отсюда двумя разветвлениями, терявшимися в мутном свете луны. На каждом из этих разветвлений стояли, в нескольких шагах от линии, по сержанту. Пикетам, как известно, не полагается удерживать позицию, после того как они дали залп. Если люди будут потеснены, они двинутся по этим дорогам, а дви-

гаясь по ним, они неминуемо должны будут дойти до разветвления; там их легко можно будет собрать и построить.

Молодой лейтенант был стратегом в маленьком масштабе; если бы Наполеон так же умно рассуждал при Ватерлоо, он выиграл бы это сражение и был бы свергнут немного позже.

Младший лейтенант Брейнерд Байринг был храбрый и энергичный офицер, но он был молод и сравнительно неопытен в искусстве убивать своих ближних. Он вступил в армию в самом начале войны, в качестве рядового, и не имел никаких военных познаний, но за свою воспитанность и хорошие манеры был скоро произведен в сержанты. Затем ему просто повезло: он имел счастье лишиться своего капитана, убитого пулей южан, и в результате последовавших повышений получил офицерский чин. Он участвовал в нескольких сражениях—при Филиппи, Рич Маунтин, Каррик Форде и Гринбрайере, и вел себя так, чтобы не привлекать к себе внимания старших офицеров. Возбуждающая атмосфера боя нравилась ему, но вид мертвецов, с землистыми лицами, пустыми глазами и окоченевшими телами, неестественно тощими или неестественно распухшими, был для него невыносим. Он чувствовал к ним нечто вроде необъяснимой антипатии, нечто гораздо большее, чем физическое и психологическое отвращение, столь знакомые нам всем. Без сомнения, это ощущение было обязано своим существованием его обостренной чувствительности, его тонкому чувству красоты, которое эти отвратительные вещи оскорбляли. От чего бы ни последовала смерть, он не мог смотреть на мертвое тело без омерзения, в котором был и какой-то элемент злобы. Величия смерти, к которому относились с таким уважением другие, для него не существовало; он его не понимал. По его мнению смерть можно было только ненавидеть. Смерть была не живописна, она была лишена лиризма или торжественности; это была противная вещь, отвратительная во всех своих проявлениях. Лейтенант Байринг был более храбрым, чем его считали: ведь никто не знал его ужаса перед смертью, а он всегда готов был встретиться с ней лицом к лицу.

Расставив своих людей и дав инструкции сержантам, он вернулся на свое место, сел на поваленное дерево и стал караулить. Все чувства его были настороже. Для удобства он распустил пояс с саблей и, вынув из кобуры тяжелый револьвер, положил его на бревно позади. Он чувствовал себя очень хорошо, хотя он об этом вовсе и не думал. Он внимательно прислушивался ко всякому доносившемуся с фронта звуку, — ведь он мог иметь такое грозное значение: крик, выстрел, звук шагов сержанта, подходящего к нему с каким-нибудь важным донесением... Из необозримого, невидимого океана лунного света, наверху там и сям падали вниз жидкие, разрозненные потоки, которые, казалось, шлепались о мешавшие им ветки деревьев и капали на землю, образуя между купами лавров белые лужицы. Но этих потоков было мало, и они только подчеркивали окружающую тьму, которую воображение молодого человека с лег-

костью населяло всевозможными чуждыми образами, — угрожающими, жуткими или просто причудливыми.

Тот, кто испытал на себе, что значит сидеть одиноко в густой чаще леса в зловещей тишине ночи, тому не нужно объяснять, что это совершенно другой мир, что даже самые обыкновенные и знакомые предметы принимают в нем иной вид. Деревья иначе группируются; они жмутся друг к другу, точно объятые страхом. Самая тишина носит иной характер, чем днем. Она полна чуть слышных шорохов, пугающих шорохов — призраков давно умерших звуков. Здесь слышатся также и живые звуки, которых никогда не услышишь при другой обстановке: голоса страшных ночных птиц, крики мелких животных, ставших добычей хищников или вскрикивающих во сне, шорох прошлогодних листьев; может быть, это прыгнула лесная крыса, а может шагнула пантера. Почему хрустнула ветка? Что это за тихое, но беспокойное птичье чириканье в этом кусте? Звуки, которым нет названия, формы, лишённые содержания, перемещения в пространстве предметов, которых не видишь, движения, когда ничто не меняет своих мест... Ах, дети солнца и газовой горелки, как мало вы знаете мир, в котором вы живете!

Окруженный находящимися неподалеку вооруженными и бдительными врагами, Байринг чувствовал себя беспредельно одиноким. Поддавшись торжественному и таинственному настроению, навеянному на него обстановкой, он забыл о том, какую роль играет он сам по отношению к видимым и слышимым явлениям и событиям ночи. Лес утратил границы; люди с их жилищами перестали существовать. Вселенная погрузилась в извечный мрак, бесформенный и пустой, сам себя немо вопрошающий о смысле своей бесконечной тайны. Погруженный в мысли, порожденные таким настроением, он не замечал, как шло время. Тем временем редкие пятна лунного света, лежавшие на земле, между кустами, изменили свою величину и очертания и переместились. Когда его взгляд упал на одно такое пятно, у самой дороги, он увидел предмет, которого он до того не замечал. Он находился теперь почти у самого его лица, но он мог поклясться, что раньше его здесь не было. Часть его была в тени, но молодой офицер мог разглядеть, что это была фигура человека. Он инстинктивно пристегнул шпагу и схватился за револьвер — он был снова в мире войны и чувствовал себя опять профессиональным убийцей.

Фигура не шевелилась. Вскочив на ноги, с поднятым револьвером в руке, он подошел ближе. Человек лежал на спине; верхняя часть его тела была в тени, но, глядя сверху на его лицо, молодой офицер понял, что перед ним был труп. Он вздрогнул и отвернулся, почувствовав тошноту и отвращение. Он сел опять на бревно и, забыв необходимую осторожность, чиркнул спичку и закурил сигару. В темноте, наступившей после вспышки пламени, он почувствовал облегчение; он перестал видеть предмет, вызывавший в нем отвращение. Тем не менее, он продолжал смотреть в ту сторону до тех пор, пока очертания фигуры снова не выступили из мрака с большей отчетливостью.казалось, что она продвинулась несколько ближе.

— Проклятие! — пробормотал молодой офицер. — Чего ему нужно? Сомнительно, чтобы «ему» не хватало чего-нибудь, кроме жизни.

Байринг отвел глаза в сторону и стал мурлыкать какой-то мотив; но он остановился на полутакте и посмотрел на мертвеца. Его присутствие раздражало его, хотя едва ли он когда-либо имел более спокойного соседа. Он ощутил в себе еще смутное, неопределенное чувство, которое было для него ново. Это был не страх, а скорее ощущение сверхъестественного. Как это могло произойти, когда он не верил ни во что сверхъестественное?

«Я унаследовал это от дальних предков», — сказал он самому себе. «Наверно понадобится около тысячи лет — а, может быть, десять тысяч — чтобы человечество пережило это чувство. Где и когда оно зародилось? Может быть, далеко позади, в так называемой колыбели человеческой расы, на равнинах Центральной Азии. То, что мы унаследовали, как суеверие, для наших варваров-предков было разумным убеждением. Без сомнения, они считали себя правыми, объясняя некоторые явления, природу которых мы не можем определить, присущей мертвецам способностью причинять зло и наделяя мертвецов волей. Вероятно, это было одной из главных доктрин их религии, которую им вбивали в головы их жрецы, подобно тому, как наши евщенники проповедают нам учение о бессмертии души. По мере того как арийцы продвигались на запад и, пройдя через Кавказ, расселились по всей Европе, новые условия жизни потребовали и новых религиозных форм. Старое убеждение в коварстве и злой воле мертвецов потеряло силу веры и даже выпало из традиции, но в наследство от нее остался страх перед мертвецами, который и составляет теперь такую же часть нас самих, как наша кровь и кости...»

Следуя течению своих мыслей, он было забыл о том предмете, который их породил; но теперь его взгляд снова упал на труп. Теперь тень совершенно сошла с него. Молодой офицер видел острый профиль, поднятый кверху подбородок и все лицо, белое, в призрачном свете месяца, как у привидения. На мертвом была серая форма конфедератского солдата. Мундир и жилет, незастегнутые, распахнулись по обеим сторонам, открыв белую рубашку. Грудь казалась неестественно выпуклой, но живот ввалился, и нижние ребра выступили наружу. Руки трупа были раскинуты, левое колено приподнято. Вообще, все положение трупа казалось ему ловко придуманной позой, рассчитанной на то, чтобы вызвать ужас.

— Нечего сказать! — воскликнул молодой офицер. — Он был, видно, хорошим актером, — знал, в какой позе умереть.

Он отвел глаза и стал упорно смотреть на одну из дорог к фронту, продолжая свои философские рассуждения с того места, где он прервал себя.

«Возможно, что наши предки в Центральной Азии не имели обыкновения хоронить своих покойников. В таком случае нетрудно понять их страх перед мертвецами, которые, действительно, являлись для них опасными. Они были рассадниками чумы. Взрослые наказывали детям избегать мест, где они

лежали, и удирать, если они случайно наткнутся на труп. А в самом деле, не лучше ли мне уйти от этого молодца?»

Он уже приподнялся было, чтобы уйти, но вдруг вспомнил, что он сказал своей команде, сержантам и офицеру из тыла, который должен был прийти сманить его, что его можно будет найти именно на этом месте. Это было также вопросом самолюбия. Если он покинет свой пост, они могут подумать, что он испугался трупа. Он не был трусом и не хотел казаться смешным в чьих-либо глазах. Он снова сел и, чтобы доказать себе свое мужество, смело взглянул на труп. Правая рука трупа, более дальняя, была теперь в тени. Он едва различал теперь эту руку, которая, как он заметил раньше, лежала около корня лаврового дерева. Перемены в положении руки не было, и это его успокоило, он сам не мог объяснить почему. Он не сразу отвел глаза от трупа: предмет, внушающий нам страх, обладает странной притягательной силой, подчас непреодолимой.

Вдруг Байринг почувствовал боль в правой руке. Он отвел глаза от своего врага и взглянул на нее. Оказалось, что он так крепко стиснул рукоятку своей сабли, что ему стало больно. Он заметил также, что он наклонился вперед и стоит в напряженной позе, сгорбившись, как гладиатор, готовый прыгнуть и схватить за горло своего противника. Зубы его были крепко стиснуты, дыхание прерывалось. Он встряхнулся и, когда его мускулы ослабли и он глубоко вздохнул, этот случай представился ему в смешном виде. Он засмеялся. Фу! Что это был за звук! Какой сумасшедший дьявол испустил такую гнусную карикатуру на смех?

Молодой офицер вскочил на ноги и осмотрелся. Он не узнавал собственного смеха.

Он не мог дольше скрывать от себя ужасную истину, что он трус! Он смертельно испугался! Он хотел бежать от Этого места, но ноги отказывались ему служить; они подгибались, и он опять сел на бревно, трясясь от страха. Лицо его было влажно, все тело покрылось холодным потом. Он не в силах был даже крикнуть. Он ясно слышал, как сзади него кто-то тихо крался — было похоже, что это какой-нибудь дикий зверь — но он не смел оглянуться. Может быть, живое бездушное существо и бездушный мертвец соединили свои силы? Были ли это зверь? Ах, если бы он только мог быть уверен в этом! Но никаким усилием воли он не мог теперь оторвать свои глаза от мертвеца.

Я повторяю, что лейтенант Байринг был храбрым и умным человеком. Но что вы поделаете? Может ли один человек устоять против такого чудовищного четверного союза, как ночной мрак, одиночество, тишина и соседство мертвеца? Нельзя устоять, когда блуждающий дух его предков нашептывает ему в ухо свои трусливые советы, напевает в его сердце свои унылые погребальные песни и разводит водой его кровь. Силы слишком неравны — и даже мужество не в состоянии противостоять таким противникам.

Лейтенант Байринг обладал теперь только одним непоколебимым убеждением: что тело передвинулось. Оно лежало ближе к краю светового пятна —

в этом не могло быть сомнения. Руки его также переменили положение; ведь, вот, они теперь обе в тени! Струя холодного воздуха обдала лицо Байрингу; ветви над его головой зашевелились и зашелестели. Резкие тени пробежали по лицу мертвеца, сбежали с него, оставив лицо освещенным, вернулись обратно; теперь лицо было освещено наполовину. Теперь было ясно видно, что труп шевелился. В эту минуту одинокий выстрел раздался на линии пикета — самый одинокий и громкий, выстрел, какой когда-либо слышало ухо смертного.

Выстрел разрушил чары, которыми был скован человек; он нарушил тишину и одиночество, рассеял блуждающих духов Центральной Азии и вернул ему мужество современного человека. С криком хищной птицы, бросающейся на свою добычу, он прыгнул вперед, полный жажды деятельности.

Теперь выстрелы с фронта раздавались один за другим. Слышны были крики замешательства, стук копыт и несвязное «ура». В тылу, со стороны спящего лагеря, раздались звуки труб и барабанная дробь. Раздвигая кусты с обеих сторон дороги, показался отступавший пикет федералистов; солдаты бежали, отстреливаясь наугад. Отставшая группа, шедшая, как было приказано, по дороге, вдруг рассыпалась по кустам: на них наскочило с полсотни всадников, свирепо работавших саблями. Обезумевшие всадники пронеслись бешеным галопом мимо места, где засел Байринг, и с криками исчезли за поворотом дороги, продолжая стрелять из револьверов. Через минуту раздался залп из ружей, сопровождаемый одиночными выстрелами — это они встретились с стоявшим в резерве отрядом федералистов; через несколько минут они промчались обратно в полном смятении; некоторые лошади потеряли всадников, а несколько раненых лошадей, обезумевших от боли, фыркали и кидались в разные стороны. И все было кончено, это ведь была лишь стычка передовых частей.

На фронт послали свежих людей, сделали переключку, сформировали отставших. Командир федералистов, с частью своего штаба, небрежно одетый, показался ненадолго, Задал несколько вопросов, глубокомысленно посмотрел на всех и удалился. Простояв час под ружьем, бригада, стоявшая в лагере, опять улеглась — досыпать.

На следующий день рано утром санитарный отряд, под командой капитана и в сопровождении врача, осматривал место стычки, отыскивая мертвых и раненых. У разветвления дороги, ближе к одной стороне, они нашли два тела, лежавших тесно рядом; офицера федералистов и офицера конфедератов. Федералист умер от удара кинжалом, поразившего ему сердце, но, по-видимому, только после того как он нанес своему противнику не менее пяти очень тяжелых ран. Мертвый федералист лежал лицом вниз в луже крови; кинжал все еще торчал у него из груди. Санитары перевернули тело на спину, и врач вытащил оружие из раны.

— Батюшки! — воскликнул капитан. — Да ведь это Байринг! — и прибавил, взглянув на доктора: — У них была жаркая схватка.



Врач разглядывал кинжал. Это был кинжал, присвоенный офицерам федеральной пехоты — точно такой же, как и у капитана. Это был, очевидно, кинжал самого Байринга. Никакого другого оружия они не нашли, за исключением незаряженного револьвера у пояса мертвого Байринга.

Врач положил кинжал и подошел к другому трупу. Он был свирепо исколот в нескольких местах, но крови не было. Он взял левую ногу и попытался выпрямить ее. От этого усилия тело сдвинулось с места. Мертвецу не понравилось, что его вывели из спокойного положения, в котором он так удобно себя чувствовал, и он выразил протест, испуская слабый тошнотворный запах. На том месте, где он лежал, открылись маленькие, бестолково копошащиеся червяки.

Доктор и капитан переглянулись.

— Вы говорите: «жаркая схватка»? — сказал вполголоса доктор. — Это самоубийство. Не понимаю, что тут могло произойти. Может быть Байринг сошел с ума. Вы не замечали за ним ничего такого?



ПИСЬМО



Лучшим воином в нашем отряде был лейтенант Герман Брейль, один из двух адъютантов. Я не помню, где именно генерал подцепил его; думаю, что в одном из полков штата Огайо; никто из нас раньше не знал его, да иначе и быть не могло: среди нас было и двух земляков или даже уроженцев соседних штатов. Генерал по-видимому думал, что служба в его штабе является отличием, которое нужно умело распределять между представителями всех штатов, не возбуждая зависти, могущей угрожать единству уцелевшей части федерации. Он даже не брал к себе офицеров из подведомственных ему частей; входя в какие-то сделки с другими штабами, он получал их из других бригад. При таких условиях человек должен был быть семи пядей во лбу, чтобы о нем слышали его родичи и друзья юности, а «трубный глас славы» как-то охрип во время гражданской войны.

Лейтенант Брейль был выше шести футов ростом и великолепного сложения; у него были светлые волосы и серо-голубые глаза, обладатели каких особенностей обычно считают их признаками мужественной природы. Он всегда носил полную форму, а в особенности в бою, когда большинство офицеров предпочитает менее блестящую внешность, — и представлял собой эффектную, колоритную фигуру. В остальное время это был человек с хорошими манерами, с головой ученого и с сердцем льва. Лет ему было около тридцати.

Мы очень скоро полюбили Брейля и не менее сильно восхищались им; поэтому мы с искренним сожалением подметили в нем, в битве при Стон-Ривер — это было первое дело после его вступления в нашу часть — одно негодящее для военного свойство: он бравировал своей храбростью. При всех превратностях этого ужасного боя — шел ли он на открытых хлопковых плантациях, в кедровой ли чаще, или за железнодорожной насыпью — он никогда

не становился под прикрытие; разве только ему сурово прикажет это генерал, которому и без того было о чем подумать, кроме забот о сохранении жизней офицеров своего штаба; хотя бы о своих солдатах, например.

Та же история повторялась и во всех последующих сражениях, когда Брейль был с нами. Он сидел на своем коне, неподвижно, как конная статуя, среди вихря пуль и картечи, в самых открытых местах.

В пешем бою — пешем по необходимости или из уважения к спешившемуся командиру или товарищам — он вел себя точно так же. Он стоял, как скала, на открытом месте, в то время как офицеры и солдаты находились под прикрытием; и в то время как заслуженные ветераны, люди безупречной храбрости, прятались за горку, оберегая свои драгоценные для родины жизни, — лейтенант Брейль спокойно стоял на вершине, обернув лицо в сторону самого жаркого огня.

Когда бой происходит на открытом месте, часто случается, что обе линии, стоящие друг против друга на расстоянии брошенного камня, крепко прижимаются к земле, как бы в порыве страстной любви к ней. Офицеры в линии не отстают в таких случаях от солдат, а начальники частей, когда их лошади убиты или отправлены в тыл, так же низко склоняются перед адской тучей свистящего свинца и визжащего железа, не думая о чувстве личного достоинства.

В таких обстоятельствах жизнь офицера при штабе бригады нельзя назвать безоблачной, главным образом благодаря случайностям, которым она подвержена и нервирующим переживаниям. Из сравнительно безопасного положения, спасение из которого штатский человек считал бы, впрочем, чудом, он может быть командирован с приказом к командиру какого-нибудь ближнего полка на фронте; его там не легко найти, не расспросив бесконечное количество весьма занятых людей, да еще среди такого шума и грохота, когда и разговаривать-то можно только при помощи жестов. Обычно в таких случаях нагибаешь низко голову и бежишь ходом, возбуждая живой интерес в рядах неприятельских стрелков. При возвращении, впрочем, возвращаться часто уж и не приходится.

Брейль вел себя иначе. Он поручал свою лошадь, которую он очень любил, попечением ординарца и спокойно шел исполнять опасное поручение, прямой, как палка. Его великолепная фигура в блестящем мундире привлекала к себе каким-то странным обаянием. Мы следили за ним, затаив дыхание, с усиленно бьющимся сердцем. Однажды, во время такой прогулки Брейля по полю сражения, один из наших офицеров, пылкий, но заикающийся молодой человек, в крайней степени возбуждения закричал, обращаясь ко мне:

— Д...д..ержу п..п..пари на д..д..ва дддоллара, что они п..п..пподстрелят его пшпрежде, чем он дойдет до того рва.

Я не принял этого циничного пари, но подумал то же самое. Я должен отдать справедливость памяти этого храброго человека: во всех этих случа-

ях бесцельного риска жизнью у него не было ни бравады, ни собирания материала для будущего хвастовства. В тех редких случаях, когда мы решались уговаривать его, Брейль ласково улыбался и отделивался какой-нибудь шуткой, которая не поощряла к дальнейшему разговору на эту тему. Однажды он сказал:

— Капитан, если я когда-нибудь пожалею о том, что забыл ваш совет, я надеюсь, что последние мои минуты будут сладки: я услышу, как вы своим симпатичным голосом произнесете над моим ухом сакраментальные слова: «Говорил я вам...»

Мы посмеялись над капитаном — почему — мы и сами не могли бы объяснить, — и когда, в этот же день, позже, капитан был разорван в клочки залпом из какой-то засады, Брейль задержался немного около тела, с бесполезной заботливостью собирая разбросанные части его тела, — и это посреди дороги, по которой проносился ураган картечи! Легко было обвинять его за это и не очень трудно было воздержаться от подражания ему, но не уважать его было невозможно, и мы не переставали любить Брейля, несмотря на эту его героическую слабость. Мы хотели, чтобы он перестал безумствовать, но он вел себя так до конца. Он был несколько раз ранен, но всегда возвращался к своему посту.

Конечно, его час наконец пробил. Тот, кто насмехается над теорией вероятности, вызывает на бой противника непобедимого. Это случилось при Рэзаке, в штате Джорджия, во время операции, закончившейся взятием Атланты. Линия окопов противника тянулась через открытое поле вдоль легкого подъема перед нашим фронтом. Мы занимали лес, примыкавший с обеих сторон к этому открытому полю, но мы не могли надеяться занять это открытое место до наступления ночи, когда темнота поможет нам окопаться, как кротам. Наша линия находилась за четверть мили отсюда в конце леса. Грубо говоря, мы образовали дугу, в которой укрепленная неприятельская линия была хордой.

— Лейтенант, передайте полковнику Уарду, чтобы он продвинулся как можно ближе к неприятелю, оставаясь под прикрытием, и чтобы он не тратил заряды на бесполезную пальбу. Вашу лошадь можете оставить.

Когда генерал отдавал это приказание, мы находились на опушке леса, у правого конца дуги. Полковник Уард был на левом фланге. Распоряжение оставить лошадь ясно показывало, что Брейлю предписывался кружной путь через лес и стоящие там войска. Да иначе и быть не могло: избрать кратчайший путь значило бы неминуемо потерпеть неудачу и не передать приказания.

Прежде чем кто-нибудь мог помешать ему, Брейль выехал карьером вперед, и через минуту он уже мчался вдоль неприятельских окопов. Затрещали выстрелы.

— Остановите этого проклятого дурака! — закричал генерал.

Офицер из эскорта, у которого было больше честолюбия, чем мозгов, бросился исполнять приказание, но не проехал он и десяти шагов, как и он и его лошадь пали мертвыми.

Брейль уже не мог нас слышать. Он мчался легким галопом параллельно неприятельским окопам на расстоянии двухсот шагов от них. Им можно было залюбоваться! Шляпа с его головы была сорвана ветром или сбита пулей, и его длинные белокурые волосы поднимались и опускались в такт движениям лошади. Он сидел в седле совершенно прямо, свободно держа поводья в левой руке, а правая висела без движения. Когда он поворачивал голову, показывая свой красивый профиль, видно было, что он интересуется окружающим его, но вполне естественно, без всякой аффектации.

Картина была в высшей степени драматическая, но чуждая малейшей театральности. Десятки ружей с озлоблением плевали в него свинцом, по мере того как он проезжал мимо неприятельских окопов; наша линия на опушке леса открыла ответный огонь. Не думая больше ни о себе, ни о полученных ими приказаниях, наши солдаты вскочили на ноги и, выбежав на открытое место, начали крыть сплошным огнем ошестинившуюся огнями неприятельскую линию. Неприятель отвечал убийственным и метким огнем. Это производило в наших рядах страшные опустошения. С обеих сторон вступила в бой артиллерия, и трескотня ружей подчеркивалась глубокими, потрясающими землю залпами и разрывающим воздух визгом картечи; град снарядов расщеплял деревья и обрызгивал их кровью; наш огонь поднимал над неприятельскими окопами тучи земли и пыли, смешивавшиеся с дымными облаками от их ружейного огня.

Мое внимание было на минуту отвлечено разыгравшимся боем. Но теперь, бросив взгляд на чистое пространство между двумя тучами дыма, я увидел виновника этой бойни, Брейля. Невидимый для обеих сторон, обреченный на смерть от огня своих или от огня врагов, он стоял в вихре пуль, недвижимый, с лицом, обращенным в сторону неприятеля. Недалеко лежала его убитая лошадь. Я сразу угадал причину его бездействия.

В качестве инженера-топографа, я еще рано утром наспех исследовал местность, и теперь я вспомнил, что в том месте, где стоял Брейль, находится глубокий, извилистый овраг, пересекающий половину поля и начинающийся от линии неприятельских окопов, под прямым углом к ней. От нас оврага не было видно, и Брейль, очевидно, не подозревал о его существовании. Он был непроходим. Его выдающиеся уступы могли бы обеспечить ему совершенную безопасность, если бы он мог удовлетвориться чудом, которое свершилось уже в его пользу. Но он не мог идти вперед и не хотел идти назад; он стоял и ждал смерти. Она не заставила себя долго ждать.

По какому-то странному совпадению, почти в ту минуту, как он упал, пальба прекратилась; одинокие выстрелы, раздававшиеся еще через большие промежутки, не нарушали, а скорее подчеркивали тишину. Как будто обе сто-



роны вдруг раскаялись в своем бесполезном преступлении. Четверо санитаров с носилками, в сопровождении сержанта с белым флагом, вскоре вышли в поле и направились прямо к тому месту, где лежало тело Брейля. Несколько офицеров и солдат-южан вышли к ним навстречу и с непокрытыми головами помогли им поднять дорожную ношу. Когда тело капитана Брейля несли к нам, мы слышали доносившиеся из неприятельского фронта звуки флейты и барабанного боя — траурный марш. То великодушный враг отдавал дань уважения павшему храбрецу.

Среди вещей покойного был вывалянный в грязи бумажник из русской кожи. Когда генерал распределял между нами на память оставшиеся после нашего друга вещи, этот бумажник достался мне.

Спустя год после окончания войны, по дороге в Калифорнию, я поверхностно осмотрел его. Из бокового его отделения выпало письмо, без конверта и без адреса. Почерк был женский; начиналось оно словами нежности и любви, но подписи не было.

Дата была следующая: «Сан-Франциско, Калифорния, 9 июля, 1862». Подпись была: «Любимая» — в кавычках. Случайно в тексте промелькнуло полностью имя корреспондентки — Марианна Менденхолл.

Видно было, что автор письма — женщина культурная и хорошо воспитанная, но это было заурядное любовное послание, если только любовное письмо может вообще быть заурядным. В нем не было ничего особенного, за исключением одного места. А именно:

«Мистер Уинтерс, которого я всегда буду ненавидеть за это, рассказывал, что во время одного сражения в Виргинии, где он был ранен, вы прятались, скрючившись, за деревом. Я думаю, он просто хотел опозорить вас в моих глазах, так как он знал, какой оборот примет дело, если я поверю этому. У меня хватило бы силы перенести известие о смерти моего возлюбленного, но не о том, что он проявил себя трусом».

Вот слова, которые в тот солнечный день, за тысячу миль от Калифорнии, были причиной смерти сотен людей! А говорят, что женщина слабое существо!

Как-то вечером я отправился к мисс Менденхолл, чтобы вернуть ей ее письмо. Я намеревался также сказать ей о том, что она сделала, не говоря ей о том, что это ей удалось.

Она жила в красивом доме на Ринком Хилл. Она была красива, хорошо воспитана — короче говоря, очаровательна.

— Вы знали лейтенанта Германа Брейля? — сказал я довольно резко. — Вы знаете, конечно, что он пал в бою. В его вещах было найдено вот это ваше письмо. Я явился сюда, чтобы передать его в ваши руки.

Она машинально взяла письмо, посмотрела на него, густо покраснела и, взглянув на меня с улыбкой, сказала:

— Это очень мило с вашей стороны, хотя вряд ли вам стоило беспокоиться.

Она вдруг передернулась и изменилась в лице.

— Это пятно, — сказала она, — это... наверное, это не...

— Сударыня, — сказал я, — простите меня, но это кровь самого верного и великодушного сердца, которое когда-либо билось.

Она поспешно бросила письмо в пылающие уголья камина.

— Фу! Я не выношу вида крови! — сказала она. — Как он умер?

Я невольно встал, чтобы спасти этот клочок бумажки, который был дорог даже мне, и я очутился теперь позади нее. Задавая свой вопрос, она повернула голову вбок и немного вверх. Пламя от горевшего письма отразилось в ее глазах и окрасило ее щеки в красноватый цвет, похожий на кровавое пятно на письме. Я еще никогда в жизни не видел существа более красивого, чем эта отвратительная женщина.

— Его укусила змея, — ответил я.



ЧЕЛОВЕК И ЗМЕЯ

I



добно растянувшись на диване, в халате и туфлях, Харкер Брэйтон улыбнулся, прочитав эти слова в «Чудесах Науки» старика Морристера.

— Единственное чудо, — сказал он сам себе, — заключается в том, что даже «обладающие мудростью и познаниями» люди эпохи Морристера верили в ерунду, от которой в наше время отвернулся бы с улыбкой последний невежда.

За этим у Брэйтона последовала серия размышлений, так как Брэйтон был человеком мыслящим — и он машинально опустил книгу, не меняя направления своего взгляда. Как только книга перестала преграждать его поле зрения, что-то в темном углу комнаты привлекло его внимание. Он увидел, в полутьме под своей кроватью, две маленькие светящиеся точки, отстоявшие одна от другой не больше, чем на дюйм. Эти точки могли быть отблесками газового рожка, горевшего над его головой, в головках металлических гвоздей. Брэйтон не задумался над этим и продолжал читать. Через минуту какой-то внутренний толчок, в котором он не постарался отдать себе отчет, заставил его снова опустить книгу и посмотреть в ту же сторону. Он снова увидел светящиеся точки. Они казались теперь ярче прежнего и горели зеленоватым блеском, которого он раньше у них не заметил. Ему также показалось, что они продвинулись вперед — стали самую чуточку ближе. Все же они были настолько в тени, что равнодушный взгляд не мог сразу распознать их природу и происхождение, и Брэйтон продолжал читать.

Вдруг какое-то место в книге внушило ему мысль, заставившую его вздрогнуть и в третий раз опустить книгу на край дивана, откуда она, выскользнув из его руки, упала на пол и перевернулась. Брэйтон, приподнявшись, стал напряженно вглядываться в темноту под кроватью, где светящиеся точки горели

теперь еще более ярким огнем. Его внимание теперь вполне пробудилось, его взгляд стал любопытным и упорным. Наконец, он обнаружил под самым почти изножем кровати, свернувшуюся в кольцо огромную змею: светящиеся точки были ее глазами!

Ее чудовищная голова, вылезшая из самого внутреннего кольца и опиравшаяся на самое внешнее, тянулась прямо к нему; очертания ее широкой, грубой челюсти и кретинообразного лба указывали направление ее враждебного взгляда. Теперь ее глаза уже не казались больше только светящимися точками; они смотрели в его глаза с сознательным и коварным выражением.

II



мея в спальне современного благоустроенного городского дома, к счастью, не настолько обыденное явление, чтоб его можно было оставить без разъяснений. Харкер Брэйтон, холостяк тридцати пяти лет, дилетант в науке, праздный, до некоторой степени атлет, богатый, популярный и обладающий крепким здоровьем, вернулся в Сан-Франциско после путешествия по далеким и неведомым странам. Его вкусы, всегда направленные в сторону роскоши, стали после долгого периода лишений еще требовательнее. Даже условия Палас-Отеля не могли их вполне удовлетворить, и он с радостью воспользовался гостеприимством своего друга, известного ученого, доктора Друринга.

Большой старомодный дом доктора Друринга в квартале города, который превратился теперь в предместье, носил характер гордой неприступности. Он явно совершенно не желал общаться с ближайшими соседями, которые мало-помалу окружали его, и, по-видимому, отличался некоторыми странностями, которые вырабатываются одиночеством. К их числу принадлежал «флигель» — постройка вызывающе смелая с точки зрения архитектуры и не менее революционная в отношении целесообразности, потому что она представляла из себя комбинацию лаборатории, зверинца и музея. Здесь доктор давал волю своим научным наклонностям и изучал те виды животных, которые отвечали его интересам и вкусам, но надо признаться, что его более всего влекло к низшим формам животного мира. Высшие типы животных могли еще кое-как, угодничая и виляя хвостом, продрасться в запретную область его симпатий, но только в том случае, если они сохранили кое-какие рудиментарные признаки, доказывающие их родство с такими «первобытными драконами», как жабы и змеи. Его научные симпатии были определенно рептильного свойства; он любил пасынков

природы и называл себя «Зола от зоологии». Его жена и дочери, лишённые привилегии разделять его просвещенное любопытство в отношении нравов и обычаев наших злосчастных младших товарищей, были с излишней жестокостью изгнаны из его так называемого «Змеевника» и обречены на общество себе подобных; впрочем, чтобы смягчить их суровую долю, он разрешал им (он был ведь очень богат) перещегоолять роскошью своих туалетов и внешним блеском даже великолепнейших пресмыкающихся.

В смысле архитектуры и обстановки змеевник отличался строгой простотой, отвечающей скромному положению в мире его обитателей; дело в том, что многие из них не могли располагать свободой, необходимой для наслаждения роскошью, потому что они обладали одной неприятной особенностью: они были живые. В своих частных апартаментах они пользовались полной свободой, совместной с ограждением их от пагубной привычки проглатывать друг друга, и Брэйтона любезно предупредили, что многих из них неоднократно находили в таких углах дома, где их присутствие было отнюдь не необходимо. Несмотря на змеевник и его жутких обитателей, мало, впрочем, интересовавших Брэйтона, он находил, что жизнь в доме Друринга вполне отвечает его вкусам.

III



В а исключением легкого испуга и дрожи от простого от- вращения, мистер Брэйтон не почувствовал особого волнения. Его первой мыслью было позвонить и вызвать кого-нибудь из слуг, но, хотя шнурок от звонка болтался поблизости, он не протянул к нему руки. Ему пришло в голову, что этим поступком он навлечет на себя подозрение в трусости, которой он вовсе не отличался. Да он и не боялся сейчас. Он острее сознавал нелепость своего положения, чем его опасность, что было просто отвратительно и глупо. Пресмыкающееся принадлежало к неизвестной ему породе. Он мог только делать предположения насчет его длины; тело змеи, насколько он мог судить, было в самом широком месте не толще верхней части его руки. Представляла ли эта змея опасность и какого рода? Была ли она ядовитой? Может быть, это удав? Его познания о сигналах и знаках опасности, подаваемых природой, были слишком ограничены; он никогда не старался их расшифровать. Но даже если эта тварь была неопасной, она все же была крайне неприятной. Ее появление было совершенно неуместным и просто дерзким. Драгоценный камень был, так сказать, недостойн своей оправы. Даже варварский вкус нашей эпохи и страны, загроздивший стены

наших комнат картинами, пол мебелью, а мебель безделушками, не приспособил комнаты для украшения их образчиками первобытного населения джунглей. Кроме того — невыносимая мысль! — испарения от дыхания змеи смешивались с воздухом, которым он дышал!

Эти мысли оформились с большей или меньшей определенностью в мозгу Брэйтона и вызвали действие. Мы называем этот процесс обсуждением и решением. Он руководит нашими разумными и глупыми поступками. Таким образом, увядший лист, гонимый осенним ветерком, выказывает больше или меньше разума, чем его собратья, когда он падает на землю или в озеро. Тайна человеческого действия ясна: что-то вызывает сокращение наших мускулов. Дело не изменится от того, что мы назовем эти подготовительные молекулярные изменения волей.

Брэйтон встал и начал незаметно пятиться к дверям, стараясь не потревожить змею. Таким же способом, пятясь, люди удаляются от сильных мира сего, так как их сила дает им власть, а во власти кроется угроза. Он был уверен, что сумеет попятиться назад, не натыкаясь на мебель, и безошибочно найдет дверь. А на случай, если чудовище вздумает последовать за ним, — тот же вкус, который облепил стены картинами, вполне последовательно снабдил их и ассортиментом смертоносного старинного оружия, — и Брэйтон мог схватиться за любой из этих кинжалов и ятаганов для самозащиты.

Тем временем глаза змеи разгорались все более жестоким и зловещим огнем.

Брэйтон отделил свою правую ногу от пола, чтобы сделать шаг назад. И в ту же минуту он почувствовал резкое отвращение к этому образу действия.

— Меня считают храбрым, — прошептал он. — Неужели же храбрость только тщеславие, и я способен отступить, пользуясь тем, что никто не видит моего позора?

Он уперся правой рукой о спинку стула и держал ногу на весу.

— Ерунда! — громко сказал он. — Я вовсе не такой трус, чтобы бояться обличить самого себя в недостатке мужества.

Он поднял ногу выше, слегка согнув ее в колене, и резко ступил на пол, опередив другую ногу — на дюйм! Он не понимал, как это могло случиться. Попытка с левой ногой привела к тому же результату; она оказалась впереди правой. Он крепко ухватился за спинку стула; его рука была вытянута и слегка подалась назад. Можно было подумать, что он боится лишиться этой поддержки. Злобная голова змеи по-прежнему торчала из внутреннего кольца. Голова не двинулась, но глаза змеи теперь превратились в электрические батареи, излучавшие бесконечное число огненных игл.

Лицо человека стало землисто-серого цвета. Он сделал еще шаг вперед, затем второй, таща за собой стул, но стул выскользнул у него из рук и с треском упал на пол. Человек застонал; змея не шевельнулась и не издала ни одного звука, но ее глаза стали двумя ослепительными солнцами. Самое тело змеи

совершенно скрывалось за ними. Эти солнца испускали все расширяющиеся круги ярких, радужных тонов, которые, достигнув наибольшего объема, таяли, как мыльные пузыри; ему казалось, что они почти прикасались к его лицу и потом внезапно отступали на бесконечно далекое расстояние.

Откуда-то доносился непрерывный бой огромного барабана и отдельные раскаты далекой музыки, непостижимо нежной, как звуки Эоловой арфы. Он узнал песню статуи Мемнона при восходе солнца и вообразил, что он, в тростниках на берегах Нила, восторженно слушает бессмертную мелодию, звучащую среди молчания веков.

Музыка прекратилась; вернее, она незаметно перешла в далекие раскаты отступающей грозы. Перед ним раскинулся пейзаж, сверкающий солнцем и дождем, над которым поднимался яркий радужный свод, обрамлявший исполинской дугой сотню ясно видимых городов.

Посредине — огромная змея, увенчанная короной, вытянула из гигантских колец свою голову и взглянула на него глазами его покойной матери. Вдруг этот чарующий пейзаж начал быстро подниматься кверху, как передвижные декорации в театре, и его поглотила пустота. Что-то больно ударило его в голову и грудь. Оказалось, что он упал на пол; кровь текла из его разбитого носа и израненных губ. В первую минуту он почувствовал себя ослепленным и оглушенным, и он лежал с закрытыми глазами, лицом к полу. Затем он быстро пришел в себя и сообразил, что его падение, «выключив» его глаза, разрушило чарующие видения, которые его приковывали.

Теперь он чувствовал, что сумеет отступить, если он отведет глаза в сторону.

Но мысль о том, что невидимая змея находится в нескольких шагах от него и, может быть, как раз готовится броситься на него и охватить его шею кольцами, была слишком ужасна! Он поднял голову, еще раз взглянул в эти роковые глаза и снова оказался в плену.

Змея не шевельнулась и, по-видимому, утратила власть над его воображением; блестящие фантасмагории предшествовавших минут не повторялись. Под этим плоским, безмозглым лбом, черные глаза, похожие на бусы, только сверкали, как вначале, с выражением неизъяснимого коварства. Казалось, что эта тварь, уверенная в своем торжестве, решила больше не прибегать к обольстительным уловкам.

Наступила кошмарная сцена.

Человек, растянувшийся на полу, на расстоянии одного шага от врага, приподнялся на локтях верхней частью тела, откинув голову назад и вытянув ноги во всю их длину. На бледном лице выступали капли крови; его глаза вылезли из орбит; на губах показалась пена, которая капала на пол. Резкие судороги пробегали по его телу, почти змеиными извивами. Он согнулся в талии, двигая ногами вправо и влево. И каждое движение приближало его к змее. Он старался опереться на руках, чтоб оттолкнуться назад, и непрерывно двигался на локтях вперед.



IV



доктор Друринг и его жена сидели в кабинете. Ученый был в исключительно хорошем расположении духа.

— Я только что получил, в обмен от другого коллекционера, — сказал он, — великолепный образчик *Orphiophagus's*.

— А что это такое? — спросила его супруга с довольно вялым интересом.

— Стыд какой! Этакое глубокое невежество! Дорогая моя, если человек обнаружит после свадьбы, что его жена не знает греческого языка, он, по-моему, вправе потребовать развода. *Orphiophagus* — это змея, пожирающая других змей.

— Вот хорошо было бы, если бы она действительно пожрала всех твоих змей, — сказала докторша, рассеянно поправляя лампу. — Но как она побеждает других змей? Очаровывает их, вероятно?

— Это похоже на тебя, — сказал доктор с добродушным возмущением. — Ты знаешь, как меня раздражает всякое упоминание об этом вульгарном суеверии насчет какого-то особого магнетического влияния змей.

Разговор был прерван страшным криком, который прозвенел в молчаливом доме, как голос демона, вопящего в могиле. Он прозвучал второй раз и третий с той же зловещей отчетливостью. Они вскочили со своих мест: мужчина — в недоумении, женщина — бледная и онемевшая от страха. Прежде чем замерли отзвуки последнего крика, доктор выбежал из комнаты и помчался по лестнице, перескакивая через две ступеньки зараз. В коридоре, перед комнатой Брэйтона, он встретил нескольких слуг, прибежавших из верхнего этажа. Они вместе кинулись к дверям, не постучавшись.

Дверь оказалась незапертой и сразу поддалась. Брэйтон лежал животом вниз на полу, мертвый. Его голова и руки были почти скрыты под кроватью. Они вытащили тело и перевернули его на спину. Лицо было запачкано кровью и пеной, широко раскрытые глаза неподвижно уставились в одну точку — ужасное зрелище!

— Скончался от удара, — сказал ученый, опускаясь на одно колено и прикладывая руку к сердцу умершего.

В этом положении он случайно заглянул под кровать.

— Что за черт! — удивился он. — Как попала сюда эта штука?

Он пошарил под кроватью, вытащил змею и швырнул ее, все еще свернувшуюся, на середину комнаты: она проскользнула с резким шуршанием по всему полированному полу и остановилась, наткнувшись на стену.

Это было чучело змеи; ее глаза были пуговицами от дамских ботинок.



ПОДХОДЯЩАЯ ОБСТАНОВКА

НОЧЬ



днажды летней ночью мальчишка с фермы, находившейся в десяти милях от города Цинциннати, шел по узкой тропинке среди густого темного леса. Он искал пропавших коров и с наступлением ночи оказался далеко от дома, в малознакомой местности. Но он был не трусливого десятка и, зная, в каком направлении находится его дом, смело вошел в чащу, стараясь ориентироваться по звездам. Выйдя на тропинку и сообразив, что она ведет в нужном ему направлении, он пошел по ней.

Ночь была светлая, но в лесу царил глубокий мрак. Мальчик держался тропинки, пользуясь скорее осязанием, чем зрением. Впрочем, сбиться с пути было трудно: заросли с обеих сторон были так густы, что могли считаться почти непроходимыми. Он прошел по тропинке больше мили, когда с удивлением заметил слабый огонек, мерцавший сквозь листву, окаймлявшую дорогу с левой стороны, это испугало его и вызвало у него громкое сердцебиение.

«Тут где-то должен быть заброшенный дом старика Вида», — сказал он себе. — Это, должно быть, другой конец той тропинки, которая ведет к нему от нашей фермы. Но откуда в нем взялся свет? Мне это что-то не нравится».

Тем не менее он двинулся дальше. Минуту спустя он вышел из чащи на небольшую открытую полянку, почти заросшую терновником. Там торчали остатки гниющего забора. В нескольких шагах от тропинки, посреди просеки, стоял дом, откуда исходил свет; мальчик увидел, что свет льется из окна, лишенного стекла. Когда-то в этом окне были стекла, но они давно сдались, вместе с поддерживавшей их оконной рамой, отчаянным мальчишкам, сделавшим их мишенью для обстрела камнями. Подвергая заброшенный дом старо-



го Вида бомбардировке, мальчишки хотели доказать свою храбрость и свою антипатию к сверхъестественному; действительно, дом Вида пользовался дурной репутацией убежища привидений. Возможно, что это была напраслина, но даже самый отъявленный скептик не мог отрицать, что дом заброшен, а по деревенским понятиям заброшенный дом и дом, обитаемый духами, — одно и то же.

Глядя теперь на тусклый, таинственный свет, который проливалось на полянку разрушенное окно, мальчик со страхом вспомнил, что и его рука участвовала в этом разгроме. Но запоздалое раскаяние его, как оно ни было глубоко, казалось ему теперь бесполезным. Он стоял и ждал, что вся потусторонняя, бестелесная нечисть, которую он оскорбил, принимая участие в покушениях на ее покой, сейчас напустится на него. Тем не менее этот упрямый мальчик, хоть он и дрожал всем телом, не хотел отступить. Недаром в его жилах текла кровь пионеров. Ведь еще его дед сражался в этих местах с индейцами. Он решил не сворачивать с пути.

Проходя мимо дома, он взглянул в пустое окно и увидел странное и жуткое зрелище: фигуру мужчины, сидевшего посреди комнаты за столом, на котором лежало несколько разбросанных листов бумаги. Он опирался локтями на стол, опустив непокрытую голову на руки. Пальцы обеих его рук были глубоко запущены в волосы. Его лицо белело при свете единственной свечи, стоявшей сбоку. Пламя освещало одну сторону его лица, а другая сторона тонула в глубокой тени. Мужчина уставился в пустое окно тупым взглядом, в котором более опытный и хладнокровный наблюдатель прочел бы страх,

но мальчику он показался совершенно лишенным выражения. Он подумал, что человек мертв.

Положение было ужасное, но не лишенное известной притягательности. Мальчик остановился, чтобы все это отметить. Он так старательно задерживал дыхание, чтобы подавить сердцебиение, что чуть не задохнулся. Он ослабел, шатался, дрожал; он чувствовал смертельную бледность своего лица. Тем не менее он стиснул зубы и решительно направился к дому. У него не было ясно осознанного намерения, — им двигало мужество страха. Он просунул свое бледное лицо в освещенное отверстие окна. В эту минуту тишину ночи прорезал странный, резкий крик, напоминающий голос филина. Человек вскочил на ноги, опрокинув при этом стол; свеча упала и погасла. Мальчик бросился бежать.

НАКАНУНЕ В ТРАМВАЕ



Доброе утро, Колстон. Мне, по-видимому, повезло. Вы часто говорили мне, что похвалы, которые я расточаю вашему литературному таланту, простая вежливость. И вот, вы видите меня прямо поглощенным — совершенно оторванным от всего окружающего — вашим последним рассказом в «Вестнике». Только прикосновение вашей руки к моему плечу могло привести меня в сознание.

— Это доказательство еще убедительнее, чем вы думаете, — ответил Колстон. — Ваше желание прочесть поскорее мой рассказ так сильно, что вы согласны откинуть все эгоистические соображения и лишиться всего удовольствия, которое это чтение могло бы вам доставить.

— Я вас не совсем понимаю, — сказал первый, складывая газету, которую он читал и опуская ее в карман. — Вы, писатели, странный народ. В чем дело, собственно говоря? В каком отношении удовольствие, которое мне доставляет или может доставить чтение вашего произведения, зависит от меня?

— Во многих отношениях. Скажите, пожалуйста, вкусный обед доставил бы вам удовольствие, если бы вы стали поглощать его на ходу, в трамвае? Или представьте себе, что у вас есть усовершенствованный граммофон, великолепно передающий целые оперы с пением солистов, хором, оркестром и так далее. Он доставил бы вам наслаждение, если бы вы завели его в вашей конторе в деловые часы? Серенада Шуберта может доставить вам удовольствие, когда ее пикирует на скрипке утром на парходике бродячий итальянец, в то время как вы спешите на службу? Разве вы всегда готовы к восприятию прекрасного?

Разве ваши настроения лежат у вас всегда наготове и вы можете вызывать их у себя по звонку, что ли? Позвольте вам напомнить, сэр, что рассказ мой, который вы начали читать, чтобы сократить скучный переезд в трамвае, — рассказ с привидением.

— Ну и что же?

— Как, что же? Да разве у читателя нет обязанностей, соответствующих его привилегиям? Вы заплатили за эту газету пять центов. Она ваша собственность. Вы имеете право прочесть ее, когда и где вам заблагорассудится. Большая часть содержания этой газеты ничего не выиграет и ничего не проиграет, каково бы ни было время или место, где вы ее воспримете и каково бы ни было ваше настроение. Часть материала, заключающегося в этой газете, следует, действительно, прочесть немедленно, пока он с пылу и с жару, горячий. Но мой рассказ — материал иного сорта. Это ведь не «последние телеграммы» из страны духов. От вас не требуется, чтобы вы были в курсе всего, что творится в области привидений. Эта вещь может подождать, пока вы не приведете себя в унисон с ее настроением, а я позволю себе почтительно заметить, что в трамвае вы этого настроения для себя не добьетесь, даже если вы единственный пассажир. Это не тот вид одиночества. Да, сэр, у автора есть свои права, которые читатель обязан уважать.

— Например?

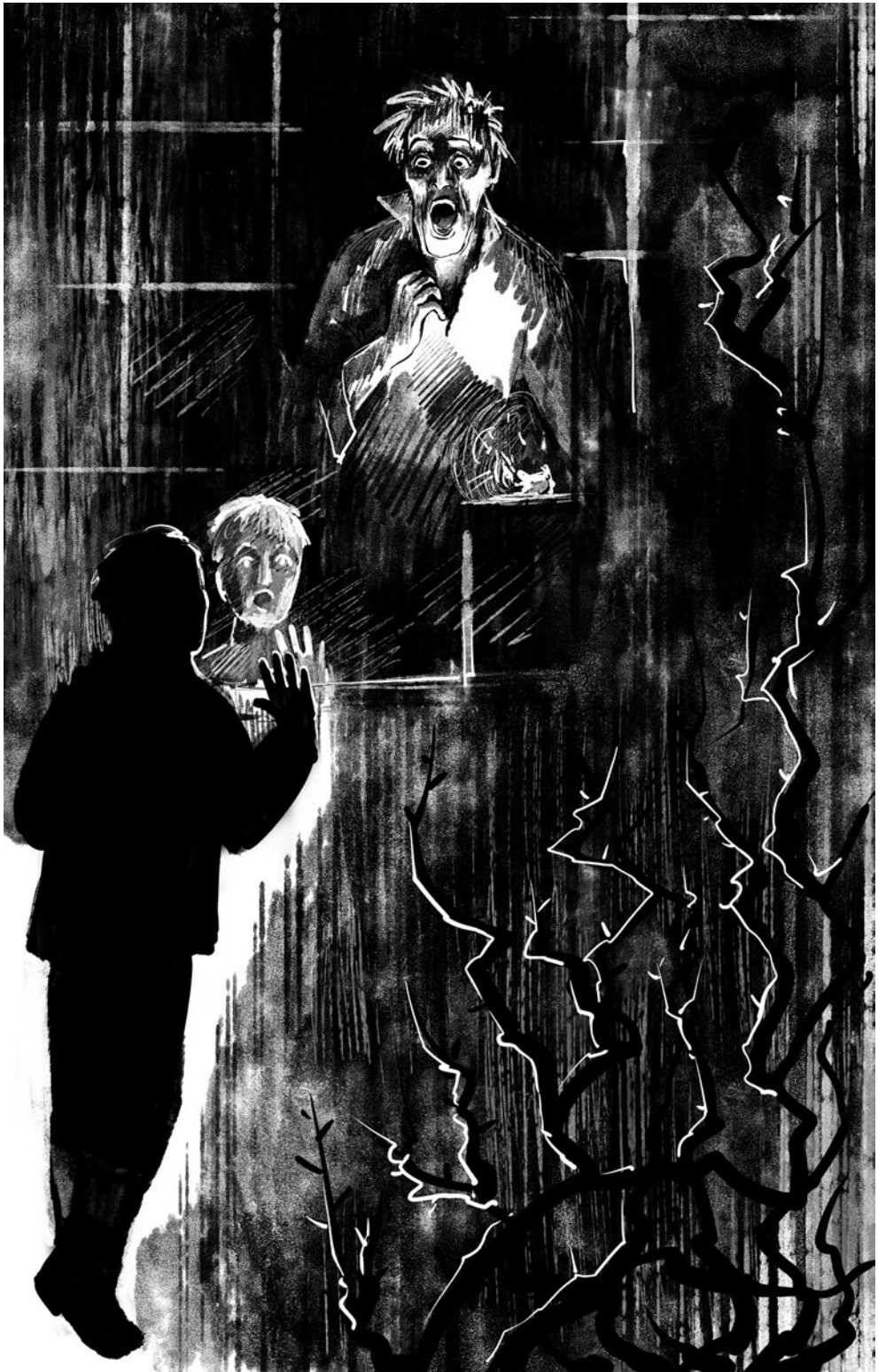
— Право на полное и нераздельное внимание читателя. Преступно отказывать в этом автору. Вы поступаете с ним грубо, несправедливо, когда вы делите ваше внимание между его произведением и грохотом трамвая, между его образами и движущейся панорамой толпы на тротуарах, когда вы смешиваете впечатления от его произведения с тысячью разнообразных впечатлений, из которых создается наша обыденная обстановка. Честное слово, это возмутительно!

Говоривший вскочил с места и схватился, чтобы не упасть, за один из ремней, свисавших с потолка вагона. Его собеседник смотрел на него с удивлением: он недоумевал, как мог такой пустяк, как чтение газеты в трамвае, вызвать с его стороны такие резкие выражения. Он увидел, что лицо писателя необычайно бледно, а глаза сверкают, как раскаленные угли.

— Вы-то понимаете, что я хочу сказать! — пылко продолжал писатель. — Вы-то знаете, что я хочу сказать, Марш! Мой рассказ в сегодняшнем «Вестнике» совершенно ясно озаглавлен: «Рассказ с привидением». Таким образом читатель поставлен в известность. И каждый порядочный читатель должен понять, что этот заголовок предписывает ему и условия, при которых следует читать эту вещь.

Мистер Марш поморщился и спросил, улыбаясь:

— Какие же это условия? Вы ведь знаете, что я обыкновенный деловой человек и мало смысла в таких вещах. Как, где и когда, по-вашему, я должен был бы читать ваш рассказ с привидением?



— В одиночестве, ночью, при свете одной свечи! Есть эмоции, возбудить которые писателю довольно легко; например, сострадание или веселость. Я могу вызвать у вас слезы или смех почти при любых условиях. Но чтобы мой рассказ с привидением произвел должное впечатление, вы должны испытывать страх, — или, по крайней мере, сильное ощущение сверхъестественного, а это совсем другое дело. Я вправе требовать, чтобы вы, если вы вообще намерены читать мою вещь, читали ее в благоприятных для меня условиях; чтобы вы сделали себя доступным восприятию того настроения, которое я хочу вызвать.

Трамвай дошел до конечного пункта и остановился. Это был его первый маршрут, и разговор двух ранних пассажиров никем не прерывался. Улицы были еще безмолвны и пустынно: восходящее солнце чуть позолотило крыши домов. Когда пассажиры, выйдя из вагона, пошли вместе, Марш начал пристально всматриваться в своего спутника, о котором, как о большинстве талантливых писателей, ходили слухи, будто он предается всевозможным разрушительным порокам. Это обычная месть тупиц по отношению к блестящим умам, которым они не могут простить их превосходства. Мистер Колстон слыл гениальным, а многие наивные люди считают гений родом излишества.

Все знали, что Колстон не пьет, но многие уверяли, что он курит опиум. Что-то в его внешности в это утро, — блуждающее выражение глаз, неестественная бледность, затрудненность и быстрота речи, — показалось мистеру Маршу подтверждением этого слуха. Тем не менее, у него не хватило самопожертвования на то, чтобы оставить тему, которую он находил интересной, хотя она и возбуждала его собеседника.

— Вы хотите сказать, — начал Марш, — что если я последую вашим указаниям и поставлю себя в те условия, которые вы наметили: одиночество, ночь и огарок свечи, вы сможете при помощи самого жуткого из ваших произведений заставить меня испытать тревожное ощущение сверхъестественного, как вы это называете? Но неужели вы действительно можете ускорить биение моего пульса, принудить меня вздрагивать при внезапном шуме, сделать так, чтоб у меня мороз пробежал по коже и встали дыбом волосы?

Колстон вдруг обернулся и взглянул своему собеседнику прямо в глаза.

— Вы не посмеете: у вас не хватит мужества, — сказал он и подчеркнул свои слова презрительным движением. — Вы достаточно храбры, чтоб читать меня в трамвае, но в заброшенном пустом доме — в одиночестве — в лесу — ночью! Куда вам! У меня в кармане есть рассказ, который убил бы вас.

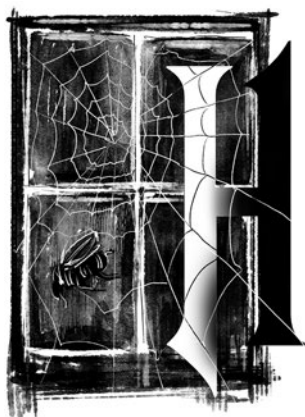
Марш рассердился. Он был уверен в своей храбрости, и слова писателя задела его.

— Если вы знаете такое место, — сказал он, — пожалуйста сведите меня туда сегодня же ночью и оставьте мне ваш рассказ и свечу. Придите за мной, когда я успею прочесть его, и я подробно расскажу вам его содержание и вышвырну вас за дверь.



Вот каким образом мальчишка с фермы, заглянув в пустое окно заброшенного дома старого Вида, увидел человека, сидевшего за столом при свете одной свечи.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ



а следующий день, ближе к вечеру, трое мужчин и мальчик подошли к дому Вида с той стороны, куда мальчик убежал в предыдущую ночь. Они были, по-видимому, в приподнятом настроении; они громко разговаривали и смеялись. Они обращались к мальчику с шутливыми и добродушно-насмешливыми замечаниями по поводу его приключения, в которое они, очевидно, не верили. Мальчик принимал их насмешки с серьезным выражением лица и ничего не отвечал. Он был не лишен здравого смысла и понимал, что человек, утверждающий, будто он видел, как мертвец встал со стула

и потушил свечу, не может вызывать к себе доверия.

Когда они подошли к дому и обнаружили, что дверь заперта изнутри, исследователи без дальнейших церемоний выломали ее. Они вошли в коридор, откуда вели еще две двери, направо и налево. Эти двери также оказались запертыми, и их пришлось тоже выбить. Люди вошли наугад сначала в комнату налево: она оказалась пустой; но в комнате направо, где было пустое окно, лежал труп мужчины.

Он лежал на боку, подложив под себя руку, щекой на полу. Глаза его были широко открыты: их взгляд производил жуткое впечатление. Нижняя челюсть отвисла; под губами застыла слюна. Опрокинутый стол, огарок свечи, стул и на нем листы исписанной бумаги — вот и все, что было в комнате.

Мужчины посмотрели на труп и поочередно прикоснулись к его лицу. Мальчик стоял в головах трупа с важным видом собственника, это была самая гордая минута его жизни. Один из мужчин сказал ему:

— Ты молодец!

Остальные подтвердили это замечание кивком головы.

Скептицизм приносил свои глубочайшие извинения Правде.

Затем один из мужчин поднял с пола листы рукописи и подошел к окну, потому что вечерние тени уже омрачали ее. Издали доносилась песня пересмешника; чудовищный шмель пролетел мимо окна на жужжащих крыльях, и шум его замер вдали.



РУКОПИСЬ

Прежде чем совершить поступок, на который я, правильно или нет, решился, я, Джеймс Р. Колтон, считаю своим долгом журналиста сделать публике следующее заявление. Мое имя, как автора трагических рассказов, известно многим, но и самая мрачная фантазия не могла бы создать более жуткой истории, чем моя личная жизнь. Я говорю не о фактах — моя жизнь была бедна событиями и приключениями, но моя духовная деятельность была омрачена теми испытаниями, которые убивают или обрекают на вечное проклятие. Я не буду передавать их здесь — некоторые из них изложены в другом месте и будут напечатаны. Цель этих строк сообщить всем тем, кого это может интересовать, что моя смерть — добровольная, ибо я умру от своей руки.

Я умру в двенадцать часов ночи 15-го июля, в знаменательную для меня годовщину, так как в этот день и час мой друг во времени и вечности, Чарльз Брид, выполнил данный им мне обет тем же актом, на который меня теперь обязывает верность нашему взаимному уговору.

Он покончил с жизнью в своем маленьком доме в Копстонских лесах. По поводу его смерти был вынесен обычный приговор: «внезапное умопомешательство». Если бы я дал показания на том следствии, если бы я сказал, все что знал, сумасшедшим признали бы меня.

У меня осталась еще неделя жизни, чтобы устроить мои мирские дела и подготовиться к великой перемене. Этого достаточно, так как у меня не много дел, и вот уже четыре года, как смерть стала для меня повелительным долгом.

Я буду носить эту рукопись на себе; прошу того, кто найдет мое тело передать ее следователю.

Джеймс Р. Колтон.

P.S. Виллард Марш, в этот роковой день, 15-го июля, я передаю вам эту рукопись, чтобы вы развернули ее и прочли, согласно нашим условиям, и в том месте, которое я выбрал. Я изменяю своему намерению хранить ее на себе, чтоб объяснить людям причину моей смерти, так как считаю это несущественным. Пусть она послужит объяснением причины вашей смерти. Я приду к вам в течение ночи, чтоб убедиться, что вы прочли рукопись. Вы достаточно хорошо знаете меня, чтоб не сомневаться, что я это исполню. Но, мой друг, это будет после двенадцати часов.

Джеймс Р. Колтон».

Прежде чем человек, читавший эту рукопись, окончил ее, кто-то поднял и зажег свечу. Дочитав до конца, читавший спокойно поднес лист к пламени

и, несмотря на протесты остальных, сжег рукопись дотла. Человек, сделавший это и невозмутимо выдержавший резкий выговор, который сделал ему тотчас же следователь, был зятем покойного Чарльза Брида.

Следствию не удалось установить содержание рукописи.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «ТАЙМС»



Вчера инспекция над психически-больными водворила в лечебницу мистера Джеймса Р. Колтона, писателя, который пользовался местной известностью и имел отношение к «Вестнику». Читатели помнят, что 15-го текущего месяца мистер Колтон был задержан одним из своих соседей по дому, который обратил внимание на его крайне подозрительное поведение; обнажив свою шею, он наточил бритву и испытывал ее лезвие, делая надрезы на коже руки, и т. д. Когда его передали в руки полиции, несчастный отчаянно боролся и вел себя с тех пор так бурно, что на него пришлось надеть смирительную рубашку.

Большинство остальных наших уважаемых писателей пока еще гуляют на свободе».



ЗАКОЛОЧЕННОЕ ОКНО



1830 году на расстоянии нескольких миль от большого города Цинциннати начинался огромный и почти непроходимый лес. Все графство было населено (весьма редко) пионерами; это были беспокойные души; едва успев устроить себе в пустыне домашний очаг, в котором можно было кое-как жить, и едва достигнув условного благосостояния (которое мы теперь назвали бы нищетой неприкрытой), пионер-пограничник, в силу какого-то таинственного

побуждения своей природы, бросал все это и двигался дальше на запад, навстречу новым опасностям и лишениям. Зачем? Для приобретения тех же благ, от которых он так недавно добровольно отказался?

Многие пограничники уже покинули эту местность и ушли дальше на запад, но среди оставшихся был один из первых пионеров Цинциннати. Он жил один в бревенчатом доме, окруженном вековым лесом, и сам казался частицей его мрака и молчания; никто никогда не видел на его лице улыбки и не слышал от него лишнего слова. Свои простые потребности он удовлетворял посредством продажи или обмена шкур диких зверей в приречном городе, ибо он ничего не сеял на своей земле, на которой, впрочем, можно было усмотреть некоторые признаки бывшего «улучшения». Несколько акров земли, непосредственно вокруг дома, были когда-то расчищены от деревьев. Но теперь гниющие стволы сваленных деревьев были наполовину уже скрыты новыми зарослями; им, очевидно, предоставлена была полная возможность исправить опустошение, произведенное в далекие дни топором. Из этого можно было заключить, что сельскохозяйственное рвение хозяина не горело ярким пламенем, а лишь тлело, и от него остался только пепел.

В маленьком бревенчатом доме была только одна дверь, и как раз напротив нее находилось окно. Последнее было почему-то заколочено. Никто не помнил

времени, когда оно было открыто, и никто не знал, для чего забили это окно; вряд ли вследствие антипатии владельца к воздуху и свету, ибо в тех редких случаях, когда охотнику случалось проходить мимо этого пустынного места, отшельник обыкновенно сидел на своем крыльце и грелся на солнце. Я думаю, на свете осталось мало людей, знающих тайну этого окна, но я принадлежу к их числу.

Говорили, что фамилия этого человека Мэрлок. Ему было на вид семьдесят лет, а в действительности около пятидесяти. Его состарило что-то кроме возраста. Волосы и длинная густая борода его поседели, тусклые серые глаза глубоко впали; лицо его было оригинально испещрено двумя системами морщин. Он был высок и худ, плечи у него были сторблены. Эта была типичная фигура переносчика тяжестей.

Однажды мистера Мэрлока нашли в его хижине мертвым. Следователей и газет в те времена и в тех местах не существовало, все успокоилось на том, что он умер «естественной» смертью; все это произошло до моего рождения, и я знаю об этом от моего деда. От него же я узнал, что покойного похоронили недалеко от его дома, рядом с могилой его жены, которая умерла настолько раньше его, что в местной хронике почти не сохранилось следов ее существования. Много лет спустя я проник в эту местность, в обществе такого же головореза, каким я был тогда сам, и приблизился к развалившемуся дому на расстояние, достаточное для того, чтобы бросить в него камнем; после этого я наострил лыжи, чтобы спастись от привидения, которое, как было известно каждому хорошо осведомленному мальчику, бродило в этом месте.

В ту пору, когда мистер Мэрлок выстроил себе дом и начал работать топором, чтобы создать ферму, поддерживая пока свое существование охотой, — он был молод, и в расцвете сил и надежд. Он женился на Востоке, откуда он был родом, на молодой девушке, во всех отношениях достойной его глубокой привязанности и разделявшей с бодрым духом и легким сердцем все опасности и лишения, которые выпадали ему на долю. Никто не помнит, как ее звали, и никаких преданий о ее духовной и физической прелести не сохранилось, и скептики могут сомневаться, сколько им угодно. Но я не разделяю их сомнений. Об их любви и счастье свидетельствовал каждый день жизни вдовца. Что же иное могло приковать этого предприимчивого человека к подобной доле, к одиночному заключению в лесной глуши, — если не магнетизм дорогих воспоминаний?

Однажды Мэрлок, вернувшись с охоты в отдаленной части леса, застал свою жену в бреду и лихорадке. На несколько миль кругом не было врача; у Мэрлоков не было также соседей, а он не мог оставить жену одну в таком состоянии, чтобы пойти за помощью. Поэтому он стал ухаживать за ней сам; но к концу третьего дня она впадала в состояние спячки и скончалась, не приходя в сознание.

Мои познания о таких характерах позволяют мне рискнуть прибавить еще несколько дополнительных штрихов к нарисованному моим дедом общему контуру.



Когда Мэрлок убедился в смерти жены, у него хватило разума вспомнить, что мертвый должен быть приготовлен к погребению. Совершая этот священный обряд, он постоянно делал промахи, некоторые вещи исполнял неправильно, а правильные действия повторял несколько раз. Его беспрестанные ошибки при совершении самых простых и обыденных действий вызывали в нем удивление так же, как пьяного поражает нарушение привычных ему естественных законов. Земля вдруг стала колебаться под его ногами! Мэрлока также удивляло, что он не плачет; ему было даже стыдно: ведь неприлично не оплакивать мертвых!

— Завтра, — сказал он вслух, — мне придется сколотить гроб и вырыть могилу; и тогда я начну тосковать по ней, не видя ее больше перед глазами. Но теперь... она умерла, конечно, но все хорошо... Наверное, все хорошо... Я не верю, что все так страшно, как мне кажется.

Он стоял над трупом при угасающем свете дня, поправляя волосы мертвой, дополняя последние штрихи ее скромного туалета и делал все это ма-

шинально, с бездушной заботливостью. И все же в его мысли вкрадывалось подсознательное убеждение, что все хорошо, что она будет с ним, как прежде, и все объяснится. Он ни разу до тех пор не испытал сильного горя; его способность к страданию не развилась от упражнения. Его сердце не могло вместить это горе, и его воображение не умело охватить его во всем объеме. Он не сознавал всей тяжести удара; это сознание должно было прийти потом, чтобы никогда уже не покинуть его. Горе ведь художник, располагающий различными возможностями, смотря по характеру инструмента, на котором оно играет; из одних струн оно извлекает самые резкие, пронзительные звуки, из других — низкие, глубокие аккорды, напоминающие своими периодически ударами медленный бой далекого барабана. Одних людей горе потрясает, а других парализует. Оно пронизывает одних, как укол стрелы, обостряя их чувствительность, и влияет на других, как оглушающий удар дубины.

Мы можем думать, что горе ударило Мэрлока дубиной, так как для этого у нас более твердая почва, чем простая гипотеза.

Едва успев кончить обряд, он опустился на стул около стола, где лежало тело, и, взглянув на профиль, жутко белевший в надвигающемся мраке, положил руки на край стола и припал к ним лицом, бесконечно усталый, но по-прежнему без слез. В эту минуту через открытое окно донесся протяжный, воющий звук, словно крик заблудившегося ребенка в далекой чаще темнеющего леса! Но человек не двинулся. Снова и еще ближе прозвучал этот нечеловеческий крик в его угасающем сознании. Может быть, это был рев дикого зверя? Но, возможно, что это был он, так как Мэрлок заснул.

Несколько часов спустя, как это объяснилось впоследствии, этот ненадежный страж проснулся и, подняв голову, стал напряженно прислушиваться, — он сам не знал к чему. Вдруг он вспомнил все и, в глубоком мраке, сидя рядом с покойницей, он стал всматриваться, — он сам не знал во что. Все его чувства насторожились, дыхание остановилось, кровь стала приливать медленнее, словно для того, чтобы не нарушить молчания. Кто разбудил его и где тот, кто это сделал?

Стол вдруг закачался под его руками, и в эту минуту он услышал, или ему показалось, что он слышит, — легкие, мягкие шаги, — словно прикосновение босых ног к полу.

Ужас лишил его голоса и движения. Ему волей-неволей пришлось ждать, ждать в темноте целую вечность безумного страха. Он напрасно пытался произнести имя умершей; или дотронуться рукой до стола, чтобы убедиться что она еще там; его горло было парализовано, руки и ноги казались налитыми свинцом. И тут произошло нечто кошмарное. Какое-то тяжелое тело вдруг стремительно навалилось на стол, толкнув его на Мэрлока; Мэрлок чуть не опрокинулся от резкого удара в грудь и в ту же минуту услышал, как что-то упало на пол с таким грохотом, что весь дом пошатнулся от сотрясения. За этим последовал шум борьбы и беспорядочные звуки, не поддающиеся передаче.



Мэрлок вскочил на ноги, и ужас, доведенный до крайнего предела, утратил власть над его организмом. Он быстро схватился руками за стол. Там не было ничего.

Существует точка, за которой ужас может перейти в безумие, а безумие побуждает к действию. Без определенной цели, только в силу бессознательного импульса безумца, Мэрлок кинулся к стене, нащупал свое заряженное ружье и выстрелил, не целясь. При вспышке огня, ярко озарившей комнату, он увидел огромную пантеру, которая тащила мертвую женщину к окну, вцепившись зубами в ее шею. Затем наступили еще более глубокий мрак и молчание а когда к нему вернулось сознание, солнце высоко стояло на небе, и лес звенел от пения птиц.

Труп лежал у окна, где его бросила пантера, испуганная вспышкой и звуком выстрела. Платье женщины было в беспорядке, длинные волосы ее были спутаны, руки и ноги широко раскинуты; из страшно разодранной шеи вытекла лужа не вполне застывшей крови. Лента, которой он перевязал запястья, разорвалась, и руки оказались судорожно сжатыми. Между зубами покойной был стиснут кусок уха пантеры.

На следующий день Мэрлок солидно, словно исполняя заданную ему работу, заколотил досками свое единственное окно.





ПРИЧУДЛИВЫЕ
ПРИТЧИ





НРАВСТВЕННОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС



равственность и Материальный Интерес встретились на узком мостике, где двоим не разминуться.

— Распластайся предо мной, низкая тварь! — грозно приказала Нравственность. — И я переступлю через тебя!

Материальный Интерес ничего не ответил, только посмотрел ей в глаза.

— Ну... э-э-э... ладно, — неуверенно проговорила Нравственность. — Давай потянем жребий, кому кого пропустить.

Материальный Интерес хранил молчание и не отводил взгляда.

— Чтобы избежать нежелательного конфликта, — сказала тогда Нравственность не без душевной муки, — я сама распластаюсь, — и ты сможешь пройти по мне.

Тут только Материальный Интерес разверз уста.

— Едва ли моим ногам будет удобно по тебе ступать, — возразил он. — Я на ноги очень чувствительный. Лучше сойди с мостика в воду.

Тем дело и кончилось.



КРАСНАЯ СВЕЧА



уж на пороге смерти подозвал Жену и сказал ей:
— С минуты на минуту я должен буду тебя навсегда покинуть; поэтому прошу тебя о последнем знаке твоей любви и верности. У меня в столе ты найдешь красную свечу. Она была освящена Первосвященником и имеет особую мистическую силу. Покайся же, что, пока эта свеча цела, ты не выйдешь вторично замуж.

Женщина поклялась, и Муж умер. На похоронах она стояла у изголовья гроба и держала в руке горящую красную свечу. Стояла и держала до тех пор, куда красная свеча вся не истаяла.



ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ ПАТРИОТ



обившись аудиенции у короля, Изобретательный Патриот достал из кармана бумагу и объявил:

— С изволения вашего величества здесь у меня рецепт варки такой брони, которую не прошибет ни одна пушка. Если адмиралтейство возьмет эту броню на вооружение, наши военные корабли будут непробиваемы и, следовательно, непобедимы. Вот, кстати, и отзывы министров вашего величества, они подтверждают достоинства моего изобретения. Готов уступить вам мое авторское право за один миллион тумтумов.

Король, рассмотрев бумаги, отложил их в сторону и пообещал направить лорду Верховному Казначею в департамент Насильственного Изъятия распоряжение о выплате одного миллиона тумтумов.

— А вот здесь у меня, — объявил Изобретательный Патриот, доставая из другого кармана другую бумагу, — рабочие чертежи изобретенной мной пушки, которая способна пробить вышеупомянутую броню. Досточтимый брат вашего величества император Тарарархский жаждет приобрести их, но преданность вашему трону и лично вам, ваше величество, заставляет меня перво-наперво предложить их вам. Цена — один миллион тумтумов.



Изобретательный Патриот

Заручившись обещанием еще одного чека, он сунул руку в третий карман и сказал:

— Цена неотразимой пушки была бы много выше, ваше величество, если бы не то, что выпускаемые ею снаряды можно отклонить от цели, надо только обработать броню особым веществом, которое я...

Король жестом подозвал своего Главного Верховного Фактотума.

— Обыщите этого человека, — приказал он, — и доложите, сколько у него карманов.

— Сорок три, сир, — отрапортовал Верховный Фактотум по завершении осмотра.

— В одном табак, с изволения вашего величества! — вскричал в испуге Изобретательный Патриот.

— Поднимите его за лодыжки и потрясите, — велел король. — А потом выдайте ему чек на сорок два миллиона тумтумов, после чего казните. И обнародуйте указ, что изобретательность приравнивается к государственной измене.



ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ЧИНОВНИК



ачальник участка железной дороги добросовестно исполнял свои обязанности: взламывал стрелки на путях и вставлял палки в колеса, — но получил известие, что Президент железнодорожной компании собирается его уволить как не справляющегося с работой.

— Боже Праведный! — воскликнул он. — Но ведь на моем участке случается больше аварий, чем на всей остальной линии!

— Президент очень требователен, — ответил тот, кто принес ему неприятную весть. — Он полагает, что тех же человеческих жертв можно добиться с меньшими материальными затратами для Компании.

— Он что же, хочет, чтобы я производил отстрел пассажиров через окна? — возмутился чиновник, отвинчивая гайку на рельсе. — Я же не убийца какой-нибудь!





ПОЛИТИКИ

тарый Политик вдвоем с Молодым Политиком брели по пыльному тракту, ведущему через живописный край в Город Скромного Процветания. Разомлев от цветов и птичьих песен, манящих на лесные тропы и в зеленые луга, упоенный зрелищем золотых куполов и сверкающих вдали чертогов, Молодой Политик сказал Старому:

— Прошу тебя, давай свернем с этого безрадостного тракта, ведущего, куда — тебе известно, а мне нет. Давай пренебрежем долгом и устремимся навстречу удовольствиям и преимуществам, которые призывают нас из каждой рощи и манят с вершины каждого холма. Вот, например, прелестная тропинка, и на ней, видишь, дорожный указатель: «Сверни сюда всяк, кто ищет Дворец Широкой Известности».

— Да, это прелестная тропинка, сын мой, — ответил Старый Политик, не сбавляя хода и даже не повернув головы. — И ведет она в приятные места. Но поиски Дворца Широкой Известности сопряжены со страшным риском.

— Каким же? — спросил Молодой.

— С риском обрести ее, — ответил Старый и пошел дальше своей дорогой.



ЗМЕЯ-ХРИСТИАНКА



ремучая Змея приползла домой и сказала своему выводку:
— Дети мои, соберитесь все возле меня, примите последнее родительское благословение и смотрите, как умирают по-христиански.

— Но что с тобой, мамаша? — спросили Змееныши.

— Меня укусил редактор партийной газеты, — был ответ, сопровождавшийся смертельным гремучим хрипом.



ХОДАТАЙСТВО ПРЕСТУПНИКА



удья приговорил Преступника к тюремному заключению, после чего пустился толковать ему о вреде дурных поступков и пользе хороших.

— Ваша честь, — перебил его Преступник, — будьте так добры, пересчитайте мне приговор на десять лет тюрьмы без добавлений.

— Как? — удивился Судья. — Я же назначил вам всего три года!

— Да, я знаю, — ответил Преступник. — Три года тюрьмы и проповедь. А я бы хотел, если можно, конвертировать проповедь в тюремный срок.



ОТЕЦ И СЫН



ой мальчик, — сказал Отец своему вспыльчивому и непокорному Сыну, — горячий нрав — это почва для будущего сокрушения. Дай мне слово в следующий раз, когда ты всплывешь, сосчитать до ста, прежде чем говорить или действовать.

Едва лишь Сын дал слово, как тут же получил от родителя тростью по голове и успел только до-

считать до семидесяти, а уж папаша у него на глазах сел в наемный экипаж и уехал.



НЕРАЗУМНАЯ ЖЕНЩИНА

амужняя Женщина, от которой вздумал сбежать раскаявшийся любовник, раздобыла пистолет и застрелила беглеца.

— Почему вы это сделали, сударыня? — спросил проходивший мимо страж порядка.

— Потому, — ответила Женщина, — что он был негодяй. Он купил билет в Чикаго.

— Сестра моя, — мрачно заметил случившийся поблизости Служитель Церкви, —

стреляй не стреляй, всех чикагских негодяев не перебьешь.



МЕДВЕДЬ НА АРКАНЕ



хотник, заарканивший Медведя, лихорадочно старался как можно скорее отвязать свой конец веревки, но узел у него на запястье только затягивался все туже и туже, потому что Медведь выбирал слабинку, перехватывая лапами. Вдруг едет мимо владелец бродячего цирка.

— Сколько вы мне дадите, — спросил он Циркача, — за моего Медведя?

— Мне Медведь понадобится не раньше, чем минут через десять, — ответил Циркач. — И похоже, за это время цены могут упасть. Я, пожалуй, подожду и послежу за рыночной конъюнктурой.

— Цена на этого зверя уже упала до нижнего предела, — возразил Охотник. — Можете взять его по центу фунт, и в придачу я подкину еще одного, когда поймаю. Но плата на месте наличными, и обязательно самовывоз, притом немедленно, так как мне надо освободить место для трех тигров-людоедов, собакоголовой гориллы и охупки гремучих змей.

Однако Циркач прошествовал мимо, предаваясь необузданным девичьим грезам, а вскорости его нагнал Медведь, который задумчивоковырял в зубах, и можно было подумать, что они незнакомы.



ДЕРЕВЯННЫЕ ПУШКИ



В одном штате Артиллерийский полк местного ополчения обратился к Губернатору с просьбой выделить для учений деревянные пушки.

— Они ведь обойдутся дешевле настоящих, — таков был выдвинутый довод.

— Никто не посмеет упрекнуть меня, что я пожертвовал боевой подготовкой ради экономии! — воскликнул Губернатор. — Вы получите настоящие пушки.

— Вот спасибо! — обрадовались воины. — Мы будем беречь их как зеницу ока, и в случае военных действий возвратим целехонькими в арсенал.



ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ СТАРОСТА



Странствующий Проповедник, несколько часов трудившийся в вертограде нравственности, шепнул Старосте местной церкви:

— Брат, прихожане тебя знают, поэтому твоя деятельная поддержка принесла бы щедрые плоды. Будь другом, обойди их с тарелкой для пожертвований — четверть сборов будет твоя.

Староста выполнил его просьбу, собранные деньги положил к себе в карман и, дождавшись, когда прихожане разойдутся, пожелал Проповеднику всего наилучшего.

— А деньги-то, брат, деньги, что ты собрал, — напомнил Странствующий Проповедник.

— Тебе ничего не причитается, — был ответ. — Враг рода человеческого ожесточил сердца прихожан и на три четверти сократил сумму их пожертвований.



ОБ ИСКУССТВЕ РЫТЬ ЗЕМЛЮ НОСОМ



бьяный лежал посреди дороги, в кровь разбив при падении нос. Мимо брел борз.

— Валяться в грязи ты навострился неплохо, — таково было его авторитетное заключение. — А вот рыть носом землю, мой милый, тебе еще учиться и учиться.



КОШКА И КОРОЛЬ



ошка, пользуясь, по пословице, своим природным правом, смотрела на Короля.

— Ну-с, — спросил Король, заметив ее интерес к своей венценосной особе, — как я тебе нравлюсь?

— Я могу себе представить короля, который бы нравился мне значительно меньше, — ответила Кошка.

— Да? Например?

— Например, Мышиный Король.

Монарху так по вкусу пришелся этот остроумный ответ, что он даровал ей разрешение выцарапать глаза Премьер-Министру.



ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО НЕ БЫЛО ВРАГОВ



а Безобидного Человека прямо на улице налетело Неизвестное Лицо с дубинкой и пребольно его поколотило.

Когда обидчика притащили в суд, пострадавший сказал судье так:

— Не знаю, почему он на меня напал? У меня на всем белом свете нет ни одного врага.

— Вот потому я его и побил, — показал ответчик.

— Задержанного из-под стражи освободить, — распорядился судья. — Тот, у кого нет

врагов, не имеет и друзей. Таким в суде делать нечего.



АНГЕЛЬСКАЯ СЛЕЗА



едостойный Человек, посмеявшийся над страданиями Любимой, оплакивал свой промах, облачившись в шелковую власяницу и посыпая голову пеплом увядших роз. С высоты его увидел Ангел Сострадания, который сказал:

— Смертный, мне жаль тебя. Как же ты мог не знать, что это жестоко — смеяться над бедой другого?

При этих словах он уронил одну крупную слезу, которая, летя вниз, встретилась с потоком холодного воздуха и смерзлась в градину. Градина ударила Недостойного по голове, и он одной рукой стал потирать пострадавшую часть своего организма, одновременно пытаясь другой рукой открыть зонт.

Ангел же Сострадания, глядя сверху, беззастенчиво и жестоко смеялся.



ОПОССУМ БУДУЩЕГО



днажды Опоссум, который мирно спал, зацепившись за самую верхнюю ветку дерева, проснулся и увидел, что вокруг ветки, ближе к стволу, обвилась огромная Змея.

— Если я останусь висеть, где вишу, — сказал он себе, — быть мне проглоченным; если же отпущу ветку, то сломаю шею.

Тут ему пришло в голову схитрить.

— Мой превосходный друг, — проговорил он, — родительский инстинкт подсказывает мне, что я вижу в вас славное и неопровержимое подтверждение теории эволюции. Вы — Опоссум

Будущего, конечный результат процесса выживания наиболее приспособленных из нашего вида, торжество прогрессивного хватательного принципа — один тотальный хвост!

Но Змея, гордясь своей выдающейся ролью в Священной Истории и придерживаясь строго традиционных взглядов, отвергла его научный подход.



СПАСАТЕЛИ



Председателю Гуманитарного Общества Спасения на Водах явились семьдесят пять человек претендентов на золотую медаль за спасение человеческих жизней.

— Да-да, конечно, — сказал Председатель. — Столько доблестных мужчин, если хорошенько постараются, способны спасти многих. Сколько людей вы уберегли от смерти?

— Семьдесят пять, сэр, — ответил от их лица один.

— То есть по одному каждый, — прикинул Председатель. — Что ж, отличная работа, молодцы. Вы не только

получите большие золотые медали нашего Общества, но также еще рекомендации на работу на спасательные станции вдоль побережья. Однако скажите, как вам удалось спасти столько жизней?

— Мы — полицейский отряд, и мы только что прекратили преследование двух опасных преступников.



АВСТРАЛИЙСКИЙ КУЗНЕЧИК



Выдающийся Натуралист, путешествуя по Австралии, увидел пасущегося Кенгуру и запустил в него камнем. Кенгуру незамедлительно прервал свое занятие и, описав в закатном небе параболическую кривую через тридевять земель, канул за горизонт: Выдающийся Натуралист заинтересовался, но поначалу ни слова не промолвил. Потом, по прошествии часа, он спросил у местного Проводника:

— У вас тут, как я понял, луга очень широкие?

— Не особенно, — ответил Проводник. — Более или менее такие же, как в Англии или в Америке.

Выдающийся Натуралист опять погрузился в долгое молчание, а потом сказал:

— Это сено, что мы сегодня вечером должны купить для лошадей, в нем, я думаю, каждая соломинка футов пятидесяти в длину? Верно?

— Да нет, — ответил Проводник. — Фут-два — обычная высота нашей травы. Откуда вы взяли?

Выдающийся Натуралист снова промолчал, но позже, когда под покровом ночи они пересекали безоглядные просторы Великой Пустыни, он все же нарушил молчание и объяснил:

— Меня натолкнули на такое предположение колоссальные размеры ваших кузнечиков.



МОСТИЛЬЩИК



Писатель увидел на улице Рабочего, забивающего булыжники в мостовую, и, подойдя поближе, сказал:

— Друг мой, мне кажется, ты выбился из сил. Честолюбие — безжалостный надсмотрщик.

— Я работаю у мистера Джонса, сэр, — ответил Рабочий.

— Ладно, не расстраивайся, — продолжал свою речь Писатель. — Слава приходит, когда ее совсем не ждешь. Ныне ты ничтожен, нищ и уныл, а наутро имя твое может прогряметь по всему миру.



Австралийский кузнечик

— Что ты плетешь? — рассердился Мостильщик. — Неужели честный рабочий не может спокойно делать свое дело, зарабатывать деньги и жить на них без всей этой чепухи насчет честолюбия и славы?

— А честный писатель?



ДВА ПОЭТА



ва Поэта подрались из-за Яблока Раздора и Кости Состязания, так как были оба очень голодны.

— Сыны мои, — сказал Аполлон. — Я поделю меж вами эти сокровища. Ты, — обратился он к Первому Поэту, — особенно силен искусством, — получай Яблоко.

— А ты, — сказал он Второму, — воображением. Тебе — Кость.

— За искусство — первый приз! — торжествуя, воскликнул Первый Поэт, попробовал было откусить яблоко, но обломал все зубы. Яблоко оказалось искусственное.

— Это показывает, как невысоко ставит наш покровитель голое умение, — заметил Второй Поэт с язвительной ухмылкой.

Но когда он сделал попытку обглодать кость, его зубы прошли насквозь, не встретив ничего материального. Кость была воображаемая.



МУДРАЯ КРЫСА



удрая Крыса собралась было выйти из норы, но заметила Кота, который поджидал ее у входа, и, возвратившись назад, к своим соплеменницам, пригласила Подругу пройти вместе до ближайшего сусека.

— Я бы одна сходила, — объяснила она, — но не могу отказать себе в удовольствии совершить эту прогулку в вашем обществе.

— Ладно, — отвечает та. — Пошли. Я за тобой.

— За мной? — воскликнула первая. — Неужели я осмелюсь пойти впереди такой великой и знаменитой крысы?! Нет, мэм, только после вас.

Подруга, обрадованная таким почтительным обращением, двинулась вперед и первой вышла из норы. Кот ее сцапал и убежал со своей добычей. А Мудрая Крыса, живая и невредимая, пошла по своим делам.



БУМБО, ВЛАСТИТЕЛЬ ДЖИАМА



Пахадур Падагаскарского с гукулом Мадагонским был великий спор за один островок, на который они оба притязали. В конце концов, по совету Всемирной Лиги Пушечных Дел Мастеров, имевшей филиалы в обеих странах, они согласились прибегнуть к международному арбитражу и просили бумбо Джамского рассудить их по справедливости. Однако, согласовывая условия арбитража, они, на беду, повздорили и взялись за оружие. На исходе долгого и кровавого военного конфликта, когда обе стороны были полностью обескровлены и разорены, бумбо Джамский выступил в защиту мира.

— Мои великие и добрые друзья, — сказал он своим венценосным братьям, — да будет вам ведомо, что есть вопросы, сложнее и опаснее других, так как содержат больше пунктов, по которым возможны разногласия. Ваши предки на протяжении четырех поколений вели спор за этот островок, не переходя на кулачки. Остерегайтесь же, говорю вам, международного арбитража! Впредь уберечь вас от него я полагаю своим долгом.

С этими словами он аннексировал обе страны и после долгого, мирного и счастливого царствования был отравлен собственным премьер-министром.



ДРУГ ФЕРМЕРА



еликий Человеколюб, который примеривался к президентству и в этих видах внес в Конгресс законопроект, чтобы каждый голосующий получал от правительства беспроцентную ссуду любого, какого пожелает размера, — однажды распространился в Воскресной школе на вокзале о своих заслугах перед страной, а ангел небесный смотрел с вышины и плакал.

— Вот, например, — сказал Человеколюб, увидев капли слез в пыли, — эти ранние дожди принесут фермерам неисчислимые выгоды.



ТЕНЬ ДЕЯТЕЛЯ

олитический Деятель шел как-то погожим солнечным днем и вдруг увидел, что его Тень оторвалась от него и торопливо устремилась прочь.

— Вернись немедленно, подлая! — крикнул он Тени.

— Я была бы подлой, если бы продолжала повторять все, что делаешь ты, — ответила Тень и припустилась во всю прыть.



ДВА ВРАЧА



тарый Греховодник однажды заболел и позвал Врача, тот прописал лечение и уехал. Тогда Старый Греховодник пригласил Второго Врача, о Первом же промолчал и получил совершенно другие предписания. Так продолжалось несколько недель, врачи посещали больного через день и лечили каждый на свой лад, все время увеличивая дозы лекарств и ужесточая режим. Но однажды они по случайности встретились у постели спящего больного, правда обнаружилась, и поднялась громкая ссора.



Друг фермера

— Друзья мои, — сказал пациент, когда, разбуженный их криками, сообразил, в чем дело, — будьте же благоразумны. Если я много недель терпел вас обоих, неужели вы не можете немножко потерпеть друг друга? Я уже десять дней как выздоровел, но лежу в постели, чтобы набраться наконец сил для приема ваших лекарств, которые до сих пор не трогал.



НЕУЧТЕННЫЙ ФАКТОР



В одного Человека был замечательный Пес, и, тщательно подобрав ему пару, хозяин получил превосходных щенков, ну только что не ангелов; сам же он влюбился в прачку, женился на ней и произвел на свет целый выводок дебилов.

— Увы! — воскликнул он, глядя на результат, — если бы, подбирая пару себе, я употребил хоть наполовину столько же тщания, как при подборе пары для пса, я был бы теперь счастливым и гордым отцом.

— Это еще как сказать, — возразил Пес, услышав эти жалобы. — Конечно, между твоими щенками и моими заметная разница, но я лишь себя мыслю, что не все тут зависело только от матери. Мы ведь с тобой тоже друг от друга отличаемся.



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК



о время дождя Сторож в Зоологическом саду увидел Принципиального Человека, прячущегося под брюхом у страуса, который дремал, как ему полагается, стоя.

— Дорогой сэръ! — сказал Сторож. — Если вы опасаетесь промокнуть, забрались бы лучше в сумку вон к той кенгурихе «Сальтатрикс Макинтоша», а страус, он ведь, если проснется, убьет вас одним пинком.

— Это уж не моя забота, — отвечивал Принципиальный Человек. — Он может пнуть меня и убить, если хочет, но, пока я жив, он

обязан укрывать меня от дождя: он проглотил мой зонт.



ЭКИПАЖ СПАСАТЕЛЬНОЙ ШЛЮПКИ



облестные сотрудники береговой спасательной станции собрались было спустить на воду шлюпку, чтобы отправиться в дозор на своем участке, как вдруг разглядели в некотором отдалении перевернувшееся кверху дном судно и с десятков держащихся за него людей.

— Нам сильно повезло, — сказали Спасатели, — что мы вовремя это увидели. Иначе наша судьба могла оказаться столь же плачевной.

Они втащили шлюпку обратно в лодочный сарай, благодаря чему смогли и дальше приносить пользу отечеству.



КЕНГУРУ И ЗЕБРА



енгуру неуклюже скакал по дороге, пряча в набрюшном мешке тяжелую ношу, и повстречал Зебру. Он заговорил с ней, желая завязать знакомство.

— У тебя такой полосатый костюм, можно подумать, что ты идешь из тюремного заключения.

— Внешний вид обманчив, — с улыбкой превосходства ответила Зебра. — А то бы, глядя на твою торбу, можно было подумать, что ты скачешь из Конгресса.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАЛИФОРНИЮ



дного человека повесили, и он расстался с жизнью. Было это в 1893 году.

— Откуда ты? — спросил Святой Петр, когда тот предстал перед Небесными вратами.

— Из Калифорнии, — ответил стучавшийся.

— Взойди же, сын мой, взойди; ты принес радостные вести.

Тот вошел и затерялся в полях Блаженных, а Святой Петр взял свою записную скрижаль и начертил на ней следующую запись: «Февраля шестнадцатого 1893 года.

Калифорнию заселили христиане».



УЖАСНОЕ ПРОРОЧЕСТВО



робовщик, член Треста Гробовщиков, увидел человека, облокотившегося на лопату, и спросил, почему тот не работает.

— А потому, — ответил человек с лопатой, — что я вхожу в Общенациональное Вымогательское Общество Могильщиков, и мы приняли резолюцию сократить производство могил, с тем чтобы поднять тарифы на каждую. Мы монополисты в этом бизнесе и намерены извлечь как можно больше выгоды из своего преимущества.



Кенгуру и Зебра

— Друг мой, — сказал член Треста Гробовщиков. — Ваши планы вредны и опасны. Если люди не будут иметь гарантий на приобретение могил, они, боюсь, просто перестанут умирать, и высшие интересы цивилизации пострадают, как листва от мороза.

И, высморкав глаза, он со стенаниями пошел прочь.



СФИНКСОВ ХВОСТ



олчаливый Пес сделал замечание своему Хвосту:

— Когда я зол, ты ощетиливаешься; когда доволен, ты виляешь; а стоит мне насторожиться, и ты испуганно прячешься у меня меж ногами. Очень уж ты невожат и выдаешь все, что у меня на душе. А я считаю, что хвосты даны нам, чтобы скрывать наши мысли. Я хотел бы постоянно хранить невозмутимость, как Сфинкс.

— Друг мой, нельзя идти поперек собственной природы, — возразил Хвост, извиваясь в согласии с извилинами своих рассуждений, — и стремиться к величию в несвойственном тебе направлении. У Сфинкса есть не менее ста пятидесяти веских причин быть невозмутимее тебя.

— Какие же? — спросил Пес.

— Сто сорок девять — это столько тонн песка у него на хвосте.

— И...?

— И каменный хвост.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ



Некий Христианин на Востоке услышал на улице шум и осведомился у своего Переводчика о его причине.

— Буддисты режут магометан, — невозмутимо, как истинный сын Востока, сказал Переводчик.

— Вот уж не думал, — с научным интересом заметил Христианин, — что от этого может происходить столько шума.

— А магометане режут буддистов, — закончил свое объяснение Переводчик.



Сфинксов хвост

— Надо же, — поразился Христианин, — до чего сильна и повсеместна религиозная вражда!

С этими словами он поспешил тайком на почтамт и вызвал по телеграфу бригаду головорезов для защиты христианских интересов.



ЧЕСТНЫЙ КАССИР



Кассир одного банка, присвоивший немалую сумму, будучи спрошен Директорами, на что он употребил эти деньги, ответил так:

— Я весьма удивлен подобным вопросом, господа. Уж не подозреваете ли вы меня в эгоизме? Нет, я направил эти средства именно на ту цель, ради которой и взял их: уплатил вступительный взнос и вперед за год ежемесячные сборы в Союз Взаимопомощи Кассиров.

— А что это за организация? Какова ее цель? — спросили в совете Директоров.

— Когда на которого-нибудь из членов падает подозрение в недобросовестности, — объяснил Кассир, — Союз берет на себя действия по его оправданию, для чего предъявляет свидетельства, что данное лицо от роду не было уважаемым членом какой-либо церкви и не вело занятий в Воскресной школе.

Сообразив, как важна для банка безупречная репутация его работников, Президент лично выписал чек, покрывающий всю сумму растраты, и Кассир был восстановлен в должности и во всеобщем добром мнении.



МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ



огда между Китаем и Соединенными Штатами прошли подряд четыре опустошительные войны, вызванные тем, что в этих странах резали подданных друг друга, где-то году в 1894-м выступил один Мадагаскарский Философ и предложил обеим обескровленным странам такой проект мирного соглашения:

«Отныне и впредь резать чужих подданных строжайше запрещается; а буде гражданин той или другой страны нарушит данный запрет, он обязан снять скальпы со всех зарезанных и сдать местному представителю власти, а тот обязан их принять, зарегистрировать и вести им строгий и нелицеприятный учет. По окончании каждой резни или в ближайший удобный срок после оной, или через определенные заранее согласованные промежутки времени будет производиться подсчет скальпов, невзирая на пол и возраст; государство, у которого скальпов окажется больше, подлежит штрафу из расчета одна тыс. долларов за каждый избыточный скальп, а противной стороне записывается приход на такую же сумму. Раз в десять лет подбивается общий итог и причитающиеся суммы выплачиваются в мексиканских долларах».

Проект был одобрен, соглашение подписано, на обе администрации возложено неукоснительное выполнение всех его статей; Мадагаскарский Философ занял место в Пантеоне Бессмертных, и Мир простер над обеими нациями свои основательно перепачканные белоснежные крыла.



СМОТРЯ КАК ДОКАЗЫВАТЬ



илософ увидел, что Дурак колотит осла, и сказал:

— Остановись, сын мой, перестань, кто прибегает к силе, от силы и пострадает.

— Вот именно это, — отвечал Дурак, не отвлекаясь от дела, — я и стараюсь втолковать Серому, ведь он меня брыкнул.

— По-видимому, — рассудил Философ, отправившись дальше своей дорогой, — ум у дураков не глубже и не вернее нашего, но, право же, мне представляется, что метод доказательства у них более доходчивый.



ВЕРНАЯ ВДОВА



Вдове, проливающей слезы на могиле мужа, приблизился Любезный Господин и заверил ее, что давно уже питает к ней нежные чувства.

— Негодяй! — вскричала Вдова. — Оставьте меня сию же минуту! Нашли когда вести разговоры о любви!

— Поверьте, мадам, я отнюдь не намеревался открывать вам свои чувства, — кротко ответил Любезный Господин. — Но моя тактичность не выстояла перед силой вашей красоты.

— Вы бы посмотрели на меня не заплаканную, — сказала Вдова.



ЕГО КРОШЕЧНОЕ ВЕЛИЧЕСТВО



выдающегося Защитника республиканских основ увидели однажды стоящим по колено в океане.

— Почему вы не выходите на берег? — спросили его. — Для чего промочили ноги?

— Сэр, — тот отвечал, — ожидается прибытие корабля, на котором находится его величество король Крошечных островов, и я хочу первым позвать коронованную руку.

— Но ведь вы в своей знаменитой речи перед Обществом Борьбы против Торчания Гвоздей из Дощатых Мостовых утверждали, что короли — это кровавые угнетатели и преступные бездельники!

— Дражайший сэр, — отвечивший Выдающийся Защитник республиканских основ, не отрывая взора от горизонта, — о чем речь? Я же говорил о королях в отвлеченном смысле.



СТОЙКИЕ ПАТРИОТЫ



иновник, которому была поручена в новоизбранном правительстве раздача государственных должностей, объявил через газеты, что рассмотрение кандидатур откладывается впредь до некоторой даты.

— Вы подвергаете себя серьезной опасности, — сказал ему один Юрист.

— Почему же? — удивился тот.

— До назначенной вами даты еще почти два месяца, — ответил Юрист. — Редкий Патриот способен прожить

столько времени без еды, так что иным из них придется устроиться куда-то работать. И если они от этого умрут, вас могут обвинить в убийстве.

- Вы недооцениваете их выносливость, — возразил Чин.
- Как! По-вашему, они способны вынести работу?
- Да нет, голод, — ответил раздатчик теплых местечек.



СТАРЕЦ И УЧЕНИК

Благообразный Старец встретил Ученика Воскресной школы, положил ласково ладонь ему на голову и говорит:

— Прислушайся, сын мой, к словам того, кто умудрен, и поступи по совету того, кто благочестив.

— Ладно, — согласился Ученик Воскресной школы, — давай выкладывай.

— Да нет, мне лично нечего тебе посоветовать, — сказал Благообразный Старец. — Просто уж таков обычай, чтобы старики наставляли юных. Вообще-то я пират.

Когда он снял руку с головы мальчика, у того волосы оказались слипшимися от запекшейся крови. А Благообразный Старец побрел дальше наставлять молодежь.



МЕСТЬ



страховой Агент уламывал Несговорчивого Человека застраховать дом. В продолжение часа он, не жалея красок, расписывал Несговорчивому, как его дом сгинет в пламени пожара. Выслушав все, Несговорчивый задал вопрос:

— Вы действительно считаете вероятным, что мой дом сгорит до истечения срока страховки?

— Ну да! — ответил Страховой Агент. — Я же битый час вам это толкую.

— Тогда почему вы так стараетесь, чтобы ваша компания поставила деньги на то, что это не случится?

Агент замолчал на минуту, подумал, а потом отвел Несговорчивого в сторону и шепнул ему на ухо:

— Мой друг, я открою вам страшную тайну. Когда-то эта компания подвела мою невесту, гарантировав ей свадьбу. Чтобы отомстить, я под чужим именем поступил к ним работать, и, видит Бог, они у меня еще поплачут!



ОПТИМИЗМ



ве Лягушки в животе у змеи обсуждали новые условия жизни.

— Да, не повезло, — сказала одна.

— Не спеши с выводами, — возразила другая. — Над нами не каплет, есть бесплатное жилье и пища.

— Жилье — это да, — сказала первая Лягушка. — Но пищи я что-то не вижу.

— Как ты мрачно на все смотришь.

Пища — это мы сами, — объяснила вторая.



УТРАЧЕННОЕ ПРАВО



Начальник Метеорологического Бюро предсказал хорошую погоду, и поэтому один Расчетливый Господин накопил зонтов и выставил их для продажи прямо на улице; однако погода так и не испортилась, в результате зонтов у него никто не покупал. Тогда Расчетливый Господин вчинил Начальнику Метеорологического Бюро иск на всю сумму стоимости зонтов.

— Ваша честь, — заявил адвокат ответчика, когда приступили к слушанию дела, — я предлагаю суду отказаться от рассмотрения столь странного иска. Мало того, что мой клиент в принципе не отвечает за понесенные истцом убытки, но он еще недвусмысленно предупредил его, что погода будет хорошая, а ведь именно хорошая погода послужила причиной его убытков.

— Об этом и речь, ваша честь! — возразил поверенный истца. — Дав верный прогноз погоды, он злонамеренно ввел моего клиента в заблуждение. Он так часто и так беззастенчиво врал, что не имел никакого права говорить правду.

Истец выиграл.

ЗАКЛИНАТЕЛЬ ДОЖДЯ



Государственный Комиссар привел в пустыню, где десять лет не было дождя, большой караван запряженных мулами возов с воздушными шарами, змеями, динамитными бомбами и электрическими приборами. Несколько месяцев они там устраивались, потратив на подготовку миллион долларов, и вот, когда наконец все было сделано, на земле и в небе произошла целая серия грандиозных взрывов, вслед за чем на пустыню излились столь обильные дожди, что самого Государственного Комиссара и всю аппаратуру смыло с лица земли, а сердца землепашцев преисполнились невыразимым ликованием. Явившийся к месту событий Газетный Репортер едва спасся, взобравшись на вершину горы, где увидел единственного уцелевшего участника экспедиции, погонщика мулов, который стоял на коленях под колючим кустом и горячо молился.

— Зря стараешься, — сказал Репортер. — Разве так положишь конец бедствию?

— О, товарищ мой на пути к Божьей Скамье Подсудимых, — ответил Единственно Уцелевший, оглянувшись через плечо, — ты пребываешь во тьме



Утраченное Право

заблуждения. Я не о прекращении этой благодати молюсь, это я ее, по воле Провидения, своими молитвами вызвал.

— Ну и шутник же ты! — засмеялся Репортер, отфыркиваясь под струями ливня. — Какая сила молитвы у погонщика мулов?

— Дитя легкомыслия и насмешки! — отозвался тот. — Ты опять ошибся, обманувшись этими скромными одеждами. Я — преподобный Езекиель Крохобор, проповедник слова Божия, и в настоящее время нахожусь в могущественной фирме «Стриги и Обдирай», которая как раз производит эти самые воздушные шары, змеев, динамитные бомбы и электрическое снаряжение.



ДРЕМЛЮЩИЙ ЦИКЛОН



Негр в лодке, вылавливая из реки плавник, принял спящего аллигатора за бревно и стал прикидывать, сколько из него выйдет drankи на кровлю для хижины. Все как следует сообразив и рассчитав, он вонзил хищнику в спину багор, дабы прибрать к рукам то, что послала ему удача. Водяное чудовище очнулось от дремоты и, к великому изумлению своего Брата-Человека, плюхнулось с берега в воду и поплыло, подняв большую волну.

— Вот это циклон так циклон! — воскликнул Негр, когда опомнился. — В жизни не наблюдал подобного. Он унес крышу моей хижины.





Заклинатель дождя

ОПТИМИСТ И ЦИНИК



еловек, который был оптимистом, ибо фортуна оказалась к нему благосклонна, встретил знакомого, который вследствие общения с Оптимистом попал в Циники. Циник свернул на обочину, чтобы Оптимист мог свободно проехать в своей золотой карете.

— Сын мой, — сказал Оптимист, остановив золотую карету, — ты хмур, как будто во всем мире у тебя нет ни одного друга.

— Может, есть, а может, нет, откуда мне знать, — ответил Циник. — Мир-то принадлежит тебе.



СОБАКА И ВРАЧ



обака, наблюдавшая за тем, как Врач принимал участие в похоронах богатого пациента, спросила:

— А когда ты рассчитываешь его откопать?

— Зачем мне его откапывать? — удивился Врач.

— Ну, не знаю, — ответила Собака. — Я, например, закапываю кость, чтобы потом вырыть и глотать.

— А я сначала обгладываю, а потом закапываю, — объяснил Врач.



БЕСХРЕБЕТНЫЙ МОНАРХ



днажды Обезьяны свергли своего царя, и сразу же у них начались распри и анархия. Не в силах сладить с бедой, они отправили посольство в соседнюю обезьянью стаю, чтоб получить совет у Старейшей и Мудрейшей Обезьяны на Всем Белом Свете.

— Дети мои, — сказала Старейшая и Мудрейшая, выслушав послов, — вы правильно поступили, что избавились от тирании, но ваша стая еще недостаточно развита для того, чтобы жить совсем без царя. Заманите тирана обратно фальшивыми посулами, убейте и посадите на трон. На костях даже самого неограниченного деспота

можно возвести отличную конституционную монархию.

Но послы понурились в замешательстве.

— Увы, это невозможно, — пробормотали они, пятясь. — У нашего царя нет костей, он был бесхребетный.



БОГАТСТВО И СОЧИНТЕЛЬ



очинитель притч, идучи через лес, встретился с Богатством и со страху полез на дерево, но Богатство стянуло его за фалды вниз и безжалостно на него обрушилось.

— Ты почему вздумал от меня убежать? — спросило оно, когда сопротивление было окончательно сломлено и смолкли вопли. — Почему хмуришься так негостеприимно?

— Потому что ты мне незнакомо, — ответил перепуганный Сочинитель.

— Я — это благосостояние и почет, — стало объяснять Богатство, — красивые дома, яхта, каждый день чистая рубашка. Я — это до-

суг, путешествия, вино, лоснящийся цилиндр и нелоснящийся сюртук. Я — это сытый желудок...

— Ну, хорошо, хорошо, — пробормотал Сочинитель, — только, ради Бога, говори шепотом!

— Да почему же? — удивилось Богатство.

— Чтобы я не проснулся, — ответил Автор, и тихое блаженство разлилось по его прекрасному лицу.



ПОЧТЕННЫЙ КОНГРЕССМЕН



епутат Конгресса, поклявшийся своим избирателям не воровать, по окончании сессии привез домой изрядный ломоть от купола Капитолия. По этому поводу избиратели устроили митинг протеста и приняли резолюцию насчет дегтя и перьев.

— Это крайне несправедливо, — возразил Конгрессмен. — Я действительно обещал не воровать, но разве я давал обещание не врать?

Его признали честнейшим человеком и пустили в Конгресс Соединенных Штатов неоперенным.



ПЕРЕСТАНОВКИ



Пробираясь среди сухого кустарника, Осел встретился с Кроликом, и сей последний изумленно воскликнул:

— Боже праведный! Как это тебе удалось так сильно вырасти? Ты, бесспорно, — самый крупный крольчище на свете.

— Нет, — возразил Осел, — это ты — самый маленький ослик.

Проспорив без толку на эту тему, они попросили разрешить их спор прохожего Койота, который был



Перестановки

склонен к демагогии и, кроме того, не хотел портить отношения ни с одним, ни с другим.

— Джентльмены, — провозгласил он, — вы оба правы, как и следовало ожидать от лиц, обладающих столь совершенными приспособлениями для выслушивания мудрых советов. Вы, сэр, — обратился он к более крупному спорщику, — являетесь, как было верно замечено, кроликом. А вы, — ко второму — справедливо объявлены ослом. Переставив ваши настоящие имена, человек поступил крайне глупо.

Его суд им так понравился, что они выдвинули Койота кандидатом в медведи гризли; но получил ли он этот пост, история умалчивает.



ПРОТИВОЯДИЕ



ный Страус явился к маме, кряхтя от боли и крепко обхватив крыльями животик.

— Что ты съел? — спросила встревоженная Мать.

— Ничего, только бочонок гвоздей, — был ответ.

— Как! — всполошилась любящая мамаша. — В твоём возрасте, и целый бочонок гвоздей? Да ведь так можно убить себя. Ступай быстро, дитя мое, и проглоти гвоздодер.



СУДЬЯ И ИСТЕЦ



ывалый Бизнесмен сидел и дожидался решения суда по своему иску к железнодорожной компании за причиненные ею убытки. Наконец, распахнулись двери и вошел Судья.

— Ну-с, — произнес Судья. — Сегодня я намерен принять решение по вашему иску. Если я решу в вашу пользу, хотелось бы знать, в чем выразится ваша благодарность?

— Сэр, — отвечал Бывалый Бизнесмен, — я не побоюсь вызвать ваш гнев, предложив вам половину суммы, которая будет мне выплачена.

— Я, кажется, сказал, что собираюсь принять решение по вашему иску? — словно вдруг очнувшись от дремоты, сказал Судья. — Ах, какой же я рассеянный! Я хотел сказать, что решение уже принято и запротоколировано: вам присуждается вся исковая сумма.

— А я, кажется, сказал, что отдам половину вам? — сдержанно отозвался Бывалый Бизнесмен. — Бог ты мой! Я по рассеянности чуть было не поступил как последний невежа. Позвольте вам сказать сердечное спасибо.



СУДЬЯ И ЕГО ОБВИНИТЕЛЬ



Потенного Члена Верховного Суда обвинили в том, что он пролез на должность обманом.

— Не отвлекайтесь, уважаемый, — сказал Член Верховного Суда своему Обвинителю. — Речь не о том, как я получил власть, а о том, как я ею пользуюсь.

— Сознаюсь, — ответил тот, — в сравнении с подлостью вашего поведения в должности подлость, на которую вы пошли, чтобы ее добиться, действительно кажется сущим пустяком.



СПАСИТЕЛЬНАЯ БУМАЖКА



важный Гражданин получил вызов явиться в суд, дабы поработать в качестве члена коллегии присяжных, но предъявил справку от врача, что у него размягчение мозгов.

— От обязанности освобождается, — объявил Судья, возвращая справку. — У него есть мозги.



ЭКОНОМИЯ СИЛЫ



лабый Человек, идущий под гору, повстречал Сильного, поднимающегося в гору, и сказал:

— Я избрал этот путь не потому, что мне сюда надо, а только по слабосилию. Прошу вас, сэр, помогите мне подняться наверх.

— С удовольствием, — ответил Сильный Человек, и лицо его осветила блестящая мысль. — Свою силу я всегда считал священным даром, предназначенным для служения людям. Я возьму вас с собой наверх. Идите сзади и подталкивайте.



ЛЯГУШКА-АГРЕССОР



меня приступила к заглатыванию Лягушки головой вперед, когда к ней подошел Натуралист с палкой.

— Вы мой спаситель, — еле вразумительно произнесла Змея. — Вы явились как раз вовремя; эта рептилия, как вы можете убедиться, безо всякого повода лезет ко мне в глотку.

— Сэр, — ответил Натуралист, — мне нужна змеиная шкура для коллекции, но без ваших объяснений я бы вас не потревожил, так как полагал, что вы заняты обедом.



АЭРОФОБ



рославленного Богослова, доказавшего наличие ошибок в Священном Писании, спросили, почему же он в таком случае проповедует религию, которая основана на этих текстах?

— Ну, как же, — ответил он. — Коль скоро они не безошибочны, тем нужнее мои объяснения, а то можно запутаться.

— Следует ли это понимать так, что сами вы ошибиться не можете?

— Понимать следует так, что я не пневмофаг.



РАЗБОЙНИК И ПРОХОЖИЙ



Разбойник встал на пути у Прохожего и, наставив на него револьвер, крикнул:

— Деньги или жизнь!

— Мой дорогой друг, — ответил Прохожий, — из ваших условий следует, что мои деньги могут спасти мне жизнь, и наоборот, я могу ценой жизни спасти свои деньги, то есть вы претендуете на одно из двух, но не на то и другое сразу. Если я вас верно понял, будьте добры, возьмите мою жизнь.

— Вы неверно поняли, — возразил Разбойник. — Ценой жизни вы своих денег не сбережете.

— Тогда тем более берите мою жизнь, — сказал Прохожий. — Если она не стоит моих денег, значит, ей вообще грош цена.

Разбойнику так понравились остроумные рассуждения Прохожего, что он взял его в компаньоны, и эти два великолепно дополняющих друг друга таланта основали новую газету.



ВЫГОДНЫЙ ЗЯТЬ



дин Очень Умный Человек основал сберегательный банк и стал давать ссуды кузинам и теткам. Приходит к нему Оборванец и просит ссудить ему сто тысяч долларов.

— А какое обеспечение вы предложите? — поинтересовался Очень Умный Человек.

— Обеспечение самое надежное, — ответил тот доверительным тоном. — Я собираюсь стать вашим зятем.

— Да, это, конечно, ценность, — поразмыслив, согласился банкир. — Но какие у вас основания претендовать на руку моей дочери?

— Как какие? Самые бесспорные, — ответил Оборванец. — Ведь у меня скоро будет сто тысяч долларов.

Не сумев найти слабое звено в цепи доказательств обоюдной выгоды, финансист выписал Оборванцу чек и отправил распоряжение жене списать дочь в расход.



ОСИРОТЕВШИЕ БРАТЯ



тарик, видя, что близка его смерть, призвал обоих своих Сыновей и разъяснил им ситуацию.

— Дети мои, — сказал он, — вы немного почтения оказывали мне при жизни, но теперь придется вам выразить горе по поводу моей кончины. Тому из вас, кто дольше проносит в память обо мне траурный креп на шляпе, достанется все мое имущество. Такое завещание я составил.

Умер Старик, и оба юнца нацепили на шляпы по куску черной кисеи, проносили, не снимая, до старости, и только тогда, видя, что ни тот ни другой не намерен отступить, сговорились, чтобы младший снял траур, а зато старший с ним поделился поровну. Однако когда старший брат явился за наследством, оказалось, что у их отца имелся... Душеприказчик!

Так были по заслугам наказаны лицемерие и упрямство.



НЕЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ АРБИТР



ве Собаки долго и без успеха для одной из сторон дрались за кость и, наконец, решили попросить Барана, чтобы рассудил их. Баран терпеливо выслушал притязания той и другой, а потом взял и забросил кость в пруд.

— Почему ты так сделал? — спросили Собаки.

— Потому что я вегетарианец, — ответил Баран.



ХОРОШИЙ СЫН



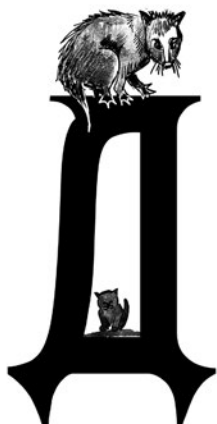
иллионер, пришедший в богадельню провести родного Отца, встретился там с Соседом, который страшно удивился.

— Как! — воскликнул Сосед. — Неужели ты все-таки иногда навещаешь своего отца?

— Но ведь и он, я уверен, навещал бы меня, если бы он был на моем месте, а я — на его, — ответил миллионер. — Старик всегда гордился мной. К тому же, — добавил он уже не столь громогласно, — мне нужна его подпись, я хочу застраховать его жизнь.



НЕУДАЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



домашний Опоссум, принадлежавший Великому Критику, сцапал котенка и собрался было его сожрать, но, увидев хозяина, дабы избегнуть кары, спрятал малыша к себе в брюшную сумку.

— Ну, красавчик, — надменно спросил Великий Критик, — какие еще штуки ты научился выкидывать?

Не успел Опоссум раскрыть рот, как из живота у него раздалось громкое кошачье мяуканье. Дождавшись паузы, Опоссум ответил:

— Да вот, занимаюсь понемногу звукоподражанием и чревовещанием, думал, это вам понравится, сэр.

— Стремление угодить всегда похвально, — заметил Великий Критик не без профессионального высокомерия. — Однако кошачьему мяуканью тебе еще учиться и учиться.



ИСТУКАН В БАМБУГЛЕ



а вершине горы, откуда открывается вид на древний город Бамбугла, стоит колоссальный памятник, воздвигнутый на народные средства distinguished Гаака Волволу, «добрейшему и мудрейшему из людей». Путешественник, прибывший из дальних стран, сказал человеку, занимавшему пост Хранителя Памятника, самому ВЫСОКОМУ лицу в государстве:

— Морские ветры, о Высший из Высших, не донесли до берегов моей страны славу вашего великого гражданина. Что он сделал?

— Ничего. Вот почему мы и знаем о его доброте, — ответил тот.

— Но его мудрость — что он изрек?

— Ничего. Вот почему мы знаем о его мудрости.

БАРАН И ЛЕВ



ы — существа воинственные, — сказал Льву Баран. — И люди ходят на вас с ружьями. А мы — сторонники ненасилия, вот они на нас и не охотятся.

— А зачем им на вас охотиться, — отвечал сын пустыни, — когда они могут вас разводить?



СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ МОНАРХ



еликий Гамдудд страны Муп пригласил на аудиенцию своего Военного Министра и сказал:

— Вам, конечно, известно, сэр, что большинство моих верноподданных настроены решительно против вас. Они говорят, что вы — негодяй.

— Ваше величество, — ответил Военный Министр, — это неправда.

— Очень рад, — проговорил Гамдудд, вставая с трона и тем показывая, что аудиенция окончена. Однако увидев, что Министр не уходит, спросил его: — Вы хотите еще что-то сказать?

— Да, ваше величество, — отвечал тот. — Я хочу вернуть вам министерский портфель, ибо всенародное осуждение хотя и ошибочно, но справедливо. Я дурак.

На это Великий Гамдудд изволил милостиво улыбнуться.

— Дорогой мой, — промолвил он, — возвращайтесь к исполнению ваших обязанностей. Я и сам такой.



БЕЗУТЕШНАЯ ВДОВА



ама в трауре плакала на могиле.

— Утешьтесь, мадам, — сказал ей Сострада-
тельный Незнакомец. — Небесное милосердие
безгранично. На муже свет клином не сошелся.
Вы еще встретите другого мужчину, способного
сделать вас счастливой,

— Уже встретила, — рыдая, ответила она. —
И вот его могила.

ТАИНСТВЕННОЕ СЛОВО



еф батальона военных корреспондентов ознако-
мился в рукописи с описанием битвы и сказал
Автору:

— Сын мой, твой очерк никуда не годится.
Ты пишешь, что мы потеряли не сто человек, а
только двух; что потери противника неизвест-
ны, а вовсе не десять тысяч; и при всем том — что
мы были разбиты и бежали с поля боя. Так пи-
сать нельзя.

— Но уверяю вас, — возразил добросовест-
ный писака, — мой очерк, быть может, и оставляет желать большего по части
числа павших и не удовлетворяет нашей жажды мести противнику, а финал
у него, вероятно, и вправду можно считать неудачей. Но к нему нельзя предъ-
явить претензий, потому что все это — правда.

— Не совсем понимаю, — озадаченно буркнул Шеф и по-
скреб в затылке.

— Ну, предъявлять претензии, это... — принялся объяснять
Автор, — упрекать... винить... не соглашаться...

— Да знаю я, что значит «предъявлять претензии», — ска-
зал Шеф. — Но что такое «правда»?



ОТКРОВЕНИЕ



а Льва напала стая голодных Волков, они ходили вокруг и громко выли, но приблизиться не отваживался ни один.

— Очень полезные животные, — заметил по их поводу Лев, устраиваясь соснуть часок после обеда. — Они дают нашим достоинствам нелицеприятную оценку. До сих пор я даже не подозревал, что гожусь в пищу.



ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ



бвиняемый, — грозно сказал Судья, — вы изобличены в убийстве. Ответайте: вы виновны или воспитывались в Кентукки?

РАЗОЧАРОВАННЫЙ



ес, упорно гонявшийся за собственным хвостом, обессиленный, прекратил преследование и прилег отдохнуть, свернувшись калачиком. В этой позиции он неожиданно обнаружил хвост у себя под самым носом и жадно вцепился в него зубами, но сразу же отпустил, морщась от боли.

— Приходится сделать вывод, — сказал он себе, — что погоня слаще обладания.



ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ



Один Очень Откровенный Человек сказал жене:

— Я не могу допустить, чтобы ты думала обо мне лучше, чем я есть. На самом деле у меня много слабостей и недостатков.

— Это вполне естественно, — нежно улыбаясь, отвечала жена. — Никто из нас небезупречен.

Ободренный таким великодушием, он признался жене во лжи, которую однажды ей сказал.

— О, подлый негодяй! — вскричала жена и трижды хлопнула в ладоши.

Явился огромный раб-нубиец с ятаганом. И мужу пришел конец.



ЖАЛОСТЛИВЫЙ ПРОСИТЕЛЬ



Овоиспеченный Президент, прогуливаясь по безлюдной дороге, встретил человека, хлопотавшего о должности, и стал громко звать на помощь. Однако никто, кроме самого Просителя, его не услышал. А Проситель сказал:

— У меня при себе семьсот пятьдесят рекомендаций на должность Федерального Инспектора Дохлых Собак.

Президент, упав на колени, принялся причитать, что у него жена и двадцать девять малых детушек. Проситель убрал рекомендации, но достал из другого кармана еще пачку.

— Эти документы, — пояснил он, — нотариально заверенные отзывы моих соседей, они подтверждают мою пригодность для должности, о которой я хлопочу.

Президент заломил руки и в голос заплакал, приговаривая:

— На моем иждивении восемь правительственных министров, и почти все они — бедные сиротки.

Этим он, наконец, разжалобил сердце Просителя.

— Ну ладно, — сказал тот. — Я отпускаю тебя ради тех, чья нужда больше моей. Не нужна мне твоя должность Федерального Инспектора Дохлых Собак. Пусть никто не скажет, что со мной нельзя договориться по-хорошему.

Президент поднялся с колен, отряхнул брюки.

— Разве я мог отдать ему эту должность, не нарушив своего честного благородного слова? — сказал он себе. — Ведь я уже обещал ее шестнадцати другим желающим.



ПРЕДЕЛ ДОПУСТИМОГО



Царь Удаленных островов назначил своего коня премьер-министром, а сам оседлал человека. Видя, что при новом порядке государство благоденствует, Престарелый Советник предложил царю самому отправиться пастись, а на трон посадить быка.

— Нет, — ответил монарх, поразмыслив, — всякий верный замысел можно довести до опасного абсурда. Реформа только тогда хороша, когда она еще не революция.



СОДЕРЖАНИЕ

МОНАХ И ДОЧЬ ПАЛАЧА. Переложение с немецкого. *Перевод И. Бернштейн* 5

РАССКАЗЫ	63
Случай на мосту через Совиный ручей. <i>Перевод В. Топер</i>	65
Без вести пропавший. <i>Перевод Н. Рахмановой</i>	75
Страж мертвеца. <i>Перевод Н. Рахмановой</i>	85
Хозяин Моксона. <i>Перевод Н. Рахмановой</i>	96
Заполненный пробел. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	106
Житель Каркозы. <i>Перевод Н. Рахмановой</i>	113
Банкротство фирмы Хоуп и Уондел. <i>Перевод Н. Рахмановой</i>	119
Сальто мистера Свиддлера. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	124
Несостоявшаяся кремация. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	129
Бой в Ущелье Коултера. <i>Перевод В. Азова</i>	135
Смерть Хэлпина Фрэйзера. <i>Перевод неизвестного автора</i>	144
Летней ночью. <i>Перевод неизвестного автора</i>	160
Настоящее чудовище. <i>Перевод В. Азова</i>	164
Неизвестный. <i>Перевод неизвестного автора</i>	178
Средний палец правой ноги. <i>Перевод В. Азова</i>	184
При Чикамауга. <i>Перевод В. Азова</i>	193
Добей меня! <i>Перевод В. Азова</i>	200
Паркер Аддерсон, философ. <i>Перевод В. Азова</i>	206
Жаркая схватка. <i>Перевод В. Азова</i>	213
Письмо. <i>Перевод В. Азова</i>	221
Человек и змея. <i>Перевод В. Азова</i>	228
Подходящая обстановка. <i>Перевод В. Азова</i>	235
Заколоченное окно. <i>Перевод В. Азова</i>	245

ПРИЧУДЛИВЫЕ ПРИТЧИ. *Перевод И. Бернштейн* 251



Амброз Бирс
МОНАХ И ДОЧЬ ПАЛАЧА
РАССКАЗЫ И ПРИТЧИ

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Том 213

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 не требуется знак информационной продукции, так как данное издание классического произведения имеет значительную историческую, художественную и культурную ценность для общества

Компьютерная верстка, обработка иллюстраций
Р. Уткина

Дизайн обложки, подготовка к печати
А. Яскевича

Гарнитура Гарамонд Премьер Про
12 кегль

Сдано в печать 02.11.2023
Объем 19 печ. листов
Тираж 3000 экз.
Заказ № 26693

Бумага
Сыктывкарская пухлая книжная кремовая офсетная 60 г/м²



ООО «СЗКЭО»
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.szko.ru

Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ»,
196643, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Сапёрный,
ш. Петрозаводское, д. 61, строение 6,
тел. (812) 462-83-83, e-mail: office@ldprint.ru.



К классикам американской литературы Амброз Бирс был причислен в середине XX века; к тому времени писателя давно не было в живых. Вероятно, он бы удивился, узнав, что славу ему принесли мрачные и пропитанные циничным взглядом на жизнь рассказы и повести в стиле «готической прозы». Около дюжины из них вошли в золотой фонд американской классики. Амброз писал их скорее для узкого круга читателей, чем для широкой публики, которой Бирс был известен прежде всего как талантливый журналист, жестко бичевавший в конце XIX века пороки американского общества. Остатки юношеского романтизма Амброз утратил во время Гражданской войны, на которую он, выходец из бедной многолетней фермерской семьи, отправился добровольцем.

Бирс прошел через все главные сражения, убедился в бессмысленности жертв и осел в Сан-Франциско. Возвращаться к прежним случайным заработкам не позволяла гордость — Бирс вышел в отставку в чине офицера. Найти свою, независимую дорогу в жизни помог талант сочинителя.

У отца будущего писателя была неплохая библиотека — благодаря ей Амброз познакомился с литературной классикой. Позже он внес в нее свой вклад, став автором лаконичной новаторской прозы, которая оказала огромное влияние на развитие американской «темной литературы». Последователем Бирса на этом пути стал американский писатель Говард Филлипс Лавкрафт, чьи сочинения тоже полны ужасов, мистики и фатализма. Ими пропитана повесть Бирса «Монах и дочь палача», с которой начинается данный сборник. Она считается одной из вершин «готической литературы». В конце жизни обладавший неуживчивым и независимым характером писатель в каком-то смысле стал одним из своих героев-фаталистов. Бирс не захотел встречаться с немощной старостью. Достигнув возраста семидесяти лет, он пересек границу с охваченной революционным пламенем Мексикой. В ее огне он и сгинул без следа. Наверное, не просто так один из своих рассказов Бирс назвал «Без вести пропавший».

Книга проиллюстрирована рисунками современной петербургской художницы Татьяны Косач. Она окончила исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и является специалистом по искусству Средневековья. Ее иконописные и графические работы можно встретить в частных коллекциях любителей живописи в России, США, Италии и Франции. В серии «Библиотека мировой литературы» ее иллюстрации украшают романы «Американская трагедия», «Финансист», «Титан», «Стоик» Теодора Драйзера, «Доктор Живаго» Бориса Леонидовича Пастернака и «Белая гвардия» Михаила Афанасьевича Булгакова.

